

А. ФЛАДЕЕВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Роман

Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Наш труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял.
Мы, молодая гвардия рабочих и крестьян.

Песня молодежи

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно ледяник, но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная... Человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она лежит на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде,— даже трудно сказать, какая из них прекрасней. А краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков,— желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влажной, она жемчужная, просто ослепительная,— у людей таких и красок, названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из плавового куста на речку, девушка с длинными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прелезными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного ветра, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту ледяную, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться, и чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно поискалась взглядом по берегу девушек, от которых они отбились:— Ау!..

— Ау... ау... уу!.. — отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию,— сказала Валя, любовно-настойчиво взглянув на подружку.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, слышны раскаты орудийных выстрелов — оттуда, с северо-запада, откуда и начался град.

— Опять!

— Опять... — беззвучно повторила Уля, и свет, сбежавший с ее лица, нувший из глаз ее, потух.

— Неужто они пройдут на этот раз! Боже мой, Боже мой! Помнишь, как в прошлом году переживали? И все об этом прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, слышишь?

Они помолчали, прислушиваясь.

— Когда я слышу это, и вижу небо, такое ясное, восточный ветер треплет траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко. Когда она мне пахнет, мне делается так больно, словно все это уж случилось всегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже не можешь допускать в себя ничего, что может размягчить ее, ты не можешь, — такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, ты знаешь, ты можешь говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что слышны их дыхание и шепот, и они прямо глядели в глаза друг другу. Уля была бледна, глаза светлые, добрые, широко расставленные, они с покорением встречали взгляд подружки. А у Ули глаза были большие, темные, не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными бровями, единственными зрачками, из самой, казалось, глубины души исходил этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, дававшие о себе знать вдали, отдававшиеся легким дрожанием листвы, вся эта суматоха, все это в темноту отражались на лицах девушек. Но все их внимание было отдано тому, о чем они говорили.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в сумерки? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню, — прошептала Валя. — Этот закат.

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, что она бесприкаянная, рыжая, холмы да холмы, и будто она бесприкаянная. Помню, когда мама еще была здоровая, она работала в саду, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу на небо, маю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, помнишь? И мне вчера так больно стало, когда мы шли по степи, по тому на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на мейцы идут, такие измученные, запыленные. Я тогда только поняла, что это никакая не перегруппировка, а именно страшное, отступление. Поэтому они и в сумерки ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы стоим, на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты знаешь, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темно, когда пойдут в сумерках, и все время этот гул, вспышки, рево, — должно быть, в Ровеньках, — и закат такой

Ты знаешь, я ничего не боюсь на свеге, я не боюсь никакой берьбы, трудностей, мучений, но если бы узнать как поступать. Что-то грозное нависло над нашими душами,— сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка?— сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали!— сказала Уля.— Но что же делать, что же делать!— совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, и в глазах ее блеснуло озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия!..— воскликнула выскочившая из кустов тоненькая и гибкая, как тростина, девушка с мальчишескими отчаянными глазами.— Нет, чур моя!— взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, впрыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг.— Ой, да тут глубоко!— со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

— Было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег, и Валя и Валя и только что впрыгнувшая в воду Уля, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Прозрачные, как слезы, капли далящее солнце, будто нарочно, чтобы оттереть слезы, выливали на каждую из девушек, у той позолотили, у другой покрасили, у третьей прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, и все было в дыму и паре, как в бане.

— Ты не бойся, Валя, на свете, когда их собирается больше двух, они не боятся друг друга, так громко, отчаянно, на таких прелесть нотках, будто все, что они говорили, было выдней крайности, и надо было, чтобы это знал, кто слышит.

— Ты не бойся, Валя, сиганул, ей-богу! Такой славенький, кучежки, как пуговички!

— Не бойся, Валя, с тобой, право слово, я крови ужас как боюсь! — нас бросят, как ты можешь так говорить, да быть

— Не бойся, Валя, не бойся!

— маинечка, цыганочка, а если бросят?

— Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

— Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

— Улька, чудик, куда ты полезла?

— Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов — Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, всё становится милым в их устах.

— Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотишко мое?— говорила

ия, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как не только загорелые икры, но и белые круглые колени подружки под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выдрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля еще шаг и, сильно перегнувшись высокому стройному стану, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым кончиком опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилием и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

— Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а, скажем, нашего союзничка с рудника Первомайки! — стоя по икры в воде и глядя на подружку округлившуюся мальчишеские карие глаза, говорила. — Давай квяток! — И она, зажав между колен юбку, своими длинными тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно выходящие вискам и в косах улитки волосы. — Ой, как идет тебе, аж завидно!.. Обожди, — вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь к шуму где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, далекому, осинному, то низкому, урчащему рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

— Не один, а целых три!

— Где, где? Я ничего не вижу...

— Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Звонящие звуки моторов то сливались в одно нависающее гулкое гудение, то распадалось на отдельные, пронзительные или низкочастотные звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой и, хотя не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

— Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

— Или на Миллерово.

— Скажешь — на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слышала ку вчера?

— Все одно, бои идут южнее.

— Что же нам делать, дивчата? — говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая слышалась, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери давала ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостями, с ее главным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдания для себя, пока они не нагрянут и не нарушат ее счастья и радости.

Уля Гримова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на рудничном заводе.

Окончание школы — это немаловажное событие в жизни молодой девушки, а окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное.

плое лето, когда началась война, школьники старших классов и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих асподону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинский завод, делавший теперь танки.

Немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев. Власть из Киева, отступавшая с частями армии, оставила Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и области Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

В конце осени, пока установился фронт на юге, люди из занятых районов Донбасса все шли и шли через Краснодон, месялись по улицам, и, казалось, грязи становится все больше и больше, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьников было много, они были готовы к эвакуации в Саратовскую область, но школой, по эвакуации отменили. Немцы были задержаны в Ворошиловграде, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой 1942 года поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, люди надеялись, что все еще обойдется.

Люди привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в станциях, в домах, под территными крышами, домиках в Краснодоне, в домах избач «Первомайки», и даже в глиняных мазанках на окраинах этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны оставшимися оттого, что ушел на фронт отец или брат, теперь живут чужие люди — работники пришлых учреждений, командировки ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Люди учились распознавать все роды войск, воинские звания, виды транспорта, мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и чужих. С первого взгляда разгадывали типы танков — не только тогда, когда они тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием деревьев, струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда они шли по грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе, шли по осенним, расплывшимся, и по зимним, заснеженным, дорогам на запад.

Люди учились не только по обличью, а и по звуку различали свои и чужие, различали их и в пылающем от солнца, и в красном закатном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду,

или лаги (или миги, или яки), — говорили они спокойно. Сера пошла!..

— 87» пошли на Ростов, — небрежно говорили они.

Люди учились к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам, срез плечо, на шахтах, на крышах школ, больниц, и уже не спали, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки и взрывов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над городом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по городу. Вражеские пикировщики среди бела дня, внезапно из глубины небес, с воем обрушивали фугаски на тянущиеся степи колонны грузовиков, а потом долго еще били из

шек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны споротая глицсером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во в: на ветру с грузовиков в степи, летнюю страду среди необениц, изнемогающих под тяжестью зерна, задушевные разговор: запный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове, и: сонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не: шись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юнош: няя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит и: о-розовых тернитных крышах, на красных помидорах и кап: рнувшихся желтеньких, как цветы мимозы, осенних листочков: мо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой: нями отвянувших цветов, дымом дальних пожарищ, и петух: . будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своим: мн и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им: чи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. 2: зались бои на Белгородском и Волчанском направлениях с пе: т в наступление противником. А 3 июля, как гром, разразил: енное по радио, что нашими войсками после восьмимесячной о: звлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россось, Кантемировка, бои западнее Вороне: юдступах к Воронежу, 12 июля — Лисичанск. И вдруг хлынули: сподон наши отступающие части.

Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это з: завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и: су, на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жас: иренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яб: прохладную, с закрытыми от солнца ставенками, хату, где е: на гвозде, направо от дверей, шахтерская куртка отца, как: повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, —: материнские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска и: звицу и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили: ющую свежестью сурового полотна цветастую скатерку, —: ги, войдет немец!

За время затишья на фронте в городе так прочно, будто: нь, обосновались очень положительные, рассудительные, все: щие бритые майоры-интенданты, которые с веселыми прибо: жкидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соле: ы, охотно объясняли положение на фронтах и при случае д: или консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горько: те № 1-бис и в клубе имени Ленина в городском парке всег: ось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не: ятельных, не то озорных, не поймешь. Лейтенанты то появля: оде, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девуш: выкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным: все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедудуванной, этом мирном полустапке, где, возвр:

из командировки, или поездки к родне, или на летние каникулы после окончания в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома,— на этой Верхнедудуванской и по всем другим станциям железной дороги на Южную — Морозовскую — Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж и отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. В иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача,— дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные уки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних орудийных выстрелов, хорились с родителями,— девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха беда,— они наскоро завтракали и бежали одна к другой за ножами. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и прикаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из сестер или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную опушку у речки, в тайном предчувствии несчастья, которое они даже в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

— Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят,— резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, пестящими гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят — значит, не сдали,— сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю губу.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем всё, что ты можешь сказать: «Девушки, вы не умеете диалектики!»— сказала Вырикова, так похоже на Майю, что все девушки засмеялись.— Скажут нам правду, держи карман пошире! Вели, верили и веру потеряли!— говорила Вырикова, посверкивая близведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои значащие вперед острые косицы.— Наверно, опять Ростов сдали, нам нечего делать, некуда. А сами драпают!— сказала Вырикова, видимо, вторя слова, которые она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова,— стараясь не повышать голоса, говорила Майя.— Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

— Не связывайся ты с ней,— тихо сказала Ц... чадливая девушка постарше других, коротко стриж... бровая, с диковатыми светлыми глазами, придавав... ее л... ное выражение.

Шура Дубровина была студенткой Харьков... в прошлом году, перед занятием Харькова нем... Краснодар к отцу, сапожнику и шорнику. Она была... старше остальных девушек, но всегда держалась... была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегл...езде ходила за Майей, «как нитка за иголкой», гово...

— Не связывайся ты с ней. Если она уже такой... ее не переколпачишь,— сказала Шура Дубровина Ма...

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на эт... месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит?... говорила маленькая Вырикова.— В окопах трава расте...

Тоненькая Саша с деланным удивлением припо... и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, п...

Но, видно, не столько то, что говорила Вырик... состоянии неопределенности заставляло девушек с боле... прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное?—... то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иваних... из девушек, похожая на крупную длинноногую дево... сом и толстыми, заправленными за крупные уши пря... вых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском напра... вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала... фронт военным фельдшером, всё, всё на свете казалос... непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегд... месте.

И только Уля не принимала участия в разгов... залось, не разделяла их возбуждения. Она расплел... конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела м... ляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, и... стояла так, нагнув головку с этой белой лилней, та... ным глазам и волосам, точно прислушиваясь к сам... обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла по... высокому суховатому подъему и словно обведенных... низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким пр... сунула ноги в туфли.

— Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в сп... предлагали?— говорила тоненькая Саша.— Мне пред... энкаведе,— наивно разъяснила она, поглядывая на в... беспечностью,— осталась бы я здесь, в тылу у немце... чего не знали. Вы бы тут все как раз зажурнулись, а... дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я... остаюсь от энкаведе! Я бы этими немцами-дурачками,... она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову,— я... дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно по

... дрогнуло у нее в лице, то ли губы, то ли тонкие, с
... кровью, причудливого выреза ноздри.

... всякого энкаведе останусь. А что?— сердито выставляя
... кощичи, сказала Вырикова.— Раз никому нет дела до меня,
... буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким по-
... гимназистки: все же таки они культурные люди, что они

... гимназистки?!— воскликнула Майя.

... что из гимназии, здрасте!

... так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рас-

... мгновенно тяжелый страшный удар, потрясший землю и
... л их. С деревьев посыпались жухлые листки, сучочки,
... с коры, и даже по воде прошла рябь.

... ушек побледнели, они несколько секунд молча глядели

... сбросил где-нибудь?— спросила Майя.

... давно пролетели, а новых не слышать было!— с расши-
... и сказала Тоня Иванчихина, всегда первая чувствовавшая

... момент два взрыва, почти слившихся вместе,— один совсем
... другой чуть запоздавший, отдаленный,— потрясли окрестно-

... по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к поселку,
... кустях загорелыми икрами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

... бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и
... насытью, что пыль взбивалась из-под ног, донецкой степи. Ка-
... вероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень.
... протекала река с тянувшейся по ее берегам узкой полосой
... так глубока, что, отбежав триста — четыреста шагов, девушки
... и уже видеть ни балки, ни реки, ни леса,— степь поглотила всё.

... ла ровная степь, как астраханская или сальская,— она была
... и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высо-
... го горизонту, этими выходами на поверхность земли крыльев
... инклинали, внутри которой, как в голубом блюде, плавал
... белого воздуха.

... здесь по изборожденному лицу этой выжженной голу-
... холмах и в низинах, виднелись рудничные поселки, хутора
... темнозеленых и желтых прямоугольников пшеничных, ку-
... подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт,
... окопке, выше копр, темноглубые конусы терриконов,
... выброшенной из шахт породой.

... орогам, связывавшим между собой поселки и рудники, тя-
... беженцев, стремившихся попасть на дороги на Ка-
... лихую.

... дальнего ожесточенного боя, вернее многих больших и ма-
... идущих на западе и северо-западе и где-то совсем уже далеко

на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь по горизонту.

Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма — два ближних и один дальний в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были очень слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в раскаленном добела воздухе, и, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не серый пороховой запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу.

Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским. Глазам их открылся и самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролежавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему вблизи отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и беженцы, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины — обыкновенные гражданские и военные, раскрашенные под зелень, побитые пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе.

И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный корпус шахты № 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый в взметенной высь породы на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого колуша не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона неподвижно стоял на своем месте, а на месте колуш клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над невидным отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса, — то ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от му

Все это — и шоссе с бегущими людьми и машинами, и этот вздрогнувший небо и землю, и исчезновение копра, и стон людей, — это одним мгновением, слитным и страшным впечатлением обрушилось на девушек. И их души вдруг пронизало одно невыразимое чувство, было глубокое и сильное, чем ужас за себя, — чувство разверзшейся перед ними бездны конца, конца всему.

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Чей это был вопль? Кажется, Тони Ивановой, но он гочно и рвался из души каждой из них:

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропкой через шоссе в город, в райком комсомола.

Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку — Улечка! — сказала она робким, униженным, просящим голосом

ем домой...— Она запнулась.— Еще что случится... корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль, было такое стремительное выражение, будто она такое выражение глаз бывает у летящей птицы. а...— сказала Валя умоляющим голосом и притянутой своей свободной рукой быстро вынула локся волос Ули и бросила на землю.

так быстро, что Уля не только не успела подумать об этом, но просто не заметила этого. И вот они, а, за все время их многолетней дружбы впервые ссоры.

поверить, что все это правда, но, когда три сестры Пегливановой пересекли шоссе, они убедились, что рядом с гигантским конусовидным терриконом было стройное красавца-копра со всеми его приспособлениями, только желто-серый дым всхороняя все вокруг невыносимым серным запахом. Чем более близкие, то отдаленные, потрясали землю и

города, примыкавшим к шахте № 1-бис и отделив города глубокой балкой с протекающим по дну ее ручьем и сплошь застроенной глинобитными, друг другу мазанками,— по всем этим кварталам, как этот район, если не считать балки, был, как и на одноэтажными каменными домиками, рассчитанными. Домики крыты были черепицей или тернитом, бит палисадник, частью возделанный под огороды. Иные хозяева развели уже вишни, или сицилийские, высадили рядком, внутри, перед аккуратным крапивою акации, кленочки. И вот на улицах среди домов и палисадников творилось такое, что наполнялось смятением.

хте, но там, видно, стояла цепь милиционеров и в одну сторону катился другой поток людей, бежавших от рынка, со стороны рынка, разбежавшиеся женщины, старики, подростки с корзинами и тачками, повозки, запряженные лошадьми, и возы, нагруженные хлебом и овощами, женщины-покупательницы со своими сетками, прозванными досужими людьми «авось-

пало из своих домиков в палисадники, на улицы, другие выбрались вовсе целыми семьями, с детьми, груженными семейным добром, где среди них, иные женщины несли на руках младенцев. Этот поток семьи образовали третий поток, стремившийся на Каменск и на Лихую.

ругалось, плакало, тархтело, звенело. Тут же, в толпе людей и возов, ползли грузовики с военным оборудованием, рыча моторами, издавая истошные гудки.

Люди с улицы пытались забраться на грузовики,— их сталкивали. Все это вместе и производило тот странный слитный протяжный звук, издали показавшийся девушкам стоном.

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, уже не заботившаяся о подругах, стремившаяся как можно скорее попасть в райком, бежала дальше по улице, грудью налетая на встречных, как птица.

Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота, из балки, откинул Улю вместе с толпой к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста, белокурую, счень изящно сложенную, как выточенную, девушку с вздернутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшую у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени.

Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку кружащейся в вальсе. Уля услышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение вдруг болело и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья.

Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела, она кружилась до утра со всеми без разбора, она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней, и ее глаза — голубые ли они, синие ли, — ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной, это было в твоей жизни, это было во сне.

Уля не знала фамилии этой девушки, все звали ее Люба, а еще чаще — Любка. Да, это была Любка, «Любка-артистка», как иногда называли ее мальчишки.

Самое поразительное было то, что во всей этой сумятице Люб стояла за калиткой среди кустов сирени совершенно спокойная и одетая так, точно она собиралась идти в клуб. Ее розовые личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валиком золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках, — все это было такое, точно Любка вот сейчас выйдет на сцену и начнет кружиться и петь перед всеми этим людьми, потными, с лицами, искаженными от страха.

Но еще больше поразило Улю то необыкновенное задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было на ее розовом, с чуть вздернутым носиком лице, в полных губах, немножко большого по типу ее лица, румяного рта, а главное в этих прищуренных голубых, необыкновенно живых глазах.

Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломала перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала чорт знает что:

— Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя застала била гайка, коли ты людей не можешь переждать, детишек давишь. Куда? Куда?.. Ах ты, балда — новый год! — задрав носик, сверкая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю гру-

са. Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции и — милиционеров, в количестве, значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.

— Вон вас сколько поналезило, блюстители! — словно обрадовавшись этому новому поводу, — закричала Любка. — Нет того, чтобы народ токюнг, сами — фьюнты!.. — она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. — Ряжки вон какие отъедали!..

— И чего звонит дура! — огрызнулся с грузовика какой-то милиционер начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

— А, товарищ Драпкин! — издевательски приветствовала его Любка. — Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя, небось, советская власть поставила! порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак...

— Молчи, пока глотку не заткнули! — вспылил вдруг красный витязь, сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

— Да ты не выпрыгнешь, побонься отстать! — не повышая голоса несколько не сердясь, издевалась Любка. — Ты, небось, ждешь не ждешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да итики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера!... Счастливого пути, товарищ Драпкин! — так напутствовала она багровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего проносившейся машины милиционерского начальника.

Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее дерзости и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы это простодушное детское выражение в ее голубых глазах и если бы ее реплики не были направлены только тем людям, которые их действительно заслужили.

— Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой ешь! — кричала она. — Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпа падет!.. Горе мне с тобой!..

— Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? — кричала а старухе на возу. — Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе не считается ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..

Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого, — похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Улю, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и привалилась прямо к ней.

— Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, почему такая паника?

— Обыкновенная паника, — охотно сказала Любка, дружелюбно обводя свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. — Наши оставили Рязань, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям...

— А райком комсомола?— упавшим голосом спросила Уля.

— Ты что, пентюх облезлый, девчонка?— крикнул ей в ответ командир. Выйду, наподдам тебе!— тоненьким голоском сказала Любка. Райком комсомола?— комсомола, он, как и полагается, в авангарде. Ну что ты, девушка, глаза вылупила?— с удивлением спросил командир. Уля вдруг взглянула на Улю и, поняв, что пришла в себя, сказала:— Я шутю, шутю... Ясно, приказал бежать. Ясно тебе?

— А как же мы?— вдруг вся переполненная гневом спросила Уля.

— А ты, стало быть, тоже уезжай. Командир приказал бежать. Где ж ты была с утра?

— А ты?— в упор спросила Уля.

— Я?..— Люба помолчала, и умное лицо ее приняло странное, безразличное выражение.— А я уклончиво.

— А ты разве не комсомолка?— настойчиво спросила Уля. Большие черные глаза с сильным и гневным выражением встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.

— Нет,— сказала Любка, чуть поджав губы. Она крикнула она и, распахнув калитку, вышла на каблук навстречу группе людей, которые шли по толпы, испуганно и с каким-то неожиданным выражением перед ними, шли сюда, к дому.

Впереди шли директор шахты № 1-бис Григорий Ильич Шевцов, мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с черным, как у цыгана, и известный всему району шахтерам той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ним шли шахтеры и двое военных. А позади, на расстоянии шагов сорок, шла сборная, из разных людей, толпа любопытных. Обычные и тяжелые моменты жизни среди шахтеров, количество просто любопытных.

Григорий Ильич и другие шахтеры были в шапках, башлыками. Их одежда, лица, руки были все в углекислом дыме. Через плечо тяжелый моток электрического кабеля, держа инструменты, а в руках у Шевцова был какой-то электрический аппарат с торчащими из него концами проводов. Хожий не то на радиоприемник, не то на телевизор.

Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды на пыльных и углем лицах. И лица их были такие измученные, несли на себе непомерную тяжесть.

И Уля вдруг поняла, почему, несмотря на приказание, на улице загодя испуганно расступались перед ними. Перед ними свободна. Это были люди, которые взорвали шахту № 1-бис— гордость Донецкого района.

Любка подбежала к Григорию Ильичу, восторженно протянула руку своей маленькой белой ручкой, которую он взял, и пошла рядом с ним. «Шевцова дочка».

это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шев- подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через за- к в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли,— кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический ат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы и е другое, все это было уже кончено.

люди сбросили все эти предметы и некоторое время постояли, не друг на друга, в какой-то неловкости.

— Ну что ж, Григорий Ильич, собирайся швидче, машина на мази, и посажу и всем гамузом за тобой,— сказал Валько, не подымая Левцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, й.

он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше ище.

калитки остались Григорий Ильич с дочкой, которую он попреж- держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны ми, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высох- и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она получить только здесь. Люди в толпе, сшибаясь, бранясь и плача, жнему шли по всем направлениям, и никого уже не было из тех, могли бы заинтересовать эти стоящие у калитки двое мужчин и евушки.

Любовь Григорьевна, кому сказано?—сердито сказал Григорий , взглянув на дочь, не отпуская, однако, ее руки.

Сказала, не поеду,—угрюмо отозвалась Любка.

Не дури, не дури,—явно волнуясь, тихо сказал Григорий Иль- как можешь ты не ехать? Комсомолка...

Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас ось строптивное, даже нахальное выражение.

Комсомолка без году неделя,—сказала она, поджав губы.—Кому сделала? И мне ничего не сделают... Мне мать жалко,— доба- она тихо.

треклась от комсомола!»—вдруг с ужасом подумала Уля. Но в : мгновение мысль о собственной больной матери жаром ото- ь в груди ее.

Ну, Григорий Ильич,—таким страшным низким голосом, что тельно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал ,—пришло время нам расставаться... Прощай...—и он прямо по- ел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной ой.

Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были свет- ые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо лого русского мастерового с голубыми глазами. Хотя он был уже лод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо и руки его в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен, крепок и красив ьшой русской красотой.

— А может, рисканешь с нами? А? Кондратович?—спросит он, дядя на старика и явно конфузясь.

— Куда же нам со старухой? Пуцдай уж нас наши отсюда, Армией вызволяют.

— А старший твой что ж?— спросил Григорий Ильич.

— Старший? О нем что ж и говорить,— сумрачно сказал старик, указав рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Бог мой знает мой позор, зачем же спрашиваешь?»—Продвай, Григорий Ильич,— печально сказал он и протянул Шевцову высохшую, мертвую руку.

Григорий Ильич подал свою. Но, видно, что-то было еще и им, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.

— Да... что ж... Моя старуха и, вишь, дочка тоже оставились, — епно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. — Ты знаешь, мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу... Всея, можно сказать, была кормилицу... Ах!..— вдруг необыкновенно тихо выдохнул старик, и глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, лили на его измазанное углем лицо.

Старик, хрипло, низко всхлипнув, наклонил голову. И Любимовна навзрыд.

Любимовна, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы беготы и ярости, побежала домой, на Первомайку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в районе,— от него собственно и начался город Красный Ключ, или, в просторечии, Первомайкой, он стал называться в то время. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, из которых считался хутор Сорокин.

Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтеры, добывавшие уголь по пласту, были наклонные и такие маленькие шахты, работали конными или даже ручными воротками. Шахты принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь район называли шахты Сорокин.

Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний, жили по хуторам у казаков, рождались с ними, да и работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, и на хуторах складывались новые шахты — за длинным холмом, по которому теперь воросиловградское шоссе, и дальше за холмом, который теперь город Краснодон на две неравных части. Шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину или «барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахты, назывался в просторечии поселок Ярманкин или «Белый дом барина» — каменный серый одноэтажный дом, в центре которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и птицами,— в те времена один стоял на высокой холме, открытый всем ветрам, и его тоже называли

при советской власти, в годы пятилеток, в этом районе были новые крупные шахты, и центр рудника Сорокина переместился в ту сторону, застроился стандартными домиками, крупными учреждениями, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями, с высаженными перед главным подъездом молодыми деревцами, здание районполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и не имели, что это за дом такой, где они проводят треть жизни.

рудник Сорокин превратился в город Краснодон.

Ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своими. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздничные дни участвовали в посадке деревьев и кустов на холме мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев — тех еще поколений, которые жили «бешеного барина», поселок Ярманки, первую немецкую войну и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работают в Краснодоне, у иных уже седина пробрызнула в волосы или в бороду, но в большинстве жизнь разбросала их по разным местам, а кое-кто полез высоко в гору. А руководил той работой садовник Данилыч, он и тогда уж был старый. Но он и сейчас работает в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем

старым, вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для всех, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью. В пору его юного цветения, он рос вместе с ними, он был молодой, они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тепло и можно было найти таинственные уголки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые ночи, когда опадал мокрый желтый лист, внясь и шурша — там было даже страшновато, в этом парке.

Росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим районом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы. Появились новые бараки, — это место так и назовут: «Новые бараки». Бараков никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название осталось то, что его породило. До сих пор существует окраина «Деревянная». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете, которые водили сам голубей, — теперь там тоже стандартные дома. «Каменная» — это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин; там был раньше сенной двор. «Деревянная» — это совсем другая улица за переездом, за парком, она так и осталась отдельной улицей города, и домики остались те же, деревянные, и там живет Валя Борц с серыми глазами и русыми золотящимися косами, красивая девушка, не старше семнадцати лет. «Каменная» — это улица с каменными стандартными каменными домами. Теперь таких домов много, эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмая» — это уже целый район, несколько улиц на том месте, где было всего восемь таких стандартных домиков.

Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбас, вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фан-ча слепил себе вилы из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, как соты, и сдавать их внаем, пока пришлые люди не захотят снимать комнатки у Ли Фан-чи, можно слепить свисавший обширный район лепящихся друг к другу мазанок, — звали «Шанхаем». Потом такие же мазанки-соты воздвигли балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города мазанок стали называть «шанхайчиками».

С той поры как была пущена в ход самая крупная шахта № 1 - бис, заложённая как раз между хутором Соколовым и поселком Ярманюшным, город Краснодар снова стал тянуться в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Хуторок, давно уже сросшийся с соседними более мелкими хуторками, превратился в поселок Первомайский — один из районов города.

От других районов города его отличало только то, что большинство жилых домиков осталось от прежних казаков, это были собственные домики, каждый на свой манер. В селении здесь попрежнему было много казаков, работающих на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в колхозы.

Едва Уля вышла на ворошиловградское шоссе, по которому в направлении на восток попрежнему двигался почти сплошной поток машин, беженцев, как почти над самой головой, над торами, одни за другим прошли три немецких пикара, в сопровождении бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынула в обе стороны. Кто-то бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке, кто привалился к стенке.

Уля, которую едва не сшибли с ног, мрачно протискиваясь между этих раскрашенных птиц с черной свастикой на распластавшихся крыльях, летевших так низко, что, казалось, они обдали ее ветром, уже где-то за городом дали несколько коротких пулевых выстрелов по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного света дыме. И только через несколько минут послышались вдали выстрелы, должно быть, пикировщики бомбили переправу на Дону.

В поселке Первомайском всё ходуном ходило. Беженцы неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала, что беженцы, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не говорил с ней.

И самым неожиданным впечатлением было впечатление от Выриковой, «гимназистки», которая с невообразимой быстротой сидела среди двух женщин на возу, заваленном ящиками с кулями с мукой. Какой-то дед в картузе, свесив набок голову в муку, концами всякже из всей силы хлестал клячу, которая тащась поднята ее в гору на галоп. Несмотря на то, что Вырикова была в драповом коричневом пальто, в руках у нее шляпки, и поверх драпового жесткого воротника торчали вперёд ее косицы.

Домик родителей Ули Громовой был расположен в

льней окраине поселка,—раньше это был хутор Гаврилов, и домик тот был старым казачьим домиком.

Отец Ульяны, Матвей Максимович Громов, был родом украинцем, из Полтавской губернии, и с малых лет ходил с отцом на заработки в Юзовку. Был он рослым, сильным, красивым и отважным парнем с спадающими русыми кудрями, кольцами завивавшимися понизу, славился как силач-забойщик, и его любили девушки. И не было ничего удивительного в том, что, попав в эти края на заработки в те самые, назывшиеся Уле библейскими, времена, когда здесь открылись первые шахтенки, он пленил Матрону Савельевну, бывшую тогда еще малюткой чернойглазой казачкой Матрешей с хутора Гаврилова.

В русско-японскую войну он служил в 8-м Московском грендерском полку, шесть раз был ранен, два раза тяжело, имел много наград, последнюю — за спасение знамени своего грендерского полка — святого Георгия.

С той поры здоровье его сдало. Некоторое время он еще работал на малых шахтенках, а потом стал служить при шахте кучером, да к нему осел здесь, на хуторе Гаврилове, после бродячей своей жизни, в шепке, доставшемся Матреше в приданое.

Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не только не думала, а не могла представить себе, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла.

Уля знала, что ее мать и отец слишком привязаны к своему дому, слишком стары и больны, чтобы решиться на уход из дому. Сын был в армии, а Уля была девушка без определившегося пути в жизни, человек без должности, и не могла взять их на свое попечение. У другой дочери, много старше Ули, бывшей замужем за служащим в местном управлении, человеком уже пожилым, жившим в их семье,— у этой старшей дочери были свои дети, и она тоже не решалась на уход из дому. И все они уже давно решили: что бы там ни случилось, туда не уходить с родного места.

Одна Уля до этой вот крайней минуты не имела ни ясного плана, ни твердой цели в душе своей. Ей все казалось, что ею должны распоряжаться другие. То ей хотелось уйти в армию, обязательно в авиацию, и она писала письма брату, который служил техником в одной из авиационных частей, не поможет ли он ей поступить в летную школу. Иногда ей казалось, что проще всего было бы пойти на курсы машинистских сестер, как сделали некоторые из краснодонских девушек,— таким путем она могла бы очень скоро попасть в действующую армию. Но ее преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье, в леса, занятые врагом. То вдруг ею овладевала такая жажда учиться, хотелось дальше! Ведь война не вечна, вот кончится она, надо будет жить, учиться, и как еще нужны будут люди, знающие дело,— она ведь могла скоро стать инженером или учителем. Но так никто и не распорядился ее судьбой, и вот подошло время, когда она должна была отворить калитку и...

Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться

жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на поругание нутся в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитани. Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не на землю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту обжитую хатку, закрыть ставни, упасть в свою девичью постель и лежать тихо-тихо и ничего не решать. Кому какое дело маленькой девочки Ули! Вот так вот забраться в постель, пожить среди близких, любящих людей — и будь что будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет, это не так уж страшно?

Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения унижения от самой возможности допустить такой выход. Не было времени выбирать: уже бежала мать навстречу, подняла ее с постели! За матерью шли отец, сестра, муж, жали ребятки. Печать необыкновенного волнения лежала на лицах, а маленький племянник плакал.

— Куда ж ты запропала, дочка моя? Тебя же с самой собой не могут. Беги скорей до Анатолия, коли он не уехал, бежала говорила мать, и слезы, которых она даже не пыталась удержать, текли по ее загорелым бледным морщинистым щекам.

Мать ее все еще была чернява, хоть и старая и начала стареть на земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были как у большой дикой птицы, хотя сама она была маленькая. И она была сильная и умная, — дочери и старший Матвей Максимович шались ее. Но вот пришел час, когда дочь сама должна была за себя, и силы матери надломились.

— Кто искал? Анатолий? — быстро спросила Уля.

— Та с райкому шукали, — стоя позади матери с тяжело опущенными руками, говорил отец.

Как он был уже стар! Спереди он почти совсем облысел, на затылке да на висках еще остались следы бывших кудрей, еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых волосах было уже столько седины, и щетина на лице была совсем сизый, и кирпичного цвета лицо его, лицо солдата, морщинах.

— Беги, беги, дочка! — повторяла мать. — Обожди, я Анну почувствую — и она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом майскую школу.

— Да ложитесь же вы, мама, и сама!

Уля бросилась за матерью, но та уже бежала впереди, они побежали вместе, старая и молодая.

Усадьбы. Громовых и Поповых граничили садами, полными в пересохшую балочку, по самому дну которой проходила — плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не была с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, часто выступал с докладами. В детстве у него были свои интересы, а в старших классах над ним подтрунивали, буди девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не то

будь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не поздороваться, а если здоровался, краснел так, что любую девгоял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой менивались над Анатолием. Но все-таки Уля уважала его, он был начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, жуков и бабочек, минералы и гербарии.

Таисья Прокофьевна! Таисья Прокофьевна! — кричала мать, пишсь через низенький плетень в садик соседей. — Толечка! Уля

то на той стороне сверху, невидная за деревьями, отозвалась тим голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал сре-евьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками, — в укра-вышитой по подолу и кощам рукавов, рубашке с расстегну-ротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, не рассыпались его зачесанные назад длинные, овсяного цвета,

всегда серьезное худое загорелое лицо с белесоватыми бровями льню разгорячено, он так вспотел, что мокрые пятна кругами вы-у него подмышками. И, видно, он совсем забыл о том, что Ули тесняться.

Ульяна... ты знаешь, я тебя с самого утра ищущу, ведь я уже бят и дивчат обегал, я из-за тебя Витьку Петрова задержал с... они у нас здесь, отец его ужас как ругается, собирайся немед-быстро говорил он.

Мы же ничего не знали. Чье это распоряжение?

Распоряжение райкома — всем уходить. Немцы вот-вот будут всех предупредил, а вашей всей компании нет, я ужас как ничал. А тут с хутора Погорелого едут Витька Петров с отцом. него еще в гражданскую войну партизанил тут против немцев, аться ему, конечно, нельзя ни минуты, и, представляешь себе, пециально заезжает за мной! Вот товарищ, так товарищ! Отец лесничий, лошади у них в лесхозе хар-рошше! Я, конечно, задерживать. Отец ругается, я говорю: «Вы же сам старый пар-нимаете, что товарища бросать нельзя, к тому же, — говорю, — но быть, человек бесстрашный...» Вот мы тебя и ждем, — быстро Анатолий, желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, пережил, и глядя на нее то светлосерыми, то голубыми, вдруг темными глазами, которые мгновенно сделали таким обаятельным его белесоватое лицо.

Как это оно казалось ей раньше ничем не примечательным? В ли-Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы — где-то полных губ, в широком вырезе ноздрей.

...сказала Уля, — Толя... ты... — голос ее дрогнул, она про-у через плетень узкую загорелую руку.

Когда он смутился.

Быстро, быстро, — сказал он, боясь встретиться с ее черными, про-ни его насквозь глазами.

Уля уже все собрала, подъезжайте к воротам... подъезжайте... йте, — повторяла улина мама, и слезы все катились и катились у.

До этой минуты мать еще не совсем верила, что дочь одна в этот огромный распавшийся на части мир, но он дочери оставаться опасно, и вот нашлись добрые люди, и все век с ними, и теперь все уже было кончено.

— Но, Толя, ты предупредил Валу Филатову?— сказала шепотом в голосе.— Ты же понимаешь, это моя лучшая могу уехать без нее.

На лице Анатолия изобразилось такое искреннее оно не мог, да и не пытался скрыть его.

— Ведь лошади-то не мои и нас уже четыре человека впрягу,— растерялся он.

— Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать?

— Лошади, конечно, очень сильные, но все-таки пять человек впрягу.

Вот что, Толя, спасибо тебе за все, за все... Вы езжайте в Валей... мы пешком пойдем,— решительно сказала Уля.— Пешком!

— Господи, как же пешком, доню моя! Я ж тебе все в чемодан сложила, а постель?..— И мать, по-детски утирая лицо, громко заплакала.

Благородство Ули по отношению к подруге не только Анатолию удивительным, оно казалось ему вполне естественным удивительно, если бы Уля поступила иначе. Поэтому он не только не выражал нетерпения,— он просто искал выход из положения.

— Да ты хоть спроси у нее!— вдруг воскликнул он. Уля уже уехала, а может, и не собирается никуда, она же не могла же все-таки!

— Я за ней сбегая,— воспрянула Матрена Савельевна; она всем потеряла счет силам своим.

— Да ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю!— сказала Матрена в сердцах.

— Толька! Скоро вы там?— сильным, звучным голосом спросил Толя, от хаты Поповых, Виктор Петров.

Лошади, конечно, у них сильные. В крайнем случае придется бежать за телегой,— вслух размышлял Анатолий.

Но Уле не понадобилось идти за Валей. Только Уля сбежала к крылечку дома, там, между этим крылечком и дощатыми строениями, кухонкой и сарайчиком для коровы, стояла среди двора осунувшаяся Валя Филатова. Бледность в лице ее преобладала сквозь сильный загар.

— Валуша, собирайся, есть лошади, мы его уговорили, взял нас обещать!— быстро сказала Уля.

— Обожди, мне нужно сказать тебе два слова...

Валя взяла ее за руку. Лицо у Вали было серьезное и она отошла к калитке.

Уля! — сказала Валя, прямо взглянув ей в глаза с расставленными светлыми глазами, выразившими подлинную любовь. Я не поеду никуда, я... Уля! — сказала она с силой.— Ты не человек на свете, да, да, в тебе есть что-то сильное, бол можешь, и правду говорит моя мама — бог дал тебе крылья мое счастье на свете,— говорила Валя с жаром любви,— счастье мое, что у меня было на свете, это ты, но я... я не по

мый обыкновенный человек на свете, я это знаю, и я всегда мечтала юм обыкновенном... Вот, думала, выучусь, буду работать, встречу чего доброго человека, выйду замуж, будут у меня дети, мальчик, ка, будет у нас жизнь светлая, простая, и больше ни о чем я не га. Улечка, я не умею бороться, я боюсь пуститься на сторону одна... да, я вижу, теперь все рушилось, эти мои мечты, но у меня мама някая, я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, и анусь и... и прости меня...

Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руке. Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее та-накомой, милой, пахучей русой головкой.

Самое детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести и тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния вывала себя, а Валя всегда говорила ей всё, всё, не поспевая и чувствами за ходом устных признаний, когда приходила им пора, разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга, — радость состоит в чувстве доверия, в возможности поделиться. И оказалось, что они совсем, совсем разные... Но столько чистых, прозрачных дней было за их нежной, святой девичьей дружбой, что горе разлуки раз-рвало их сердца.

Уля чувствовала, что она отказывается сейчас от чего-то самого дорогого и светлого в своей жизни, а остается что-то очень серое и очень очень неизвестное и ужасное.

Уля чувствовала, что она теряет единственного человека, которому могла в минуту счастья или самого великого душевного стеснения отдать всю себя, какая она есть, Уля. Она не заботилась о том, что друг друга понимала ее, она знала только, что всегда найдет отклик — доброты и покорности, любви и просто чуткости — в ее душе. Она плакала потому, что это был конец ее детства, она становилась взрослой, она выходила в мир — и выходила одна.

Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент этого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подкладка этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она бросила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила, она могла понимать многое.

Что-то предчувствие говорило им, что то, что происходит между ними происходит в последний раз. Они не только чувствовали, они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и стараясь их сдерживать.

Сколько слез было пролито в эти годы — не только в донецкую, а в порушенную, выжженную, политую кровью, потом советскую землю среди этих слез были слезы бессилия, ужаса, прямой нестерпимой физической боли. Но сколько было слез высоких, святых, благородных — чистых и благородных, какие только проливал человек.

Затарахтела, подъезжая к воротам, длинная, с косыми решетчатыми переланская, переделанная из гарбы, телега, заваленная узлами и мешками, запряженная в дышло двумя добрыми гнедыми конями, ко-

торыми правил крупный пожилой мужчина с мясистым в полувоенной гимнастерке и кожаной фуражке,—Уля людруги, низом продолговатой ладони, как подушечкой, с и лицо ее приняло обычное выражение.

— Прощай, Валя...

— Прощай, Улечка, — Валя заплакала в голос.

Они поцеловались.

Подвода остановилась у ворот. Из-за нее, краси бега и тоже заплаканные, показались мать Анатолия, Та : на, здоровая, с светлыми глазами и волосами, росла зачка, и младшая сестра Анатолия, Наташа. Отец его объявления войны был на фронте. Анатолий уже был с ним сидел, в распахнутой на груди майке темноволос с выражением грусти в смелых мальчишеских глазах, державший в руках обернутую во что-то мягкое и пер ром гитару.

Уля повернулась и, точно деревянная, пошла навс уже несли чемодан, узлы, платок. Мать, со своими б большой дикой птицы, маленькая и старая, метнулась к

— Мама,— сказала Уля.

Мать всплеснула сухенькими ручками и упала замерт

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Со времени великого переселения народов не видела такого движения масс людей, как в эти июльские дни !!

По шоссе, на грунтовых дорогах и прямо по степ солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками о сти Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, гр цы — то нестройными колоннами, то вразброд, толкая пе с вещами и детьми на узлах.

Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба не было жаль этого хлеба — ни тем, кто топтал, ни те стали ничьи эти хлеба: они оставались немцам. Колхозн картофельные поля и огороды были открыты для всех. I картофель и пекли его в золе костров, разведенных из с ничных заплотов; у всех, кто шел или ехал, можно было огурцы, помидоры, сочащийся ломоть кавуна или дыни. стояла над степью, что можно было не мигая смотреть в

Взятие немцами Миллерова, города и крупной ж станции на магистрали Воронеж—Ростов, и стремите их танковых и моторизованных частей на Морозовску железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинград рошиловградскую и Ростовскую области от центра стр под угрозой Сталинград и изолировало армии Южного фр

То, что поверхностному взгляду отдельного человек вовлеченного в поток отступления и отражающего скоре исходит в душе его, чем то, что совершается вокруг нег чуждым и бессмысленным выражением паники, было на с виданным по масштабу движением огромных масс людей

ценностей, приведенных в действие сложным, но организованным, сть движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей, го- ственным механизмом войны.

Армии Южного фронта, выставив заслоны у Ворошиловграда и по Мнус, выбрасывая по пути сильные отряды флангового охранения, шли в направлении на Новочеркасск и Ростов с тем, чтобы успеть сти за Дон, избежав глубокого флангового охвата их с севера. И в же направлении двигались эвакуировавшиеся из Ворошиловграда и асти крупные предприятия и учреждения.

Другие, меньшие потоки отступающих воинских частей отходили в давлении на Каменск, город километрах в сорока от Краснодона, рас- женный южнее Миллерова, в том пункте, где железная дорога Воро- — Ростов пересекает реку Северный Донец, и в направлении через дую на Белокалитвенскую, станцию на железной дороге Донбасс — нинград, в пункте, где эта дорога пересекает Северный Донец. Эти ии должны были прикрыть правый, северный, фланг отступающих ча- Южного фронта.

Как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме этих ых, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений масс и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в чвлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и ективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, по- вших связь, сбившихся с пути, групп военных, отставших по болезни ранению, по недостатку транспорта. Эти, то большие, то меньшие ы, не имеющие никакого представления о том, что же в действитель- ности происходит на фронте, шли, куда им казалось вернее и выгод- забивали все поры и вены главного движения и прежде всего за- ли переправы через Донец и Дон, где у паромов и понтонных мо- , подвергаясь вражеской бомбардировке с воздуха, в течение суток ылись целые таборы людей, машин, подвод.

Как ни бессмысленно было движение на Каменск в условиях, когда ькие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, значительная беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, у что в этом направлении еще шли воинские части. И именно в бессмысленный поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми ми селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий По- Виктор Петров и его отец.

Идва скрылись из глаз последние хуторские стросния, когда под- среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд ома, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев моторов, ва низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пики- ки, ударили по шоссе из пулеметов.

тец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, истым лицом и сильным голосом, вдруг побелел:

В степь! Ложись! — крикнул он ужасным голосом. Ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец ра, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте будто испарился, будто это был не мужик-лесничий в тяжелых х, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на возу, — она сама

не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги.

Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотягиваясь, едва не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы в сторону, чуть не оборвав построжки. Устойчивая, длинная телега, переделанная из гарбы, было опрокинута и стала на колеса. Уля, уцепившись одной рукой за край телеги за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади дру-

Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанной среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий юноша, с непокрытой головой, и кинулся, казался коней.

Уля не сразу сообразила, что произошло, но черт-те что она увидела меж конских голов с взметенными гривами. Темными пастями его очень юное, свежее, сверкающее глазами лицом необычайного напряжения и силы, с плитами румянца и скуластое лицо.

Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжину, юноша стоял между конем и дышлом, больше напуганный, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, точно рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой парусиной рубашке с галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым наконечником складной ручки. Другой рукой он повернулся, чтобы поймать за вожжу другого коня. Только по вздувшемуся пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам на кисти руки, которой он держал коня, видно было, что это ему стоило.

— Тпру... тпру...— говорил он не очень громко, но г-

И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу, кони оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще брызгали гривами, косясь на него звериными глазами, но они не отпустили его вовсе не притихли.

Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, было удивлению Ули,— он большими ладонями аккуратно расчесал свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косою пробор русые волосы. Потом он поднял на Улю совершенно мокрое скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся.

— Добрые к-кони, могли разнести,— сказал он, чуть заискивая этой своей широкой улыбкой на Улю, которая, все еще держась за вожжи и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением и недоверием смотрела на него черными глазами.

Люди возвращались на шоссе, ница свои подводы и машины в местах, должно быть возле убитых и раненых, грудились, оттуда доносились стоны и причитания.

— Я так боялась, что они собьют тебя дышлом!— сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения.

— Я сам того боялся. Да кони не злые, холощень

...дал он и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно
...репал по потной глянцевиной шее коня, ближе к которому стоял.
...дали, где-то уже на Донце, слышались глухие и одновременно
...е удары бомбежки.

— Очень людей жалко,— сказала Уля, оглядываясь вокруг.
Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз,
... большая шумливая река катилась.

— Да, жалко. А особенно матерей наших. Что они переживают!
...о им еще предстоит пережить!— сказал юноша, и лицо его сразу
... серьезным, и на лбу его, не по возрасту, собрались резкие про-
...ные морщины.

— Да, да...— беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою,
...она лежала, маленькая, распластавшись на выжженной земле.

Отец Виктора Петрова так же внезапно, как и исчез, возник возле
... и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлен,
...ажки. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской
...пючке и все же не теряя обычного серьезного выражения, пока-
...дес Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный.

— Гитара-то моя цела?— быстро спросил Виктор, озабоченно огля-
...ли воз. И, увидев обернутую в стеганое одеяло, заложенную между
...ов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и
...омялся.

Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло
...од шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную
...крытую голову с светлыми волосами, подошел к возу.

— Анатолий!— радостно воскликнул он.

— Олег!

...ни крепко схватили друг друга за руки повыше локтей, и в то
...е время Олег покосился на Улю и вдруг засмеялся— откровенно,
...ого, весело.

— Кошевой,— назвал он себя и протянул руку.

...одно плечо, левое, было у него выше другого, левой рукой,— Уля
...завидела это,— он держал коня,— должно быть он был левша. Он
...был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой
...ткой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно-
...красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей
...манеры двигаться, говорить с легким занканием исходило такое
...душение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу
...чувствовала доверие к нему.

...он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно схватил
...и ее облеченный в белую кофту и темную юбку стройный стан
...кой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой
...и, черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри
...ливого выреза, длинные, стройные загорелые ноги, едва ниже
...прикрытые темной юбкой,— вспыхнул, резко повернулся к Виктору
...щенный, подал ему руку.

...ег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе имени
...ого, расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел
...е, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая

нередко возникает между активными комсомольцами, до комсомольского совещания до другого.

— Да, вот где привелось встретиться,— сказал мнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем ; питься, и ты нас всех познакомил... со своей бабушк он.— Она что, с тобой едет?

— Нет, б-бабка осталась. И мама осталась,— сказ его снова собрались продольные морщины.— Нас пя брат,— никак язык не повернется назвать его дядей! — Жинка его, да их мальчишка, да д-дед, что нас ве головы указал на бричку впереди, откуда его уж окликали.

Бричка, запряженная низкорослым, прытким на н ком, теперь все время катилась впереди, а гнедые к сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи бричке.

Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылев, и инженер-геолог треста «Краснодонуголь», в синей пид сивый, чернобровый, синеглазый и флегматичный молодс племянника всего лет на пять, друживший с ним, ка дразнивал его Улей.

— Этого, брат, упускать нельзя,— бубнил дядя лосом, не глядя на племянника,— шутка сказать, девк смерти не спас! Здесь, брат, дело не обойдется без св рина?

— А ну вас к богу! Я так злякалась!

— А правда, хороша?—спрашивал Олег у своей тушки.— Просто чудо, как хороша!

— А Леночка?.. Ах, ты, Олежка-дролетка! — та черненькими глазками, сказала тетушка.

Тетушка Марина была из прехорошеньких тетуше рые, кажется, сошли с лубочной картинки,— в выш кофте, в монистах, черненькая, белозубая, с пышными стым облаком стоящими вокруг головы,— даже внезап рогу не помешали ей убраться к лицу.

Она придерживала рукой трехлетнего толстого м новенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он в не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал.

— Нет, я так скажу: Леночка-то, правда, пара нашем хоть и хорошенькая, а она нашего Олега никак не пол ще мальчик, а вона вже дивчина, дай боже! — быстро гс ка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг поглядывая на небо.— Это коли жинка уже старая, та мальчики, а коли вона ще молоденькая, то ей николи не ложе ее, то я по себе скажу,— говорила она такой которая показывала, что тетушка действительно злякалась

Лена Позднышева была девушка-одноклассница, остае подоне, с которой Олег дружил, в которую был влюб. были посвящены многие страницы его дневника. Может (и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, та

воззвываясь об Уле? Но что же в этом может быть нехорошего? Лешка — это уже навсегда в душе его, это уже никуда не может уйти, Уля... И он снова видел перед собой Улю, и этих коней, и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права, то есть эта девушка может не полюбить его оттого, что он еще мальчик! «Ах ты, Олежка-дролетка!» Он был любчив и сам знал это за собой.

Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся так же пробиться вперед и везде, куда ни хватал глаз, был все тот же поток людей, машин и подвод.

И постепенно образы и Ули и Лешки покинули Олега, и всё задерживал этот беспрерывный поток людей, в котором, как углые лодки в море, покачивались бричка, запряженная бужным коньком, и телега с седьмью конями.

Степь без конца и края тянулась на все концы света, тучные дымы паров вставали на горизонте, и только далеко, далеко на востоке обыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, где было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами.

И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...

...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не выгорел и зимой, — он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, — ведь столько выпало работы в жизни, — но они всегда казались мне такими нежными и я так любил целовать их прямо в темные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо, в последний раз положила голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню твои руки в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и помню, как ты, в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавнике, — такая маленькая и пушистая, как рукавчик. Я вижу твои с чуть слышимыми суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: ба-ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп к зрелому житу, сломленное жменью другой руки прямо на серп, вижу несомненное сверканье серпа и потом это мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.

Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, залубневшие от холодной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, — совсем одни на свете, и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына, и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела — пела только для себя и для меня. Почему что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что бы им не под силу, чего бы они погнушались! Я видел, как ты месили глину с коровьим пометом чтобы обмазать хату, и я видел твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты

подняла стакан с красным молдавским вином. А с какой любовью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг отжима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки,— ты того ты научила любить меня и которого я чтил, как родного. И одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как пожимали они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, и глядели мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал на постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, починик горел в комнате, и ты глядела на меня своими заповедными глазами будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я видел твои святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновей,— если не ты, так другая же, как ты,— иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта ча новала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни в саду, и пламя бушует в доме, и чья-то незримая сила поднимает с земли или с постели, когда он заболел или ранен,— все это с твоими руками матери моей — моей и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, — сколько ты обижал в жизни больше, чем мать свою,— не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не в юности ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным образом сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты со своим светом можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и не забудь.

Также — а может быть, и не совсем также — мысли твои впились в душу Олега. Он уже не мог забыть того, что мать говорила «там», и бабушка Вера, «подруга дней моих суровых», — тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, только что забывшего о чем-то далеком от жизни, — бабушка Вера тоже говорила «там».

И лицо Олега стало серьезным, неподвижным, бока его, золотистых ресницах заволоклись влажной пеленою. Он сидел, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы с белыми резкими продольными складками легли у него на лбу.

Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленькая дочь. Такая же тишина установилась на подводе, следовавшая за конем том и буланый конек и добрые гнедые кони в этой ступени толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выехали по которому все катился и катился поток людей, машин и грузов.

И что бы ни делали, ни думали, ни говорили лицом потоке людского горя — шутили ли они, придремали ли, заводили знакомства, поили лошадей у редких колесниц, — над всем незримо простиралась черная тень, из-за спины, простершая крылья уже где-то на севере и странявшаяся по степи еще быстрее, чем этот поток.

И ощущение того, что они вынужденно покидают разбросанных людей, бегут в неизвестность, и что сила, отброшенная тень, может настигнуть и раздавить их, — тяжестью лежала на каждом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Среди машин и беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, в брочку и телегу, ползла грузовая машина шахты № 1. Среди работников и имущества шахтоуправления ехали Валько и Григорий Ильич Шевцов, с которым Уля в часов назад рассталась у калитки его дома.

Тут же пешком двигался детский дом для сирот участившей войны, помещавшийся в свое время на Восьмидомовке и девочки в возрасте пяти — восьми лет, в сопровождении двух нянь и заведующей домом — воспитательницы, пожилых, сонливыми, невидящими глазами, с красным платком на затылке, занятым, как у жницы, и в резиновых пропылившихся сапогах, прямо на чулок.

Шоссе было так забито, что колонна больше стояла, чем шла. Дом сопровождало несколько подвод с имуществом, а впереди жались по очереди притомившихся детей.

В тот момент, как грузовик шахты № 1-бис настиг колонну, все пассажиры грузовика — Валько, Григорий Ильич Шевцов — выгивали с машины и посадили в нее ребят. Григорий Шевцов вывела белокурая голубоглазая девочка с серьезными черными щечками-«лампушками», как называл их Григорий Шевцов. Он почти всю дорогу нес девочку на руках, целовал ей ручки, шептал и разговаривал с ней, сам такой же белокурый, как она.

Впереди подводами детского дома, к которым присоединились и телега, двигалось сильно растянувшееся по шоссе и по обочине с кухнями, пулеметами и пушкой. Сгущенная пыль желтого цвета въелась в сапоги бойцов и командиров. Отступление несколько суток было на походе.

В голове колонны, прямо за подводами, обтекая их, колесом замедлялось, шла рота автоматчиков. Бойцы шли с горбатыми, неупорный кирпич, лицами, неся перед собой на груди свои автоматы, небрежно придерживаемые одной рукой в наляпанной сапожной лаптях, а то и перевязанной после ранения.

Подвода, на которой ехала Уля, по какому-то неписаному закону сразу стала как бы принадлежностью хозяйства роты, частью самой роты: и на походе и на стоянке подвода стояла в центре роты, и, куда бы Уля ни глядела, сзади и впереди бросаемые исподволь, а то и прямо направленные в нее выстрелы молодых вояк в этих пропыленных сапогах и прилипших к сапогам, пропотевших, высохших и вновь пропотевших, вываливавшихся в песок, в болоте, в хвое, в солончаке, выдержанных в ее солнце солдатских гимнастерках.

Смотря на отступление, бойцы были в обычном в притупленном бодром, озорном, шутливом настроении, и, как и во

походе или на отдыхе, в роте автоматчиков оказался сво
агур.

— Куда, куда без приказа?— кричал он отцу Виктора, ользую малейшую возможность продвинуться вперед, понук ет, друг милый, вам теперь без нас ходу нет. Мы вас прпп і роте навечно, служить вам теперь, как медному котелк да довольствие зачислили, на шильное, мыльное, на приваро — храни, господь и наша церковь, ее красоту — каждое у фсеи поить. Сладким!..

— Верно, Каюткин, не давай роту в обиду!— смеялис ки, весело поглядывая на Улю.

— А что? Мы сей же час это проверим. Товарищ старш ль он спит? Гляди, ребята, на ходу спит... Старшина! Под рьял...

— А ты головы не потерял?

— Одну потерял, да она случайно у тебя на плечах ет же ж у меня приставные, гляди...

И Каюткин, аккуратно взявшись за свою некрпную голову кой за подбородок, а другой за затылок под пилоткой, и цвиннутой на одну бровь,— выкатив глаза, стал производит рашательные движения, как бы вывинчивая шею. Иллюзия тлова отделяется от туловища, была настолько полной, что все, кто был вблизи, грохнули хохотом. Уля не выдержала и емеялась, звонко, по-детски, и смутилась. И все автоматчики радс мотрели на Улю, точно они знали, что Каюткин делает это для

Он был физически мал, но необыкновенно ловок в движени: агагур Каюткин. Лицо у него было все в мелких морщинках. е одинаное, что никак нельзя было угадать, сколько ему лет,— и за тридцать и не больше двадцати, а по фигуре и п был совсем мальчишка. Глаза у него были большие, синие, то е мелких морщинок, и, когда он умолкал, в них проглядывала ния с самого глубокого дна застарелая усталость, но он бу, иа, чтобы люди видели его усталость, и почти не умолкал.

— Вы откуда будете, молодые люди?— обратился он к Улю.— Вот видите! Вы из Краснодона,— удовлетворенно сказал е девушка, скажем, будет кому-нибудь из вас сестрица? Или, и акаша, ваша дочь?.. Вот видите,— девушка вполне свободная и сестра, ни мужияя жена, и в Каменске ее, не иначе, мс добиллизуют, поставят легулировщицей. При сплошном псулс еании! И Каюткин неповторимым жестом показал на все, и ось на шоссе и на степи.— Уж лучше ей к нам, в роту авто йбою, вы, ребята, скоро попадете в Россию, там девок пр у нас в роте ни одной. А нам такая девушка очень нужна ивки настоящей речи и для благородства поведения..

— Уж это как она сама захочет,— с улыбкой отвечал Ана енно поглядывая на Улю, которая, стараясь не смеяться и все ддела в сторону, чтобы не встретиться глазами с Каюткиным

— У-у, се мы уговорим!— воскликнул Каюткин.— Мы мы таких ребят выставим, они какую хочешь девушку угово

«А что если и в самом деле пойти, вот соскочить с тележки?» — вдруг с замиранием сердца подумала Уля.

Олег Кошевой, теперь все время шагавший рядом с тележкой, сводил с Каюткина глаз, как замороженный. Он был влюблен в Улю и хотел, чтобы все были влюблены в него. Стоило Каюткину шепнуть, как Олег уже смеялся, закинув голову, показывая все свои зубы. От удовольствия он даже потирал себе кончики пальцев, так ему нравился Каюткин. Но Каюткин словно и не чувствовал этого, даже раз не взглянул на него, как он ни разу, не взглянул на Улю на одного из людей, которых забавлял.

Боец-пехотинец, громадного роста с большими и черными, как ворода, руками, запыхавшись, выбился из задних рядов колонны, в руке какие-то тяжелые предметы, завернутые в замасленную тряпку.

— Товарищи! Где здесь, сказали мне, шахтерская машина? — спрашивал он.

— Вот она, да только стоит! — пошутил Каюткин, указывая на зовик, весь усаженный детишками.

— Извините, товарищи, — сказал боец, подходя к Валько и Григорию Ильичу, бережно поставившему белокурую девочку на землю. — Хочу вам инструмент отдать. Вы народ мастеровой, и он вам пригодится, а мне он лишняя тяжесть на походе, — и он стал разворачивать в их руках замасленную тряпку.

Валько и Григорий Ильич, склонившись, смотрели ему на руки.

— Видали? — торжественно сказал боец, показывая в руке набор больших ручек тряпке набор новеньких слесарных инструментов.

— Не понял — продаешь, что ли? — спросил Валько и Григорий Ильич, но поднял на него из-под сросшихся бровей цыганские свои глаза.

Кирпично-красное лицо бойца побагровело до того, что по щекам покатились капельками пота.

— Как только язык у тебя ворочается! — сказал он. — Ты в тепе подобрал. Иду, а он так и лежит в тряпке, — должно, не пригодится.

— А может, выбросил, чтоб легче кульгать! — усмехнулся Григорий Ильич.

— Мастеровой человек инструмента не выбросит. Обронил, — сказал боец, обращаясь уже только к Григорию Ильичу.

— Спасибо, спасибо, друг... — сказал Григорий Ильич и начал помогать бойцу завертывать инструменты.

— Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент тебе не пригодится, а мне-то на походе, в полной выкладке, пригодится.

— Спасибо, спасибо, друг... — сказал Григорий Ильич и начал помогать бойцу завертывать инструменты.

— Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент тебе не пригодится, а мне-то на походе, в полной выкладке, пригодится.

— Человек... Да... — хрипло сказал Валько.

И Григорий Ильич, державший в одной руке инструмент, а в другой — улаживавший по головке белокурую девочку, понял, что боец не поворачиваясь к бойцу не по недостатку сердца, а по тому, что многие люди обманывают его, руководителя предприятия, в котором работали тысячи людей и которое давало им работу на целый день в сутки. Предприятие это было теперь взорвано его руками, люди частью были вывезены или убиты.

— Спасибо, спасибо, друг... — сказал Григорий Ильич и начал помогать бойцу завертывать инструменты.

— Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент тебе не пригодится, а мне-то на походе, в полной выкладке, пригодится.

— Спасибо, спасибо, друг... — сказал Григорий Ильич и начал помогать бойцу завертывать инструменты.

ью остались на погибель. И Григорий Ильич в темноту, может быть, сейчас на душе у директора. Как ни топтали степь машины, лошади, люди и скот, жело, пыль осела, слышны стали запахи сена, полыни не народился, небо раскинулось темное, в звездах. Еще с вечера стали слышны впереди звуки орудий, вью они приблизились, можно было даже расслышать впереди. И всю ночь там, в районе Каменска, видны огни настолько сильные, что они освещали всю окрестность. Паровозы окрашивали небо то там, то здесь в винный цвет, дождь отливало среди темной степи по вершинам курганов — Братские могилы,— сказал отец Виктора, молча глядя в темноту с огоньком самокрутки, иногда вырывающимся из темноты истинное лицо.— Это не стародавних времен могилы, это 1917 год, как он сказал он.— Мы пробивались тут с Пархоменком и захоронили своих...

Анатолий, Виктор, Олег и Уля молча поглядели на кукурузном поле.

— Да, сколько мы в школе сочинений написали, гали, завидовали отцам нашим, и вот она пришла, то нарочно, чтобы узнать, каковы мы, а мы уезжаем и глубоко вздохнул.

За ночь в движении колонны произошли перемены. Трудоводы учреждений и гражданских лиц и толпа беженцев двигались,— говорили, что впереди проходят воинские подразделения и до автоматчиков, они завозились в темноте, тишине, за ними вся часть зашевелилась. Машины, двигались рыча моторами. Во тьме мерцали огоньки щипцов, что это звездочки в небе.

Кто-то тронул Улю за локоть, она обернулась. Которой стороны ваза, обратной той, где сидел отец Виктора и выжидал.

— На минуточку,— сказал он едва слышным шепотом. Что-то такое было в его голосе, что она сошла к нему и отошли немного.

— Извиняйте, что побеспокоил,— тихо сказал Каюткин, глядя в Каменск, его вот-вот немец возьмет, а по той стороне и вовсе далеко пошел. Про то, что я вам сказал, говорите, я на то права не имел, но люди вы свои, и вы пропадете ни за что. Надо вам свернуть куда-нибудь, бог, чтобы поспели.

Каюткин говорил с Улей так бережно, будто огонь, лицо его было плохо видно в темноте, но оно было мягким и в глазах не было усталости— они блеснули. И на Улю подействовало не то, что он сказал, а то, как говорил. Она молча глядела на него.

— Как зовут-то тебя?— тихо спросил Каюткин.

— Ульяна Громова.

— Нет ли у тебя карточки своей?

— Нет.

— Нет... — повторил он печально.

Чувство жалости к нему и в то же время какое-то озорное чувство вдруг так и подхватило Улю,— она близко, совсем близко склонилась к его лицу.

— У меня нет карточки,— сказала она шопотом,— но если ты хорошо, хорошо помотришь на меня,— она помолчала и некоторое время смотрела ему прямо в глаза своими черными очами,— ты не забудешь меня,— сказала она.

Он замер, только большие глаза его некоторое время печально светились в темноте.

— Да, я не забуду тебя... Потому что тебя нельзя забыть,— прошептал он чуть слышно. — Прощай...

И он, грохоча тяжелыми солдатскими сапогами, присоединился к партии, которая все уходила и уходила во тьму со своими цыгарками, тесно сжатая, как Млечный путь.

Уля еще раздумывала, сказать ли кому-нибудь о том, что он сказал ей, но, видно, это было известно не только ему и уже проникло в колонну.

Когда она подошла к телеге, многие машины и подводы сворачивали степь, на юго-восток. В том же направлении потянулись вереницей еженцы.

— Придется на Лихую,— послышался хриплый голос Валько.

Отец Виктора о чем-то спросил его.

— Зачем разлучаться, будем двигаться вместе, раз уж судьба связала нас,— сказал Валько.

Рассвет застал их уже в степи без дороги.

Он был так прекрасен в открытой степи, этот рассвет,— проявившее небо над необъятными пространствами хлебов, здесь почти не тронутых, и светлоразделенная атава на дне балок, посеребренная росой, капельках которой радужно отражался скользкий вдоль балок нежный свет солнца, встававшего прямо на людей. Но тем печальнее свете этого раннего утра выглядели измученные, заспаные, осунувшиеся лица детей и сумрачные, измятые, полные тревоги лица взрослых.

Уля увидела заведующую детским домом, в этих ее насквозь пролиплившихся резиновых ботах, надетых прямо на чулок. Лицо у заведующей все почернело. Всю дорогу она шла пешком и только с ночи села на одну из подвод. Донецкое солнце, казалось, иссушило и жгло ее дотла. Эту ночь она, видно, тоже не спала и уже все время молчала, все делала машинально, в пронзительных невидящих глазах ее было потустороннее, не здешнего мира выражение.

С самого раннего утра в воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов. Молотов не было видно, но впереди слева все время слышны были гремящие воздух гулкие бомбовые удары, и иногда где-то очень близко стрекотали пулеметы в небе.

Там, над Донцом и Каменском, невидимые отсюда, а только слышимые, развертывались воздушные бои. И только один раз они увидели впереди уходивший низом, отбомбившийся немецкий пикировщик.

Олег вдруг соскочил с брочки и дождался, пока телега поравняется с ним.

Подумать только, нет, только подумать,— сказал он, идя рядом с телегой, держась за край ее и глядя на товарищей своими большими

глазами,— ведь если немцы за Донцом, а эта часть, что шла с ними, держивает их в Каменске,— ей уже не уйти, и этому авось, и этому парню чудесному, что всех веселил, всем им уже. И они, конечно, знали это, когда шли, они знали это! — говорил.

Мысль о том, что Каюткин прощался с ней перед смертью, пронзила сердце Ули, и она вся вспыхнула от стыда, когда ей сказала то, что она сказала ему. Но чистый внутренний голос говорил ей, что она не сказала ничего такого, что было бы тяжело вспомнить Каюткину, когда он встретит свой смертный час.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Толпы беженцев уже вторые сутки проходили через Краснодар, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшей одежду людей, цветы, листья лопухов и тыков грязно-черно-рыжим слоем.

Но в то время, когда на окраинах города еще все было охвачено волнением бегства и прощания, в центре города, на улицах, примыкающих к парку, уже стало совсем тихо, тише, чем обычно.

За парком погромыхивал взад-вперед по ветке последний железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, которое еще можно было вывезти. Слышно было сопение паровоза, звяканье рожок стрелочника. Оттуда, с переезда, доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли, урчанье и грохот колес артиллерии по мосту,— это продолжали отходить части. И с паузами слышны были то в том, то в другом направлении за холмами дальние гулкие раскаты орудийных залпов, как будто за этими холмами, по необъятному простору степи покатывая на место громадную, с боками до неба, порожнюю бочку.

На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двора каменного здания треста «Краснодоуголь» еще стоял грузовик, тонкая, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные двери последние остатки имущества треста и грузили их в машину.

Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с вихмурой озабоченности и руки, набрякшие от таскания тяжелых потны и грязны. А немного в сторонке, под самыми окнами, стояли юноша и девушка и разговаривали так увлеченно и так, что видно было — и этот грузовик, и потные грязные люди, происходило вокруг, не было и не могло быть для них ни о чем они говорили.

Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях на босу кружная, полная, русая, с темными, матово поблескивающими миндалинами, глазами, чуть косоватыми.

Юноша был длинный, нескладный, сутуловатый, в синей ранней косоворотке с короткими для его длинных рук рукавами, поясанной узким ремешком, в серых, в коричневую полоску, в тугих брюках и в тапочках на босу ногу. Длинные прямые волосы не слушались его, когда он говорил, падали на лоб, на

и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его принадлежало к тому типу бледных лиц, которые почти не берет загар. К тому же юноша был явно застенчив. Но в выражении лица его было столько природного юмора и в то же время затаенного, вот-вот готового пыхнуть вдохновения, что это волновало девушку; она смотрела ему лицо не отрываясь.

Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Но за ними наблюдали.

Наискосок через улицу, возле калитки стандартного дома, где помещался с прошлой осени Ворошиловградский областной комитет партии большевиков, стояла сильно побитая, местами порыжевшая, местами потертая до какого-то жестяного блеска, точно ей, как евангельскому рблуду, пришлось-таки ободрать бока, пролезая сквозь игольное ухо, оная легковая машина старой конструкции, высоко поставленная на лесак. Это было первое детище советского автомобилестроения, вездеходное вышедшее из употребления и в просторечии именуемое «газик».

Да, это был газик — из тех, что прошли тысячи, десятки тысяч километров по степям Дона и Казахстана и по тундрам Севера, что выжили едва не по козьим тропам на горы Кавказа и Памира, что выжили в таежные дебри Алтая и Сихоте-Алиня, обслужили строительство Днепровской плотины и Сталинградского тракторного завода, что подвозили Чухновского и его товарищей к северному аэродрому для спасения экспедиции Нобиле и сквозь метели и ледяные тисы ползли по амурской ледяной трассе на подмогу первым строителям Комсомольска, — одним словом, это был газик из тех, что, напрягая спину, вытянули на своей спине всю первую пятилетку, вытянули, выжили и уступили свое место более совершенным машинам, детищам лучших заводов, которые они вытянули.

Газик, что стоял возле стандартного дома, был закрытый газик-лимузин. Внутри него, у заднего сиденья, в ногах, стоял длинный тяжелый чемодан; сбоку, поперек сиденья и ящика, лежало два чемодана, один на другом; поверх них, под самой крышей — два туго набитых рюкзака; в ногах прислонены были два автомата ППШ с надетыми дисками, и еще в ногах лежал стопка дисков. А на месте сиденья, оставшемся свободным, сидела белокурая загорелая женщина лет тридцати, со строгими чертами лица, в плотном дорожном платье, неопределенного, от частого пребывания под солнцем и дождем, цвета. Ей уже негде было свободно поставить ноги, и она, закинув одну на другую, едва поместила их между чемоданом и дверцей.

Женщина беспокойно поглядывала в сквозные отверстия дверок лимузина, — стекло в дверцах давно уже не было, — то на крыльцо стандартного дома, то в сторону грузившейся у треста машины. Видно было, что она ждет кого-то, ждет довольно долго и ей неприятно, что те, которые грузят на машину, могут видеть и этот одинокий лимузин. Она заглянула в здание обкома и ее, женщину, в лимузине. Беспокойство, как тень, легло по ее строгому лицу, потом она снова откидывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и задумчиво смотрела на машину и девушку, разговаривавших под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягчались, и, не замечаемый ею самой, слабый отзвук

доброй и грустной улыбки возникал в ее серых глазах резкого рисунка, губах.

Женщине было тридцать лет, и она не знала, что такое доброго сожаления и грусти, возникавшее в лице ее, как на юношу и девушку, только и было выражением того, что тридцать лет и что она не может быть такой, как эти.

Несмотря на все, что происходило вокруг и на то, что юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли этого потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись как объясняются только в юности, то есть говорили не о всем, кроме любви.

— Я так рада, Ванечка, что ты пришел, у тебя столько с души упала,—говорила она, глядя на него своими поблескивающими косыми глазами,—я уже думала не увижу тебя и не увижу...

— Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни? Он глуховатым баском, сверху вниз глядя на нее близорукими глазами в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вдохновение.—Нет, я знаю, ты всё, всё помнишь... Я уехал еще три дня тому назад. Я уже совсем сложился и навел перед тем, как зайти к тебе проститься, в дом комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эвакуации. Ворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уже кончились. Ребята просят помочь, и я сам вижу, что помочь им не могу. Ты знаешь, как мы с ним дружим,—предлагал ему ехать на Каменск, но мне было уже неловко уезжать.

— Ты знаешь, у меня точно тяжесть с сердцем, неотрывно глядя на него своими магово поблескивающими глазами.

— Признаться, я в душе тоже был рад,—думал он много раз увижу,—басил он, не в силах оторваться от в плену того жаркого, нежного тепла, которое исходило от красневшегося лица и полной шеи и от всегостевающегося под розовой кофточкой тела.—Что представляешь себе? Школа имени Ворошилова, и клуб Ленина, детская больница — и все на меня. (Хороший нашелся — Жора Арутюпянц. Помнишь? Вот парень! Сам вызвался. Мы с ним не поехали. И днем и ночью — все на ногах: подводы, машины там шина чортова порвалась, там бричку надо починить, там кобылы!.. Но я, конечно, знал, что ты не уедешь. Ты сказал он с застенчивой улыбкой.—Вчера ночью я у тебя у меня аж сердце оборвалось! А что, думаю, что ты засмеялся.—Потом вспомнил родителя твоего. Ты терпи...

— Ты знаешь, у меня просто тяжесть...—говорила она.

Но он, увлеченный, не дал ей договорить.

— Вчера я, правда, уже решил плюнуть тебе в лицо. Ведь не увижу! И что ж ты скажешь? Оказалось, что на Восьмидомпках, что организовали знаменитых артистов.

пр.иц. Заведующая,—она рядом с нами живет,—прямо ко мне и лает: «Товарищ Земнухов, выручите. Хоть через комитет достаньте транспорт». Я говорю: «Уехал уже комитет комобатиться в отдел народного образования». — «Я,—говорит,—эти дни связана, обещали вот-вот вывезти, а сегодня утра же — у них и для себя-то транспорта нет. Пока сбегала туда же и отдела народного образования не осталось...» — «Куда же говорю,—ежели у него транспорта нет?» — «Не знаю,—кто как-то рассосался...» Отдел народного образования рассосался Земнухов вдруг так весело расхохотался, что его непослушные прямые волосы попадали на лоб и на уши, но он их тотчас инуль резким движением головы. — Вот чудики! — смеялся он. — Я знаю, пропало твое дело, Ваня! Не видать тебе Клавы, как свет! Ты можешь представить себе, взялись мы с Жорой Арутюняном за дело, достали пять подвод. И знаешь у кого? У военных, у которых я прощалась, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, что она тебе не скажет? Сегодня я говорю Жоре: «Беги, укладывай свой мешок, а уложу свой». Потом я ему намекаю, что мне-де в одно место надо, мол, заходи за мной, немного, в случае чего, обожди, в общем, всякое такое... Только я мешок свой уложил, вваливается Жора, знаешь ты его? Ну, Толя Орлов? У него еще прозвище «Премит»...

У меня просто тяжесть с сердца упала,—прорвавшись, наконец, поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава своим блеском в глазах. — Я так боялась, что ты не зайдешь, — же не могла сама зайти к тебе,—говорила она на каких-то низких тонах своего голоса.

Почему же? — спросил он, внезапно удивившись этой милой интонации. Ну, как ты не понимаешь? — она смутилась. — А что бы я тебе сказала?

Жалуй, это было самое большое, на что она могла пойти в то время. Жора: дать, наконец, понять ему, что их отношения не есть обычные отношения, что в этих отношениях есть тайна. Она в то время должна была напомнить ему об этом, если он сам не хотел это повторить.

Он замолчал и так посмотрел на нее, что вдруг все ее кришало. Она белая полная шея до самого выреза розовой кофты на ней, — как эта кофта.

Нет, ты не думай, что он плохо к тебе относится, — быстро сказала она, мерцая своими косоватыми, как миндалины, глазами, — это он раз говорил: «Умный, этот Земнухов...» И ты знаешь, — тут она перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса, — если бы хотел, ты мог бы поехать с нами.

И вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой пришла ему в голову и так была заманчива, что он растерялся, пошел к ней, неловко улынулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, и вся улица за улицы, уходящая на юг, облитая жарким солнцем, бившим в глаза, была перед ним. Улица точно обрывалась в дали, там был спуск к

второму переезду, и далеко-далеко видны были дымки, за которыми вставали дымы дальних пожаров. Он только видел: он был сильно близорук. Он только услышал выстрелов, свистки паровоза за парком и такой мурлыкающей ства, такой свежий и ясный под степным небом.

— У меня же, Клава, и вещей с собой нет, — сказала Клава растерянно и развел руками, словно показывая на себя. Она шла в лову с распадающимися длинными темнорусыми волосами, в роткими рукавами застиранную сатиновую рубашку, в выстиранные брюки в коричневую полоску, и тапочки. Она только тапочки не захватил, я и тебя-то как следует не посмотрел, — сказал он.

— Мы попросим папу и заедем за вещами, — сказала Клава. Она рила она, искоса глядя на него. Она даже сделала шаг вперед, но руку, но не решилась.

И, как нарочно, отец Клавы, в кепке и сапогах и в черном пиджаке, неся два чемодана, весь обливаясь потом, слыша выш зовика, высматривая место, куда поставить чемоданы.

— Давай, товарищ Ковалев, я пристрою, — говорил рабочий среди тюков и ящиков, и, опустившись на одно колено, вставая рукой за край грузовика, по очереди приносил чемоданы.

В это время, так же обходя грузовик, подошел к нему отец Г перед собой обеими худыми, жилистыми загорелыми руками, и жий на узел из прачечной, — должно быть, с большим трудом, трудно нести этот узел: он нес его перед собой в одной руке, а в другой волоча подгибающиеся и шаркающие по земле ноги. Его вытянутое морщинистое загорелое лицо, все в поту, и на этом худом, изможденном лице страшно выделены глаза с нездоровым блеском, строгие до мучительности.

Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, главный рабочий в тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий хозяйством, был его непосредственным начальником.

Ковалев был из тех многочисленных завхозов, которые в любое время спокойно несут бремя человеческого негодования, и незрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отношении к моему человечеству их весьма немногочисленными. И потому, что он был одним из тех завхозов, которые только в чрезвычайных случаях обнаруживают, что же такое есть на свете наст...

В течение всех последних дней, с того момента, когда директор приказ эвакуировать имущество, в течение нескольких дней мольбы и жалобы сослуживцев, льстивые проявления многих из тех начальников, которые в обыкновенные времена больше, чем половую щетку в передней у голландца, на все это, он так же спокойно, ровно и спорно погрузил и отправил все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Утром, на заре, он получил приказ уполномоченными не задерживаться далее ни минуты, уничтожить все, что нельзя вывезти, и немедленно выезжать на вокзал.

Но, получив этот приказ, Ковалев так же спо...

И сначала самого уполномоченного с его имуществом и, неизвестно как и как добывая все виды транспорта, продолжал отправлять оставшееся имущество треста, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. Пуще всего он боялся, что и в этот трагический день его, как и раньше, обвинят в том, что он прежде всего устраивает себя, и поэтому твердо решил уехать вместе с семьей на последней машине, которую он так-таки приберег на этот случай.

А старик Земнухов Александр Федорович, сторож треста, по старости своей и болезни вообще не собирался и не мог выехать. Несколько дней тому назад он, как и все служащие, кто не мог выехать, получил тщательный расчет с двухнедельным выходным пособием, то есть все дела с трестом были покончены. Но все эти дни и ночи он, так и волоча свои изуродованные ревматизмом ноги и шаркая ступнями, продолжал Ковалеву паковать, грузить и отправлять имущество треста, потому что старик уже привык относиться к имуществу треста, как к своему имуществу.

Александр Федорович был старый донецкий шахтер, чудесный плотник. Еще молодым парнем, выходящем из Тамбовской губернии, он начал работать на шахты на заработки. И в глубоких недрах донецкой земли, в шахтах с их страшными осьпях и ползунах, немало закрепил выработок его тяжелый топорик, который в руках у него играл, и пел, и поклёвывал золотой петушок. С юных лет работая в вечной сырости, Александр Федорович нажил свирепый ревматизм, вышел на пенсию и стал сторожем треста, и работал сторожем так, как будто он попрежнему был плотником.

— Клавка, собирайся, матери помоги! — взревел Ковалев, тыльной ладонью грязной набрякшей ладони смахивая пот со лба под задранной козырьком кепки. — А, Ваня! — безразлично сказал он, увидев Земнухова. — Видал, что делается? — Он яростно покачал головой, но тут схватился руками за узел, который нес перед собой Александр Федорович, и помог взвалить на машину. — Действительно, можно сказать, что Ваня,— продолжал он, отдышавшись. — Ах, сволочь! — и лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что, как сумасшедшая, весело покатывалась по горизонту. — А ты что же, не едешь, Ваня? Как он у тебя, Александр Федорович?

Александр Федорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за своим узлом: он и боялся за сына и был недоволен им за то, что сын несколько дней тому назад не уехал в Саратов, вдогонку за воронежскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом.

Но Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами и даже тронула за рукав и уже сама хотела что-то сказать отцу. Ваня опередил ее.

— Нет,— сказал он,— я не могу ехать сейчас. Я должен еще дождаться подводу Володе Осьмухину, он лежит после операции апсидицита. Отец Клавы свистнул.

— Достанешь ее! — сказал он одновременно насмешливо и трагически.

А кроме того, я не один,— избегая взгляда Клавы, с вдруг пожелтевшими губами сказал Ваня.— У меня товарищ, Жора Арутюнянц,

тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим.

Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня пошел за руку, темные глаза которой заволоклись туманом.

— Вот как! — сказал Ковалев с полным безразличием к Ване и к Арутюнянцу и к их уговору. — Значит, прощай пока, и вы идите к Ване и вздрогнув от оружейного залпа, прогнал ему свою широкую ладонь.

— Вы на Каменск поедете или на Лихую? — спросил Ваня своим обычным голосом.

— На Каменск?! Немцы вот-вот возьмут Каменск! — взревел Ковалев. — На Лихую, только на Лихую! На Белокалитвенскую, черт знает и — лови нас...

— Дороги так забиты... я еще надеюсь, что мы все равно выйдем на правую на Донце, — сказал Ваня, адресуя эти слова Ковалеву, решительным мужественным жестом закинул распадавшиеся волосы.

— Не дай бог! — сказал Ковалев.

Слова его относились, конечно, к возможности того, что Воробей может не выжить, а не к тому, что Жора Арутюнянец и Ваня догадываются.

Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор.

Они подняли головы и увидели, что это распахнулось окно на первом этаже, в комнате, где помещался плановый отдел. Из окна вывалилась толстая, лысоватая, малиновая головешка, и с потолка буквально ручьями катился пот, — казалось, сейчас начнет капать на людей под окном.

— Да разве ж вы не уехали, товарищ Стеценко? — удивился Ковалев, признав в этой голове начальника отдела.

— Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не было никаких задержек, будь важного, — очень тихо и вежливо, как в театре, сказал Стеценко своим низким голосом.

— Вот-то удача вам, скажи на милость! — сказал Ковалев. — Если бы вы же минут через десяток уехали бы!

— А вы езжайте, я найду, как выбраться, — ответил Стеценко. — Скажи-ка, Ковалев, не знаешь, чья это машина стояла у кабинета?

— Ковалев, его дочь, Ваня Земнухов и работник на машине поехали в сторону газика у здания юбкома.

Женщина в газике мгновенно переменяла поворот, и машина выехала вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дырке.

— Да они вас не возьмут, товарищ Стеценко, своих своей рукой бы хватил! — воскликнул Ковалев.

— А мне и не нужно их милости, — сказал Стеценко и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазами застарелого любителя.

Ковалев вдруг смутился и быстро покосился на Стеценку, на машину.

— Понял ли тот слов Стеценко в каком-нибудь из наших слов? Я, в простоте душевной, полагал, что они все равно все давным-давно учили, а вдруг гляжу — машина, вот я и подумал, что бы это было? — с добродушной улыбкой пояснил Стеценко.

Второе время они еще поглядели на газик.

Выходит, не все уехали,— сказал Ковалев, помрачнев.

Ах, Ковалев, Ковалев! — сказал Стеценко грустным голосом. — Быть таким правоверным — больше чем сам римский папа, — и, перевирая поговорку, которой Ковалев и вовсе не знал.

А ты, товарищ Стеценко, человек небольшой, — хрипло сказал Ковалев, прикрывшись и глядя не вверх, на окно, а на работника на машинке. — Человек небольшой и не понимаю ваши намеки...

Что ж ты на меня-то серчаешь? Я ж тебе ничего такого не говорил. — Счастливого пути, Ковалев! Вряд ли увидимся уже до самого конца, — сказал Стеценко, и окно наверху захлопнулось.

Ковалев невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев вдруг густо побагровел, словно обидели.

Славка, собирайся! — взревел он и пошел, вокруг машины, в треста.

Ковалев действительно был обижен, и был обижен не за себя. Ему было, что человек, не простой рядовой человек, как он, Ковалев, а человек, подобный Стеценко, то есть приближенный к власти, человек, подобный Стеценко, то есть приближенный к власти, хлеба-соли съевший с ее представителями и сказавший им в свое время немало льстивых, витиеватых слов, — этот человек осуждал этих людей, когда они уже не могли заступиться за

женщину, которая решительно ничего не слышала и не видела из того, что происходило в комнате, выходящей из комнаты, и ее миндалевидные глаза, как повернутые магнитом, мгновенно приковались к лицу Землячки.

Землячка так орел, папаша твой! — с насмешливым и счастливым выражением лица сказал Ваня, словно поняв все, что происходило в душе женщины, и фокрутил головой так, что его длинные волосы веером разлетелись во все стороны.

Землячка в газике, вконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием порозовев, сердито смотрела на распахнутую входную дверь и думала о дне обкома.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Землячка закрыла окна и двери, чтобы сквозняком выдуло дым, табачный и запах документов, в одной из комнат обкома сидели не за столом друг против друга, на стульях, два человека и спокойно и мирно разговаривали.

Один из них был работник обкома Иван Федорович Проценко, известный в области в качестве одного из руководителей партизанских отрядов, другой — Матвей Константинович Шульга, старый краснодонский партизан, подпольщик и партизан 1918—1919 годов, оставленный руководителем одной из подпольных групп в Краснодаре.

Иван Федорович Проценко был маленький, складной и ловко сшитый пятидесятилетний мужчина с зачесанными назад, редеющими, с залысинами висках, русыми волосами, с умным, румяным лицом, раньше

какое такое у него может быть окружение. Но худого ; не чув. Той второй адресок, на Шанхае,— и Костневич с поросшим темным волосом пальцем указал на бумажку, к ко держал в руках,— то Фомин Игнат, лично я его не К Краснодони человек новый, но и вы, наверно, слышали стахановец с шахты номер четыре, говорят, человек свой Удобство то, шо вин беспартийный, и, хоть и знатный, какой общественной работы не вел, на собраниях не себе человек незаметный. А остальные — то все люди по кого не знаю.

— Кого ж ты знаешь?— спрашивал Иван Федорович беспокойством, сразу отразившимся в его живых глазах ших умом и весельем.

— Я знаю кой-кого из наших коммунистов, шо оста польной работы,— старика Лютикова, Вдовенко — то доб того коммуниста с почты, но явок у них я дать не могу сами будут десь ховаться.

— А на квартирах этих, что ты мне дал, сам-то ты тывался Проценко.

— У Кондратовича, чи то — Гнатенка Ивана, я бу рскив тому пятнадцать, а у других я николи не був, д мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно вчера прибыл и мне только вчера сказали, что я остаю подбিরали, я думаю, люди ж знали?— не то отвечая, и п сам начиная уже сомневаться, говорил Матвей Кон

— Так-то оно так, да все ж то ни дило,— сказ Разве ж то дило, коли одни люди подполье организуют ются в подполье?— Проценко сам не замечал, как в ычно появилась нота не то наставления, не то выговор Шульга меньше всего был виноват в том, что так получ организовали подполье! — издевался Проценко, и резвая пой шожке как-то особенно быстро и весело стала поскак его спнего глаза в другой.

— Та не я ж организовал, Иван Федорович!

— Про то ж я и кажу, шо не ты! Организовали п пака, а человек отвечай! — сказал Проценко и весело подми и покачал головой.

— Они уже далеко, мабуть уже у Новочеркаска,— виц с тонкой улыбкой на большом, в темных крапинах лиг

И оба они не без юмора и очень дружелюбно пог друга.

Иван Федорович и Матвей Костневич лучше кого знали, что их товарищи уехали только что, уехали потом жиы были уехать и что за это нельзя винить их товари что дело могло бы сложиться так, когда бы им самим, Проценко и Матвею Шульге, пришлось уехать, а вмес бы их товарищи. Но все-таки им доставляла тайное удов что те вот уехали, а они вот остались.

— Ну, та ничего, и не то бывало. Справимся,— прави вич?

справимся,— сказал Матвей Костяевич, и лицо его сразу м выразенном деятельной энергии, которая, несмотря на глаза, и кажущуюся медлительность движений, и очень уж ту в его круглых плечах, составляла главную основу его а вы, Иван Федорович, знаете тех людей, шо вы дали — осторожно и почтительно спросил он.

оценку приняло было отсутствующее и важное выражение, ке не сделал многозначительного кивка головой, но резвая уг скакнула в одном глазу его на одной ножке, скакнула, вдруг пошла скакать с такой резвостью из глаза в глаз, и брызнули смехом. Проценко отмахнулся обеими руками, которых была эта бумажка, и, просто и весело взглянув на , сказал:

е одного человека, тряся их матери!

то, о чем они говорили, чревато было многими опасностями работы и для них лично, оба они очень искренно и весело

ли люди, закаленные в самых трудных условиях жизни: разводить руками на то, что уже случилось и чего нельзя было не в их характере. А смешно им стало потому, что к опытные аппаратные работники знали, как это могло и при всем понимании серьезности положения они смеялись и они сами могли бы в свое время допустить до такого дела.

всему была беспечность.

оский штаб, выделенный еще осенью 1941 года, когда впервые ость оккупации, приступил к организации подпольных групп на случай оккупации области немцами.

был еще далеко от Ворошиловграда, а люди, из которых , перегружены были своей обычной работой по должности или подготовку этих групп другим людям, своим подчиненным проверенным и исполнительным, которые нашли другие им, тоже проверенных и исполнительных людей, и так бы и подготовлена сеть явок и подпольных квартир и парт подпольных групп и партизанских отрядов.

а оккупации все отодвигалась, а успехи зимней кампании породили надежду на то, что и вообще не будет никакой все оставалось в том положении, как оно было. За год из тех, что предполагались на подпольную работу и даже таба, были мобилизованы в армию, другие переброшены юту, третьи эвакуировались, четвертые сами забыли, что т намечены для этой деятельности.

или об этом только теперь, когда вновь возникла угроза а этот раз она возникла так внезапно, что уже емени для того, чтобы наново организовать дело. А и уже накопился большой опыт подпольной работы борьбы в ранее оккупированных немцами областях о применить в своей области.

Иван Федорович партизанский штаб в Донбассе, где он был командиром партизанских отрядов, и он был вынужден покинуть Украину ввиду ухудшения обстановки.

Проценко был видным городским работником и его нельзя было оставить в Ворошиловграде, где он был бы обречен на провал. Поэтому он был оставлен при крупном партизанском отряде в районе станции Митякинской. А Шульга, хотя и был родом из Краснодона, по десятилетиям работал в других районах Донбасса, а после оккупации немцами — в одном из северо-западных районов Ворошиловградской области. Поэтому в самый последний момент нашли, что ему лучше всего остаться руководителем одной из групп краснодонского подполья.

Вот как получилось, что организаторами подполья и партизанской борьбы в области были одни люди, а оставались для фактического ведения борьбы другие люди.

Выяснив эти обстоятельства, Проценко и Шульга обменялись короткими взаимно подбадривающими репликами, что, дескать, «было страшно в том пет», и «езде советские люди», и «не пройдет и три недели, как они пустят корни», после чего Проценко сказал:

— Шо ж, Костиевич...— и встал.

Ему действительно пора уже было ехать.

— Шо ж, Иван Федорович,— сказал Шульга и тоже встал.

И тут оба они почувствовали, что им очень не хочется расставаться.

Не прошло и двух часов, как их товарищи уехали, уехали к своим домам, по своей земле, а они двое остались здесь, они вступили в новую, неизвестную и такую странную, после того как двадцать четыре года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они не видели здесь своих товарищей, товарищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было бы догнать, но они не могли догнать своих товарищей. А они двое за эти несколько часов стали близки друг другу — ближе, чем самые родные люди. И им очень было расстаться.

Они, стоя, долго трясли друг друга за руки.

— Побачим, шо воны за немци, яки воны хозяева та правителю говорил Проценко.

— Вы же себя бережете, Иван Федорович...

— Та я живучий, як трава. Бережись ты, Костиевич.

— А я бессмертный,— улыбнулся Шульга.

Они были растроганы, и им хотелось сказать что-то очень хорошее друг другу, но они ничего не сказали, а обняли друг друга, поцеловались, крикнули и, стараясь не встретиться глазами, вышли к машине.

В лицо им ударило жаркое полуденное солнце, они сожмурились.

— Катя, заждалась? Та вже ж поихалы,— с широкой улыбкой сказал Иван Федорович, отворяя дверцу шоферского сиденья и доставая в ногах ручку, чтобы завести машину.— Знакомься, Костиевич, то жінка моя, учителька,— сказал он с неожиданным самодеятельством.

— А, будем знакомы,— добродушно улыбнулся Шульга и протянул плотную энергичную руку женщины, которую она подала ему в отверстие в дверце кабины.

— А ваша жена?— с улыбкой спросила жена Проценко.

— Та мои ж уся...— начал было Шульга.

— Ах, простите... простите меня — вдруг сказала жена Проценко быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони было, как все лицо ее залилось краской.

Ее семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами. Мария Шульги не успела выехать, потому что немцы вторглись слишком быстро, а семья дожидалась своего Костневича, который в это время в дальних станциях сбивал гурты скота для угона на восток. И так и не успел вывезти свою семью.

Семья у него была очень простая, как и он сам. В свое время, когда и работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костневича, и двое ребят — девочка-школьница и семилетний сын, не пожелали уехать, и сам Матвей Костневич не настаивал на том, чтобы она уехала. А он был еще молодым и партизанил в этих местах, его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, теперь командир Красной Армии, родился как раз в это время. И им, по старой памяти, казалось, семьи в трудную пору жизни не должны разлучаться, а должны не все тяготы вместе, — так они воспитывали и детей своих. Теперь Шульга чувствовал себя виноватым в том, что его семья осталась в руках немцев.

— Простите меня, — снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку и сочувственно и виновато посмотрела на Костневича.

Проценко долго и энергично крутил ручкой. Газик весь встряхивало, мотор не заводился.

— Костневич, залазь в машину, дай мне газу, — смущенно сказал Проценко.

Шульга «дал газу», машина завелась.

— От скаженной! — Проценко тыльной стороной ладони смахнул со лба и швырнул ручку в ноги шоферского сиденья.

Они еще раз простились, крепко обняв и поцеловав друг друга.

— Прощайте, — сказала и жена Проценко. Она не улыбнулась, сказала это как-то даже торжественно, и слезы выступили на ее щеках.

— Счастливо! — грустно сказал Шульга.

Газик рывками, будто уросливый конек, стреляя выхлопной трубой, сбрасывая струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом остановился. Проценко еще высунул руку в оконце и поболтал ею в последний раз на прощанье.

Шульга остался один на улице, под жарким солнцем.

Он увидел нагруженную машину напротив через улицу, работника машины и юношу и девушку, прощавшихся возле машины, и некоторое время рассеянно смотрел на них.

— И понимаешь, входит этот Толя Орлов, знаешь его? — глуховато баском говорил Ваня Земнухов.

— Не знаю, он, наверно, из школы Воронцова, — беззвучно ответил Шульга.

— Одним словом, он ко мне: «Товарищ Земнухов, здесь через столько домов от вас живет Володя Осьмухин, очень активный комсомолец, недавно перенес операцию аппендицита и его рано привезли домой, у него открылся шов и загнойлся, не можете ли вы ему достать лекарство?». Понимаешь мое положение? Я этого Володю Осьмухина пре-

красно знаю — золото, а не парень! Понимаешь мое? Я говорю, — иди к Володе, я сейчас зайду тут в од постарюсь достать что-нибудь и зайду к вам». А са: Теперь ты понимаешь, почему я не могу поехать с говорил он, стараясь заглянуть в ее глаза, все болы слезами. — Но мы с Жорой Арутюнянцем... — снова

— Ваня, — сказала она, вдруг приблизившись к и сбдав его теплым молочным дыханием, — Ваня, я так горжусь тобой, я... — Она испустила стон, сс а какой-то низкий, бабий, и с этим стоном, забыв о свободным, тоже не девичьим, а бабьим движением с своими большими, полными, прохладными руками и ст к его губам.

«От бисовы дети!» — не то с изумлением, не то с : на другой стороне улицы Матвей Шульга, только тепе в том, что перед ним происходит.

Девушка оторвалась от Вани и убежала в калить немного, потом повернулся и, размахивая длинными ру лицо и растрепавшиеся волосы, которых он уже не по быстро пошел по улице в сторону от парка.

То вдохновение, которое, как угли под пеплом, те его, теперь, как пламя, освещало необыкновенное лицо (и никто из людей не видели его лицо теперь, когда прекрасным, потому что Ваня один шел по улице, раз Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, п люди, шли отступающие войска, слышались раскаты ор, моторы грозно ревели в небе, дым и пыль стояли в в немилосердно калило, но для Вани Земнухова не существ чего, кроме этих полных, прохладных, нежных рук на е терпкого, страстного, смоченного слезами поцелуя на г

Все, что происходило вокруг него, все это уже не потому что не было уже ничего невозможного для не: эвакуировать не только Володю Осьмухина, а весь город — детьми и стариками, со всем их имуществом.

«Я горжусь тобой, я так горжусь тобой», — говорит бархатным голосом, и больше он уже ни о чем не мог дум: девятнадцать лет.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Никто не мог сказать, как сложится жизнь при н всякий случай надо было иметь официальное положение ценко выдал Матвею Шульге еще вчера паспорт и тру на имя рабочего ворошиловградского паровозостроительной кима Остапчука. Вчера же ночью старик Лютиков, работа щим механическим цехом треста «Краснодонуголь» и той для подпольной работы, задним числом зачислил Евдок слесарем механического цеха. Получилось совершенно ест тал на заводе в Ворошиловграде; начались бои — перееха и поступил в механический цех.

Собственно говоря, надо было бы сейчас скромненько спрятаться одной из квартир, указанных ему,—лучше всего на квартире на Гнатенко, или Кондратовича, как его запросто звали, старого тизана, его товарища. Но Шульга не видел Кондратовича пятнадцать лет и почувствовал, что ему очень и очень не хочется именно ситти к Ивану Гнатенко.

Ему нужен был сейчас человек очень близкий. И Матвей Костиевич вспоминает, кто же есть в Краснодоне из тех, с кем он особенно близок во время того подполья, в 1918—1919 годах.

Самым близким ему человеком был здешний уроженец, большевик 917 года, Леонид Рыбалов. Вместе они были в подпольи при немцах елых, вместе создавали советскую власть. Матвей Шульга был тогда вторым человеком, а имя Рыбалова гремело в области. Потом пришли тяжелые времена, разворачивалось хозяйство, а Рыбалов больше умел «идти контору» и говорить речи, и жизнь все отодвигала его в сторону, как раз Шульга пошел в гору. И как-то так случилось, что дружба сама собой распалась, а потом Леонид Рыбалов и вовсе был переименован из Донбасса на работу в инвалидной кооперации.

Но тут Матвей Костиевич вспомнил сестру Леонида Рыбалова, Лизу, и на большом лице его с вьевшимися на всю жизнь крапшинами выступила детская улыбка. Он вспомнил Лизу Рыбалову, какой была в те годы, стройная, светловолосая, бесстрашная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая, вспомнил, как она носила ему еду и шкуру, брату ее, еду на Сеняки и как она смеялась, сверкая белыми зубами, когда Шульга все шутил, что жалко, мол, у меня жника, а ты же за тобой присватал. И она ж хорошо знала жену его!

Тет десять — двенадцать тому назад он как-то встретил ее на улице один раз, кажется, на каком-то женском собрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сразу же после гражданской войны вышла замуж за какого-то Осьмухина. Этот Осьмухин служил потом в тресте. Он же был в жилищной комиссии, когда им давали квартиры в стандартном доме где-то на той улице, что идет к шахте № 5. Он все вспоминал Лизу такой, какой он знал ее в дни молодости, когда от него с такой силой нахлынули воспоминания тех молодых дней, когда он снова почувствовал себя молодым, и все, что предстояло ему в будущем, вдруг тоже представилось ему как бы освещенным светом его молодости. «Она не могла измениться,— думал он,— муж ее, Осьмухин, вроде свой был человек... А, куда ни шло, задери его чорт, зайду и я к Лизе Рыбаловой! Может, они не уехали, может, сама судьба ведет их до них. А может, она уже одна живет?» — с волнением думал он, направляясь к поезду.

Да десять лет, что он тут не был, весь этот район застроился каменными домами, и теперь уже трудно было разобраться, в каком из них надо жить Осьмухины. Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Наконец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты № 5, видневшейся далеко в степи, и когда он пошел улицей, глядевшей прямо на шахту, он сразу нашел домик Осьмухиных.

На окнах с цветами на подоконниках были распахнуты,— ему почувствовалось молодые голоса в комнатах, и сердце его забилося, как в моло-

дости, когда он постучал в дверь. Наверно, его не ель постучал еще раз. За дверью послышались шаги в мяг

Перед ним стояла Лиза Рыбалова, Елизавета Алексеевн в них туфлях, с лицом одновременно и злым и полным гешн, шими, красными от слез глазами. «Эге, как потрепала мгновенно подумал Шульга.

Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости резкое выражение не то раздражения, не то злости, но Матвей знал, как она на самом деле была добра. Она попрежнему была и в светлых ее волосах не было седины, но продольные морщины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее, она была как-то неряшливо,—раньше она никогда не до

Она недружелюбно и вопросительно смотрела на незна века, который стоял на крыльце ее дома. И вдруг выражен и словно отдаленной радости, возникшей где-то за стоящими слезами, появилось в лице ее.

— Матвей Константинович... Товарищ Шульга! — сказала ее, державшая скобу двери, беспомощно упала.— Каким занесло? В такое время!

— Трошки извини, Лиза, чи Лизавета Алексеевна, и прикажешь звать... Еду вот на восток, эвакуируюсь, забежал

— То-то, что на восток — все, все на восток! А м наши?— вдруг сразу возбужденно заговорила она, нервными быстро поправляя волосы на голове, глядя на него не то очень замученными глазами.— Вы вот едете на восток, товар а сын мой лежит после операции, а вы вот едете на восток!— она, точно именно Матвей Костиевич не раз был ею предупре что так может быть, и вот именно так и случилось, и он б в этом.

— Извините, не сердчайте,— сказал Матвей Костиевич койно и примирительно, хотя в душе его внезапной грустью какая-то топенькая-тоненькая струна. «Вот ты какая оказа Рыбалова,— отозвалась эта струна,— вот как ты встретила м моя Лиза!»

Но он многое видел в своей жизни и владел собой.

— Скажите толком, что у вас приключилось такое?

Он тоже перешел на вы.

— Да уж и вы извините,— сказала она все в той манере. Тень давнишнего доброго отношения снова появил ее.— Заходите... Только у нас такое идет!— Она махнула на ее красных подпухших глазах снова выступили слезы.

Она отступила, приглашая его пройти. Он вслед за не полутемную переднюю. И сразу в распахнутую дверь, в зал цем комнате направо, увидел трех или четырех парубков стоявших возле кровати, на которой полулежал на подушке выше пояса простыней, подросток-юноша с когда-то сильно з теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой май ным воротничком.

в одном из парубков, в кепке и с вещевым мешком за плечами, Шульга по одежде и каким-то запавшим в памяти движениям признал самого парубка, что целовался с девушкой возле машины.

— Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите,— Елизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив.

Комната была с теневой стороны дома, в ней было темновато и прохладно.

— Так здравствуйте ж поперву,— сказал Матвей Костиевич, сняв кепку и обнажая крупную, стриженную под машинку, иссера-черс пробрызнувшей кое-где сединой голову, и протянул руку.— Неправильно уже вас и называть — Лиза, чи Елизавета Алексеевна?

— Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь и величания не требую, а только какая уж я Лиза? Была Лиза, а теперь...— Она махнула рукой и замученно и виновато, и в то же время как-то женственно, взглянула на Матвея Костиевича своими подпухшими глазами.

— Для меня ты всегда будешь Лиза, бо я уже еам старый,— улыбнулся Шульга, садясь на стул.

Комната была на села напротив него.

— А коли я уже старый, извини, начну прямо с замечания тебе,— той же улыбкой, но очень серьезно продолжал Шульга.— На то, что еду на восток и другие наши люди едут на восток, на то ты ответственна не должна. Сроку нам немец проклятый не отпустил. Когда-то ты была своя жинка, значит, могу тебе сказать, что он, тот немец ятый, ударил с Миллерова на Морозовскую — значит, целит на восток; значит, вышел нам в глубокий тыл...

— А нам с этого разве легче? — с тоской сказала она.— Вы ж едете, остаетесь...

— Кто же в том виноват?— сказал он, помрачнев.— Мы семьи, как ваша,— сказал он, вспомнив свою семью,— с начала войны сами вывозили на восток, и помощь давали, и транспорт. Малою скажем — мы тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывели на Урал, Сибирь. Чего ж вы в свое время не ехали? — спросил Матвей Костиевич, о все более возникавшем в нем горьким чувством.

Елизавета молчала, и в том, как она сидела, неподвижно, прямо, точно ушиваясь к тому, что происходило в другой комнате, через переднюю дверь, чувствовалось, что она плохо слушает его. И сам он невольно прислушиваться к тому, что происходит в той комнате.

Туда доносились только редкие тихие звуки голосов, и нельзя было сказать, что там происходит.

Елизавета Земнухов, при всей его настойчивости и хладнокровии, которую товарищей его вошли даже в поговорку, так и не нашел подвала места в машине для Володи Осьмухина. Он вышел на дорогу, и впереди катился главный поток отступающих войск на Новочеркасск — но ни одна из машин не остановилась, какие бы знаки ни подавали. Глубоко штатский долговязый парень с растрепанными волосами, в потертых брюках и тапочках на босу ногу. А ездовые в конных даже разговаривать с ним не хотели. Да он и понимал, что у него ни права, ни оснований покинуть колонну, чтобы взять в голову обузу себе никому не известного большого парнишку.

Ваня застал дома истомившегося от ожидания Жору. Отец тоже был уже дома, и по этому признаку Ваня понял, что валева уехали.

Жора Арутюнянц был сильно вытянувшийся в длину, на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы, а теперь загоревший семнадцатилетний юноша, с красивыми, в загнутых армянскими черными глазами и полными губами. Он смахивал

Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти недели, и оба они были страстные книгочеи.

Ваню Земнухова даже называли в школе профессором, хотя у него только один парадный, серый в коричневую полоску, костюм, а он надевал в торжественных случаях жизни и который, как и носил Ваня, был ему уже коротковат. Но когда он поддевал под белую с отложным воротничком сорочку, повязывал коричневый стук, надевал свои в черной роговой оправе очки и появлялся в коридоре школы с карманами, полными газет, и с книгой, которую в согнутой руке, рассеянно похлопывая себя ею по плечу, шел в сторону вразвалку, неизменно спокойный, молчаливый, с этим скучноватым поведением, которое таким ровным и ясным светом горело в его глазах, брасывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет, — тогда и особенно ученики младших классов, его питомцы-пионеры, с почтением уступали ему дорогу, как будто он и в самом деле профессором.

А у Жоры Арутюнянца даже была заведена специальная тетрадь, куда он заносил фамилию автора, название интересной танной книги и краткую ее оценку. Например:

Н. Островский. Как закалялась сталь. Вот здорово.

А. Блок. Стихи о прекрасной даме. Много туманных стихов.

Л. Толстой. Хаджи-Мурат. Хорошо показана освобожденная Армения и борьба горцев.

С. Голубов. Солдатская слава. Недостаточно показана героическая борьба горцев.

Байрон. Чайльд-Гарольд. Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать.

В. Маяковский. Хорошо. (Нет никакой оценки.)

А. Толстой. Петр первый. Здорово. Показано, что Петр — агрессивный человек.

И многое другое можно было прочесть в этой его тетрадке. Жора Арутюнянц вообще был очень аккуратен, настойчив в своих убеждениях и во всем любил порядок и чистоту.

Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клубов, домов, они, ни на минуту не умолкая, с жаром говорили о литературе, о стихотворении «Жди меня», о северном морском пути, о книге «Большая жизнь», об открытиях академика Лысенко, о нерешенном вопросе о передвижении, о правительстве Сикорского, о поэте Шварцмане, о дикторе Левитане, о Рузвельте и Черчилле и разошлись в своем вопросе: Жора Арутюнянц считал, что гораздо полезнее читать книги, чем гонять по парку за девочками, а Ваня Земнухов, хотя он лично все-таки гонял бы, если бы не был так близок к девочкам.

Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой

крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, который щип момент, однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу горячечными губами,— Жора убеждал Ваню, что, если он не доведы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня то он дал слово Толе Орлову, и надо зайти и объяснить все.

вскинули за плечи вещевые мешки, Ваня взглянул в последний вой любимый угол у изголовья кровати, где висел литографированный портрет Пушкина работы художника Карпова, изданный украинским издательством в Харькове, и стояла этажерка с книгами, среди которых главное место занимало собрание сочинений Пушкина и маленькие поэты пушкинской поры, изданные «Советским писателем» в Ленинграде,— Ваня взглянул на все это, преувеличенно резким движением отодвинул на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину.

Ваня, в белой майке, покрытый до пояса простынею, полулежал на кровати. На кровати его лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал,— «Релейная защита».

Ваня сидел у окна, за кроватью, кое-как свалены были, чтобы не мешали в комнату, всевозможные инструменты, мотки провода, самодельный аппарат, части радиоприемника,— Володя Осьмухин увлекался радиоделом и мечтал быть инженером-авиаконструктором.

Орлов, по прозвищу «Гром гремит», лучший друг Володи и сирота, сидел на табуретке возле кровати. «Гром гремит» его звали за то, что он вечно, и зимой и летом, был простужен и глух как в бочку. Он сидел, сутулившись и широко расставив колени. Все его суставы и сочленения в локтях, кистях, коленях, стопах были неестественно развиты, мосластые. Густые серые вихры во все стороны на крупной голове его. Выражение глаз у него было жесткое.

— Не надо одишать, значит, никак не можешь?— спрашивал Земнухов Володю. — Не уда же ходить, доктор сказал — шов разоидется, кишки выварачивать, мрачно сказал Володя.

— Ты был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а еще и потому, что из-за него оставались мать и сестра.

— Ну, покажи шов,— сказал распорядительный Жора Арутюнянц. — Не боишься вы, он же у него забинтован!— испугалась сестра Володи или Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись о спинку кровати.

— Не беспокойтесь, все будет в совершенном порядке,— с вежливой и приятной армянским акцентом, придававшим его словам большую значительность, сказал Жора.— Я прошел сам всю школу перчаточной и великолепно разбинтую и забинтую...

— Не гигиенично!— протестовала Люся.

— Самая лучшая военная медицина, которой приходится работать в настоящих полевых условиях, доказала, что это предрассудки,— безжалостно сказал Жора.

— Не надо вы о чем-нибудь другом вычитали,— сказала Люся надменно. — В мгновение она уже с некоторым интересом посмотрела на этого армянского мальчика.

— Не бойсь ты, Люська! Ну, я понимаю еще — мама, она человек нервный, что вмешиваешься не в свои дела! Уходи, Уходи! — сердито

говорил Володя сестре и, откинув простыню, открыл свои горелые и мускулистые худые ноги, что никакая болезнь больницы не могли истребить этот загар и эти развитые м.

Люся отвернулась.

Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора п синие трусы и разбинтовал его. Шов гноился и был в о состоянии, и Володя, делая усилия, чтобы не морщиться сильно побледнел.

— Дрянь дело. Да? — сказал Жора морщась.

— Дела не важнец, — согласился Ваня.

Они молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие кор которого, всегда светившиеся удалью и хитрецей, теперь искавюще ловили взгляды товарищей, снова забинтовали

Теперь им предстояло самое трудное: они должны б товарища, зная о том, что ему угрожает.

— Де же чоловік твой, Лиза? — спрашивал в это в Костинович, чтобы перевести разговор.

— Умер, — жестко сказала Елизавета Алексеевна. — В и как раз перед войной умер. Он все болел и умер, — песк вторила она с злым, как показалось Шульге, укором. — Ах, стантинович! — сказала она с мукою в голосе. — Вы тепер из людей власти, а если б вы знали, как тяжело нам сей людям! Ведь вы же власть наша, для простых людей, ведь из каких вы людей, — таких же, как и мы. Я помню, как мы боролись за нашу жизнь, и я вас ни в чем не виню, я вам, таким людям, остаться на погибель, но неужто ж вы и вместе с вами, все побросав, бежит всякая сволочь, мебель с целые грузовики барахла и нет им никакого дела до нас, пр обывателей, как вы говорите, а ведь мы, маленькие люди, все своими руками. Ах, Матвей Константинович! И неужто ж в что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем з люди? — воскликнула она с искривившимися от муки губами. — удивляетесь, что и среди нас, простых людей, находятся таки ропщут. А я удивляюсь, как еще терпеливы мы, простые люд раз в жизни пережить такое, ведь во всем, во всем разувер

Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением вспоминал этот момент их разговора. Самое непоправимое б он в глубине души понимал, какие чувства владели этой я в душе его, широкой и сильной, были настоящие слова д тот момент, когда она так говорила с прорвавшейся в ней м ему казалось, злобой, ее слова и весь ее облик так противо ставлению о той Лизе, которую он знал в дни молодости, его несоответствием тому, что он ожидал! И оскорбительно казалось ему, что, когда он сам оставался здесь, а вся се была в руках немцев, может быть, уже погибла, она, эта же рила только о себе, даже не спросила о его семье, о жеи она была дружна в молодости. И с губ Шульги вдруг то слова, о которых он вспоминал потом с сожалением.

— Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, в мыслях

он холодно, — далеко! Оно удобно, конечно, разувериться в своей
исти, когда немецкая власть на пороге. Чуете? — сказал он, грозно
няв руку с коротким, поросшим волосом пальцем, и раскаты дальней
иллерийской стрельбы точно ворвались в комнату. — А думали вы,
лько там гибнет лучшего цвету народа нашего, тех, что из простых
дей поднялись до власти, як вы кажете, а я скажу — поднялись до со-
ния, шо воны цвет народа, коммунисты! И коли вы разуверились в
людях, разуверились в такой час, когда нас немец топчет, мне на то
дно. Обидно и жалко вас, жалко, — грозно повторил он, и губы его
рожали, как у ребенка.

— Да вы что это?... Что это?.. Вы.. вы хотите обвинить меня, что
емцев жду? — захопнувшись и еще больше распаясь от того, что
ее так понял, резко вскричала Елизавета Алексеевна. — Ах, вы...
сын мой?.. Я мать!.. А вы...

— А разве вы забыли, Елизавета Алексеевна, когда мы с вами были
остые рабочие люди, як вы кажете, и вставала нам опасность от нем-
в, от белых, разве мы поперву о себе думали? — не слушая ее, гово-
л Матвей Костиевич с горьким чувством. — Нет, мы поперву не о
бе думали, а думали о лучших наших людях — вожаках, вот о ком мы
мали! Вспомните-ка брата вашего? Вот как всегда думали и посту-
ли мы, рабочие люди! Спрятать, дать уйти, схорониться вожакам на-
ам, лучшим людям, цвету нашему, а самим стать грудью, себя под-
авить, — вот как всегда думал и думает рабочий человек, и думать
аче считает позором! Неужто ж вы так изменились с той поры, Ели-
вета Алексеевна?

— Обождите! — вдруг сказала она и вся выпрямилась, прислуши-
ясь к тому, что происходило в другой комнате через переднюю.

И Шульга тоже прислушался.

В соседней комнате наступила тишина, и эта тишина подсказала ма-
ри, что там что-то происходит. Она, мгновенно забыв о Матвее Костие-
иче, резко рванулась в дверь и прошла к сыну. Матвей Костиевич,
едовольный собой, хмуро сминая в больших, поросших темным волосом
уках кепку, вышел в переднюю.

Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, прощался с това-
ищами, долго, молча пожимая им руки, взволнованно и нервически по-
ергивая шеей и темной, стриженной под машинку, уже несколько об-
осшей головой. Как это ни странно было в его положении, на лице у
его было выражение радостного подъема, темные узкие глаза его бле-
гели. Один из его товарищей, вихрастый, неуклюжий, мосластый, стоял у
го изголовья и, отвернувшись так, что лицо его видно было только в
рофиль, с просветленным выражением, расширенными глазами смотрел в
олнечное распахнутое окно.

А девушка попрежнему стояла у больного в ногах и улыбалась.
! у Матвея Костиевича вдруг больно сжалось сердце, когда в этой де-
ушке он узнал прежнюю Лизу Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он
е знал более двадцати лет назад, только более смягченная, чем та работ-
ница Лиза с большеватыми руками и резкими движениями, которую он
нал и любил.

«Да, треба итти», — с грустью подумал он, сминая в руках кепку, и
человко переступил по скрипящим половицам.

— Уходите?— громко спросила Елизавета Алексеевна, к нему.

— Як кажут, ничего не попишешь, пора уже ехать. Не с он надел кепку.

— Уже?— повторила она. Не то горькое чувство, не то прозвучало в этом ее вопросе-восклицании, а может быть, казалось.— Не сердчайте вы... Дай же вам бог, коли он ест добраться, не забывайте нас, помните о нас,— говорила она, опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало что к горлу его вдруг подкатил комок.

— Прощайте,— хмуро сказал Матвей Костиевич и вышел.

Ах, напрасно, напрасно ушел ты, товарищ Шульга! Он покинул Елизавету Алексеевну и эту девушку, которая так прежнюю Лизу Рыбалову, напрасно не вдумался, не почувств что произошло на твоих глазах между этими юношами, даже совался тем, кто они, эти юноши!

Если бы Матвей Костиевич не поступил так, может бы жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог г он был даже чем-то обижен и оскорблен. И ему ничего уж лось, как идти в дальний район, который в старину называ никами, разыскивать домик своего товарища по старому и Ивана Гнатенко, или запросто Кондратовича, у которого пятнадцать лет. Мог ли он думать, что в этот момент он шаг по тому пути, который привел его к гибели?

А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, за Елизаветой Алексеевной вышел в переднюю,— вот что в комнате, где лежал сын Елизаветы Алексеевны.

Там стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с та Орлов, тот самый Толя Орлов, которого все время сотряса глухого кашля оттого, что он всегда был плохо одет и прос лась у него в костях, за что и прозвали его «Гром». Он поднялся с табурета и сказал, что если уж его лучший друг может уехать, то он, Толя Орлов, останется с ним.

В первое мгновение все растерялись. Потом Володя пр стал целовать Толю Орлова, и всеми овладело радостное гов Люся, та бросилась «Грому гремит» на шею, стала целовать в глаза, в нос,— он не знал минуты, счастливее этой. Потом Люс посмотрела на Жору Арутюнянца. Ей очень хотелось, чтоб ратный юноша-негр тоже остался.

— Вот здорово! Вот это товарищи! Вот это молодец, довольным глуховатым баском говорил Ваня Земнухов.— И тобой!— вдруг сказал он.— Я и вот Жора Арутюнянец, мы с тобой,— поправился он.

И он пожал Толе руку, и Жора тоже пожал Толе ру

— Да разве мы будем просто так жить?— с блестя говорил Володя.— Мы будем бороться, правда, Толя? И не чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для п боты. Мы их найдем! Разве мы не сможем быть полезны?

Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц, простившись с Володей Осьмым, влились в поток беженцев, катившийся вдоль железной дороги ихую.

Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении,— там дядя его работал сапожником при цехе. Но Ваня, которому Жора подчинялся как старшему товарищу, узнав, что Ковалевы едут на Лихую, в последнюю минуту предложил этот новый маршрут, очень туманно сформулировав его преимущества. И Жора, которому было решительно все равно, куда ни идти, с готовностью изменил свой довольно ясный маршрут на туманный маршрут Земнухова.

На одном из этапов пути к ним присоединился маленький, кривоногий, с донельзя усатый майор в сильно помятой гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны груди, в сухих покоробленных сапогах. Военная форма, особенно сапоги, находились в таком горестном состоянии оттого, что, как он пояснил, она в течение пяти месяцев, пока он лечивался от ран, валялась, «чорт знает где», то есть в госпитальной палате.

В последнее время госпиталь занимал одно из отделений краснодонской районной больницы и теперь эвакуировался, но за недостатком транспорта никто не мог ходить, предложено было идти пешком, и еще около ста раненых осталось в Краснодоне без всякой надежды выбраться. Кроме этого пространного объяснения судьбы своей и своего госпиталя, майор во весь остальной путь не произнес ни слова. Он был до конца молчалив, он молчал упорно и совершенно безнадежно. Кроме того майор хромал. Но, несмотря на свою хромоту, он довольно ретиво шел в своих покоробленных сапогах, не отставая от ребят, и вскоре заслужил такое уважение к себе, что ребята, о чем бы ни говорили, обращались к нему, как к молчаливому авторитету.

В это время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только мужчин, а мужчин с оружием в руках, страдало и мучилось в этом немом потоке отступления, Ваня и Жора, с вещевыми мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по дороге полные бодрости и радужных надежд.

Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были солдаты, одиночки, не знали, где находится враг и где свои, не верили в спасение, и весь свет с этой необъятной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей стоявшей в районе дорог, которые то здесь бомбил и обстреливал немец,— весь свет казался им отлитым на все четыре стороны.

Они говорили о вещах, которые не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг.

Почему же ты считаешь, что быть юристом не интересно в наши дни? — спрашивал Ваня своим глуховатым баском.

Потому что, пока идет война, надо быть военным, а когда война кончится, надо быть инженером, чтобы восстанавливать хозяйство, а не юристом — это сейчас не главное, — говорил Жора с той четкостью и

определенностью суждений, которая была ему свойственна с семинадцати лет.

— Да, конечно, пока идет война, я хотел бы быть военным, военными меня не берут — по глазам. Когда ты отходишь от войны, я вижу тебя как что-то неопределенно-долговязое и чем-то неопределенно-сказал Ваня. — А инженером быть, конечно, очень по моему характеру, в склонности, а у меня склонность, как ты знаешь, к инженерному делу.

— Тогда тебе нужно идти на литературный вуз, — сказал Ваня. — Четко определил Жора и посмотрел на майора как на человека, который единственный может понимать, насколько он, Жора, прилагательное как не отозвался на его слова.

— А вот этого я как раз и не хочу, — сказал Ваня. — Тютчев не проходили литературного вуза, да тогда и не было вообще научиться стать поэтом в учебном заведении и в университете.

— Всему можно научиться, — отвечал Жора.

— Нет, учиться на поэта в учебном заведении — это невозможно. Каждый человек должен учиться и начинать жить с обычными делами, а если у него от природы есть талант поэтический, то он развивается путем самостоятельного развития, и только тогда можно стать писателем по профессии. Например, Тютчев был поэтом, а не инженером, Чехов — доктором, Толстой — помещиком, а не инженером.

— Удобная профессия! — сказал Жора, лукаво взглянув на Ваню своими черными армянскими глазами.

Оба они засмеялись, и майор тоже улыбнулся в усы.

— А юристом кто-нибудь был? — деловито спросил Ваня.

В конце концов, если кто-нибудь из писателей был юристом, то вполне устранило его и в отношении Вани.

— Этого я не знаю, но юридическое образование дает знания в науках, необходимых писателю, — в области философии, истории, права, литературы...

— Положим, эти дисциплины, — сказал Жора не без некоторого шегольства, — эти дисциплины лучше пройти в педвузе.

— Но я не хотел бы быть педагогом, хотя вы там и профессором...

— Все-таки глупо, например, быть защитником на суде, — сказал Жора, — например, помнишь, на процессе этих сволочей? Вот глупое положение у защитника, а? — И Жора опять показав ослепительно белые зубы.

— Ну, защитником у нас, конечно, неинтересно, у нас суд не следователем, я думаю, очень интересно, можно очень много людей узнать.

— Лучше всего — обвинителем, — сказал Жора. — Помнишь, как это было? Здорово! Но все-таки я бы лично не стал юристом.

— Ленин был юристом, — сказал Ваня.

— То другое время было.

— Я бы еще с тобой поспорил, если бы мне не было ясно, что по отношению к этой теме — кем быть — спорить просто бесполезно и глупо, — сказал Ваня с улыбкой. — Надо быть человеком образованным, знающим свое дело, трудолюбивым, а если у тебя к тому же есть талант писателя, то он себя проявит.

Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал твои стихи и азете, и в журнале «Парус», который вы выпускали с Кошевым. Ты читал этот журнал?— живо переспросил Ваня.

Да, я читал этот журнал,— торжественно сказал Жора,— я читал школьный «Крокодил», я следил за всем, что издается в нашей — сказал он самодовольно,— и я тебе определенно скажу: у тебя лант!

Уж и талант,— смущенно покосившись на майора, сказал Ваня — головы закинул свои рассыпавшиеся длинные волосы.— Пока с, кропаем стишки... Пушкин — вот это да, это мой бог!

Нет, ты здорово, помню, Ленку Позднышеву продернул, что она зеркала кривляется... Ха-ха!.. Очень здорово, ей-богу! — с сильно вшимся армянским акцентом воскликнул Жора.— Как, как это? стный ротик открывала...» Ха-ха...

Ну, ерунда какая,— смущенно и глуховато басил Ваня.

Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а?— таинственно сказал — Слушай, прочти что-нибудь любовное, да?— И Жора подмиг-люру.

Какие там любовные, что ты, право! — окончательно смутился

чего были любовные стихи, посвященные Клаве и озаглавленные, как у Пушкина: «К...». Именно так — большое «К» и многоточие. снова вспомнил все, что произошло между ним и Клавой, и все свои. Он был счастлив! Да, он был счастлив среди всеобщего гья. Но разве он мог поделиться этим с Жорой?

Нет, наверно, у тебя есть. Слушай, прочти, ей-богу,— сверкая шескими армянскими глазами, упрасивал Жора.

Брось глупости говорить...

Неужели, правда, не пишешь? — Жора вдруг стал серьезным, тосе его появилась прежняя учительская нотка.— Правильно, что ешь. Разве сейчас время писать любовные стихи, как этот Симонов, гда надо воспитывать народ в духе непримиримой несправости к ! Надо писать политические стихи! Маяковский, Сурков, да? Здо-

Не в этом дело, писать можно обо всем,— раздумчиво сказал Если мы родились на свет и живем жизнью, о которой, может печтали целые поколения лучших людей и боролись за нее, мы имеем право писать обо всем, чем мы живем, это все важно и римо.

Ну, ей-богу, прочти что-нибудь! — взмолился Жора.

Вносимая духота стояла в воздухе; они шли, то смеясь и вскри-то переходя на тон интимно-доверительный; шли и жестикулиро-лины под вещевыми мешками были у них совсем мокрыми; пыль на лицах, и, отирая пот, они размазывали ее по лицу, и оба они, ий, как негр, Жора, и Ваня, с длинным лицом с бледным загаром, усатый майор походили на трубочистов. Но весь мир в эту ми-л для них — и они несколько не сомневались в том, что и для — сосредоточен на том, о чем они говорили.

— Ну, что ж, я прочту...

И Ваня, не волнуясь, спокойным глуховатым голосом прочитал стихи:

Нет, нам не скучно и не грустно,
Нас не тревожит жизни путь,
Измен неизвестные чувства
Нет, не волнуют нашу грудь.

Бегут мятежной чередою
Счастливой юности лета,
Мечты игривою толпою
Собой наполнили сердца.

Нам чуждо к жизни отвращенье,
Чужда холодная тоска,
Бесплодной юности сомненья
И внутренняя пустота.

Нас радости прельщают мира,
И без боязни мы вперед
Взор устремляем, где вершина
Коммуны будущей зовет.

— Здорово! У тебя определенный талант! — воскликнул Жора, креним восхищением глядя на старшего товарища.

В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Жора обернулся к нему.

— Вы ребята... вы даже не знаете, какие вы ребята! — сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под густыми бровями влажными глазами. — Не-ет! Такое государство не будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кулаком в пространство коротким черным пальцем. — Он думает, он... — Жора прекратил! — с издевкой в голосе продолжал майор. — Нет, брат, только лишь! Жизнь идет, и наши ребятки думают о тебе, как о чуме, о холере. Пришел — и уйдешь, а жизнь своим чередом — училась жить! А он-то думал! — издевался майор. — Наша-то жизнь на что? кто? Прыщ на гладком месте, — сковырнул, и нет его!.. Ничего! На проклятом госпитале сам было пал духом, — неужто ж, думаю, силы нет, а как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное отсутствие души... Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разбежались. Отступаем — верно. Так ведь он какой кулак собрал! Но подумай, какая сила духа! Ах, боже мой! Да это счастье — стоять на месте, не отступать, жизнь отдать, — поверьте совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать, отдать жизнь за таких ребят, как вы! — с волнением, трясавшим его легкое сухое тело, говорил майор.

Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением взглядов трели на него.

Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком, и так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с энергией и яростью кинулся «рассасывать», как он выразился, скую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза, и Ваня и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него.

До Лихой они добирались двое суток. К тому времени было известно, что Каменск занят немцами, на юге бои идут под Н

ском, а по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части. Но, по слухам, переправа через Донец у Белокалитвенской была в наших руках и еще можно было по степным проселкам свободно выйти на Дон и переправиться через него.

В последнюю ночь, измученные несколькими днями пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то уторе, на сеновале. Их разбудили гулкие бомбовые удары, от которых рожала пуныка.

Солнце еще невысоко стояло над степью, но уже по всему необъятному пространству хлеб переливалось знойное, голубовато-золотистое море, когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, одеял и подвод, раскинувшегося по эту сторону Донца, немного ниже обширной станицы-города, на той стороне реки, с зелеными садами, белыми хатами и каменными зданиями правительственных и торговых учреждений и школ, многие из которых были превращены в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились.

Весь этот гигантский табор, текучий по своему составу, но имевший своих старожилов, весь этот табор, пополняясь новыми людьми и транспортом, образовался здесь уже недели две назад и жил своим особенным, неповторимым бытом.

Это была помесь остатков воинских подразделений, коллективов, режидений и предприятий, помесь всех видов транспорта, беженцев всех специальных категорий, всех возрастов и семейных положений. И все шло и шло, всё внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой помесь наплавного моста через Донец.

Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сводились к тому, чтобы попасть на мост, все усилия военных людей, ведавших переправой, сводились к тому, чтобы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь дать переправиться отходящим подразделениям Красной Армии, многие из которых шли на поддержку северного заслона южных армий, а другие должны были спешно отступить за Дон.

В этой борьбе индивидуальных и частных воле, усилий и военной, государственной необходимости, в условиях, когда враг вот-вот мог появиться и на том и на этом берегу Донца и когда слухи, один чуднее другого, подогревали взаимно противоречившие страсти и усилия, — в этой борьбе и проходила повседневная жизнь табора.

Иные организации стояли здесь так долго, дожидаясь очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили палатки, сложили временные столы, на которых варили пищу. Лагерь был полон детей. И день и ночь шла переправа через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обоим сторонам которого люди переправлялись на плотках, на лодках. Травы, сучья голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и шли в плыв. Переправу ежедневно по нескольку раз бомбили и обстреливали с воздуха немцы, и тотчас же начинала бить охранявшая переправу зеленая артиллерия, звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь собиралось на свои места.

Об убитых уже никто не заботился, их никто не убирал, и они лежали тут же целыми днями, разлагаясь на солнце.

С того момента, как Ваня попал в этот табор, у него была другая цель, как только отыскать машину, на которой можно было бы уехать. В нем боролось два чувства: он уже начинал понимать, какова реальная опасность, и ему хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже только по ту сторону Донца, а не по ту сторону Дона, и в то же время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще здесь.

Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища своих красавиц, и вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по именам, и Олег Кошечкин товарищ по школе, почерневший, но, как всегда, свежий, закутанный с выражением оживленной деятельности во всей его легкой и широкими плечами фигуре и в поблескивающих глазах с золотистыми ресницами уже обнимал товарищей сильными, большими руками и крепко целовал в губы.

Они набрали на машину шахты № 1-бис с Валько и Шевцова на подводы с Улей и с родней Кошевого и на тот самый детский вагончик который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры и заводующую, о которой теперь даже не узнала их.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора и где стояла вала жесткая смуглая рука директора шахты № 1-бис Валько, был порядок: машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в длинные ряды, были вырыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров — сто пачек метров хуторского плетня, и тетушка Марина и Уля варили капусту из свежей капусты.

Он был настоящим хозяином, этот старый цыган Валько. Он держал своих рабочих и пятерых ребят-комсомольцев, Валько тяжелой и жесткой так свирепо поглядывая из-под сросшихся черных бровей, чтобы они не расступались перед ним, направился к самой переправе, надеясь положить свою тяжелую руку на все это предприятие.

Как и многие другие крупные деятели хозяйства, руководившие огромного масштаба совершенными предприятиями, научившиеся бороться на своем пути любые трудности, Валько в глубине души считал отступление на Южном фронте, жертвой которого он стал, не той причиной, что немцы сосредоточили здесь превосходящие силы солдат, самодвижущих танков, но и тем, что военные люди на фронте еще не научились использовать те совершенные машины и обученных в производстве людей, которые были даны им в руки. То, что на переправе, возле которой сидело всего несколько тысяч людей, машин и подвод, был беспорядок, Валько объяснял этой же причиной, и с того момента, как он начал делать все, чтобы навести порядок.

И с того момента как Валько стал наводить порядок, Олег Кошечкин же влюблен в Валько, как некоторое время тому назад он был влюблен в Каюткина, а еще некоторое время тому назад — в Улю.

Та исключительная жажда деятельности, желание проявить себя, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность, желание внести в нее что-то свое, более совершенное, быстрее оборачива-

наполненное новым содержанием, — эта еще не вполне осмысленная, ватывающая все его существо и составляющая основу его натуры сила овладела Олегом.

— Ой, и д-добре ж, Иван, шо мы с тобой зуст-трились! — чуть-чуть, весело говорил Олег, шагая рядом с Земнуховым вслед за Валько-Добре, шо мы зустрились, бо я дуже по тебе скучився. Видал? А тышь — вирши! У-у, брат!.. — И Олег глазами и пальцем с уваженьем в спину Валько. — Да, брат, главная сила на свете — сила органиче- — говорил он, остро поблескивая глазами в золотистых ресницах. — ее, видно, самое хорошее и нужное дело ползет, — вот как вязаная надорвется и ползет по ниточкам. Но стоит приложить руку и — и...

И глядишь, тебе же и морду набьют, — не оборачиваясь, сказал он.

Ребята по заслугам оценили его мрачный юмор.

Подобно тому, как на фронте, попав во вторые эшелоны армии труднотяжелых о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае, так и на фланге, находясь где-то в глубоком тылу ее, в последней очереди, судить об истинных размерах бедствия.

Чем ближе ребята подходили к переправе, тем запутаннее, непонятнее становилось положение переправляющихся, и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, которое было уже столь застарелым и накаленным, что вряд ли уже какая-нибудь сила, кроме вооруженного вмешательства, могла его разрядить. Стремясь как можно ближе подойти к наплавному мосту, в силу напора задних машин на передние, к сужению между ними масс людей, все виды транспорта были уже так беспорядочно и непоправимо перепутаны между собой, втиснуты в самых невероятных положениях, что не было уже никакой возможности привести их в порядок, кроме как постепенно направлять вперед.

В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от скученности, люди, вымокшие потом и проклиная друг друга, находились в той степени раздражения, когда, казалось, от прикосновения друг к другу они могут загореться. Неистовая брань стояла в воздухе, и уже нельзя было определить кто кого ругал.

Мертвые люди, ведавшие переправой, не спавшие уже много суток, измученные бессонницей, от солнца, на котором они жарились от восхода до заката, от пыли, все время взбиваемой тысячами ног и колес, осипшие от жары, с воспаленными веками и потными черными руками, доведенные до той степени нервной усталости, когда ничто уже не держалось в их руках, — продолжали, однако, свою нечеловеческую работу.

Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, что делали эти люди, уже нельзя было сделать, но Валько все же спустился к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других гогота и рычания машин.

Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выражением разочарования и ожидания смотрел, как в этой пыли и жаре с оползшего и размешанного илудовищное месиво берега один за другим ползут грузовики и подвешенные к ним груженые с верхом, и всё идут и идут люди, — потные, грязные, униженные, но идут, идут...

И только Донец, эта любимая с детства река, на верхнем течении которой столько раз в своей жизни ездили ребята-школьники на кунтамы ловить рыбу, только Донец, широкий, плавный в этих местах, казался все-таки по-прежнему свои теплые мутноватые воды.

— Нет, все-таки хочется кому-то морду набить! — вдруг сказал Виктор Петров, с грустным выражением в смелых своих глазах, глядяший не на переправу, а на реку; он был с хутора Погода, а жил на этой реке.

— Тот-то уже, наверно, переправился! — пошутил Ваня. Ребята фыркнули.

— Бить надо не здесь, а там, — холодно сказал Анатолий, кивнув головой в узбекской шапочке на запад.

— Совершенно верно, — поддержал его Жора.

И почти в то же мгновение, как он это сказал, раздался

— Воздух!

И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы, рев моторов в небе и пронзительный нарастающий визг обломков бомб.

Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние, слышимые всё вокруг, посыпались комья земли и щепки, и сразу вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и свисты, заполнили, казалось, все пространство между степью и рекой.

Но вот самолеты прошли, люди стали подыматься с земли. В это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где жили Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек, и черные дымки, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким шумом начали рваться снаряды.

Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали на землю, когда повернули головы в сторону рвущихся снарядов, не упуская при этом время из виду переправу. И по лицам и поведению военных, по взглядам на переправу, люди поняли, что произошло что-то непоправимое.

Военные, управлявшие переправой, переглянулись, постыдились, встали, будто прислушиваясь; вдруг один из них бросился в бег по самому спуску к наплавному мосту, а другой закричал вдоль берега, зывая команду.

Через минуту военный выбежал из блиндажа с двумя шинелями в одну руку и вещевыми мешками в другой руке, которые он тащил за собой, и оба военных и бойцы комендантской команды, не строясь, побежали бегом по наплавному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие движение к мосту и по мосту.

То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно и так неожиданно, что никто не мог бы сказать, с чего все это началось. Как-то с криком бросились вслед за военными. Какая-то сумятица произошла с машинами на самом съезде: несколько машин разом хлынули на поворот, забили, раздавался треск, но хотя путь дальше был явно загорожен машинами, другие машины, напирая задние на передние, продолжали двигаться страшным ревом моторов обрушиваться в эту кашу из машин и людей. Одна машина свалилась в воду, за ней другая, и готовилась свалиться третья, но водитель мощным движением руки приковал ее на

ня Земнухов, с удивлением смотревший своими близорукими глазами то, что происходит с машинами, вдруг воскликнул:

Клава!

бросился к съезду.

а, эта третья машина, едва не свалившаяся в воду, была машина ева, где поверх вещей сидел он сам, его жена, дочь и еще какие-то

Клава! — слова крикнул Ваня, неизвестно как очутившийся у машины.

оли выпрыгивали из нее. Ваня протянул руку, и Клава спрыгнула у.

Кончено!.. К чертовой матери!.. — сказал Ковалев так, что у Ва- холодело сердце.

Клава, руки которой он не решился задерживать долее в своих, и, не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь.

Итти-то можешь? Скажи, можешь? — срывающимся на плач голо- прашивал Ковалев жену, которая, держась рукой за сердце, хва- отом воздух, как рыба.

Оставь, оставь нас... беги... они убьют тебя... — лепетала она нясь.

Да что, что случилось? — спросил Ваня.

Немцы!.. — сказал Ковалев.

Беги, беги, оставь нас! — повторяла клавиша мама.

Ковалев, брызнув слезами, схватил Ваню за руку.

Ваня! — сказал он плача. — Спаси их, не бросай их. Будете жи- в Нижнюю Александровку, там у нас родня... Ваня! У меня на

ряд с грохотом разорвался у самого съезда, в месиве машин.

люди с берега, военные и штатские, лавиной молча хлынули на бы.

Ковалев, отпустив руку Вани, сделал порывистое движение к жене, ери — видно, хотел проститься, но вдруг, в отчаянии взмахнув ми руками, вместе с другими людьми побегал по наплавному мосту. сиег с берега звал Земнухова, но Ваня никого не слышал.

Идемте, пока нас не сшибли, — сурово, спокойно сказал он матери ва и взял ее под руку. — Идемте к этому блиндажу. Слышите? Клава. в мной, слышишь? — строго и нежно говорил он.

ред тем как они спустились в блиндаж, он еще успел заметить, ойцы возле зениток, лихорадочно позывившись у орудий, отняли от в какие-то тяжелые части и, держа их в руках перед собой, побе- на мост и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. ем протяжении реки, выше и ниже моста, вилась перебирались и скот. Но Ваня этого уже не видел.

о товарищи, потеряв из виду и его и Валько, стараясь не под- хлынувшему навстречу им людскому потоку, бежали к тому месту, и оставили свои подводы.

Держитесь вместе, мы должны быть вместе! — первый проталки- среди людей своими сильными плечами, кричал Олег, оглядываясь ят горящими, злыми, желтыми от злости глазами.

ть табор ронлся и уже распадался; машины двигались одна возле

другой, рыча моторами, а те, что могли пробиться, уезжали в долину, вниз по реке.

В то время, когда налетела первая очередь самолетов, тетушка Ирина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из пшеницы, а подвывая Коля рубил артиллерийским кинжалом. А Уля сидела рядом с ней, задумавшись о чем-то своем, так что в лице ее, где-то в углах и в тонком вырезе ноздрей, обозначились черты мрачной мысли, а когда на то, как Григорий Ильич, сидя в машине на краю окопа, увидел глазулю девочку, которую он только что поил молочком. Это девочка села на валу, девочка села на ухо, а девочка смеялась. Машина, вокруг которой сидели дети под наблюдением своих нянь и возле которой, без участия ко всем сидела заведующая домом, находилась метрах в тридцати от того места, где был разведен костер. Подводы детского дома, так же как и подводы Петрова и Кошевого, стояли в ряду других подвод.

Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел даже заметить оторванные возле щели в земле и попадали тут же на землю. Уля, припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точный, как выстрел, внизу визг падающей бомбы. И в то же мгновение страшный, как разряд молнии, резкий удар разразился, казалось, не то в землю, не то в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и она услышала рев моторов в небе, и снова этот визг, этот рев моторов, и все легла так, прижавшись к земле.

Она не помнила, когда встала и что подсказало ей, что встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший ее, и из глубины ее души вырвался страстный звериный вопль.

Не было перед ней ни машины шахты № 1-бис, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки, — их не было и нигде поблизости. Там, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной и опаленной земли, а вокруг воронки в разных местах валялись обломанные части машины, изуродованные трупы детей, а в нескольких шагах от Ули шевелился странный, в красном платке, обрубок, торчавший из земли. В этом обрубке она признала верхнюю часть туловища заведующей детской больницы детского дома. А нижней ее части с этими резиновыми перчатками, надетыми прямо на чулок, не было нигде, — ее вообще уже не было.

Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле голову, вдруг закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутанувшись на пятках, припопывая ножкой, и визжал.

Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела схватить его, но мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его, увидела, что лицо у мальчика вздулось волдырем — от удара, и реченные белые глаза вылезли из орбит.

Уля опустила на землю и зарыдала.

Все бежало вокруг, но Уля уже ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Олег Кошевой оказался возле нее, когда он говорил и своей большой рукой гладил по волосам и, как будто хотел поднять ее, а она все рыдала, закрыв лицо руками. Звук выстрелов, стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета и рев моторов не слышала ее, но все это было уже ей безразлично.

И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, резко дрогнувшим голосом произнес:

— Немцы..

И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоящих возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках, даже деда, который вез Олега и его родных,— не было только Ваши Земнухова и Валько.

Все эти люди со странным выражением, напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону.

В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, залитая солнцем яркая степь под раскаленным небом, в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха, по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки.

(Продолжение следует)

3. О ЛЮБВИ

По болотам, пескам и снегам,
Днем и ночью, с винтовкой вдвоем,
От тебя далека, далека,
Я иду под дождем и огнем.
Мы по воле своей, не силком,
Без повесток, приказов и слов,
Друг от друга ушли далеко,
Далеко от родимых садов.
Никаких мне не надо богатств,
Чтоб была я довольна собой,
Был бы маленький-маленький сад,
Да большая-большая любовь.
Сад наш рос среди ойротских высот,
Жили мы от сражений вдали.

Нам бы жить-поживать без забот,—
Мы с тобою так жить не смогли.
Не смогли бы иначе в глаза
Мы, как прежде, друг другу смотреть,
И завял бы зеленый наш сад,
Стал бы дом наш ветшать и стареть.
Помутился бы солнечный свет
От фальшивых уклончивых глаз.
И прожили бы, может, сто лет,
Но любовь умерла бы тотчас.
И любовью своей дорожа,
Твердо смотрим мы смерти в лицо,
На жестоких стоим рубежах,
Вдаль идем под дождем и свинцом.

4

Все те же здесь бревенчатые стены,
Сонливый кот, сверчок и тишина.
Всё та же ночь и звезды неизменны.
Лишь я не та. Я здесь теперь одна.

А сердце ждет. А сердце хочет верить,
Что ты, как прежде, за окном

мелькнешь,
Что ты откроешь низенькие двери
И, наклонившись, в комнату войдешь.

Что ты, как прежде, будешь пахнуть
лесом,
Как прежде, нежен и нетерпелив,

Что станет вдруг так празднично и
тесно,

Как будто елку в комнату внесли.

Так сердце ждет. Какие есть приметы?
Как эта ночь пустынна и длинна!

Всю ночь не сплю. Гадаю. Жду
ответа.

Теней и звезд читаю письма.

Но как узнать — вернется ли бывшее?

Но нерушима лунная печать,

И лунный луч забытою струною

Всю ночь дрожит, не в силах
завучать.

5

Ты не можешь погибнуть, пока я жива.
Так с рождения нам суждено.
Для тебя на земле бьются сердца два,
И живешь ты жизнью двойной.

Для того, чтобы ты замолчал навек,
Чтобы ты перестал дышать,

Не одну нужно смерть, нужно смерти
две.

Ну, а двум смертям не бывать.

6. ВОЛГА

Ты огорченным был и колким,
Когда, поднявшись на откос,
С тобой мы спорили о Волге,
Полушутя, полувсерьез.
Она волной не серебрилась,
Как реки милых сердцу гор,

Неудержимо не стремилась
Ветрам и камням вперекор.
Прыжком отважным не бросалась
С обрыва вдруг на камни вниз,
Разбившись, вновь не воскресала
Из пены, ропота и брызг.

Всё было чуждо, всё немило,
На сердце падала тоска,
И я капризно говорила:
«Плохая, скучная река.

Едва волной она шелохнет,
И не волна у ней, а муть,
И, если вся она посохнет,
Не пожалею я ничуть.

Пусть сохнет. Мне ее не надо.
И берега ее в пыли,
И, если есть на ней отрада,
Так это только Жигули».

Так было. По строке приказа,
По жесткой воинской судьбе,
Ты в битву встал у рек Кавказа,
Я — у реки, родной тебе.

И у пылающих причалов,
В дыму, пожарах и пальбе,
Такой родной мне Волга стала,
Как не была вовек тебе.

Нет. Вместе с ней не умирая,
Ты ста смертей не перенес.
Мы с ней горели, не сгорая,
Когда взорвался нефтевоз.

Казалось, волны загорались,
Огонь в воде не угасал,
А за причалом, за горами
Спускался вражеский десант.

Настанет день, с тобой вдвоем мы
Пойдем вдоль волжских берегов,
И я скажу: «Вот тем подьемом
Мы наступали на врагов.

Той тропкой раненых носили,
Воронка за холмом была,
Мы с этой липкой породнились,
Ее я кровью полила».

Пойдем от края и до края
По милым волжским берегам,
И я скажу: «Моя родная,
Моя прекрасная река!»

7

Я помню, мне бывало одиноко; -
Когда ты во-время не приходил
с работы,

Росла во мне нелепая тревога,
Владели мною страхи и заботы.

Мне думалось: «Так много бед бывает».
Казалось мне, что крики раздаются,
Что на тебя автобусы, трамваи
Со всех сторон стремительно несутся.

Что если ты проходишь тротуаром,
Где все другие ходят невредимы,
То кирпичи со всех построек старых
Летят к тебе на голову, любимый.

И, глупая, накинув шаль на плечи,
Я торопливо шла к тебе навстречу.

Да, было так. Но камнями ложатся
Теперь на сердце не часы, а годы.
Всё жду тебя. Всё не могу дождаться
Тебя с войны. С войны, а не
с работы.

И на окоп твой танки, не трамваи,
Идут не мимо, точно, по маршруту,
И тонны бомб (не кирпичи) взрывают

Вокруг тебя камней и балок груды.

А я живу. Живу. Не умираю.
Я двигаюсь. Шучу. Я улыбаюсь.
Живу я годы. Годы, не минуты.
Одна любовь в разлуке иссушила б.
Ты для меня, что вешний дождь для
сада.

Но в сердце есть теперь другая сила —
В нем ненависть живет с любовью
рядом.

К ним. К тем скотам, в обличьи
человека.

Такая в сердце ненависть к злодеям,
Что с ней могу прожить еще два
века,

Не утомясь. Не сдавшись. Не слабая.
Смогу прожить без вдоха, без ошибки,
Вся на-чеку. Тем собранней, чем ближе.
До бледности, до ледяной улыбки,
До сухости в гортани ненавижу!

Вот потому ношу военный китель,
Легко иду в любой поход тяжелый
И тем, кто не умеет ненавидеть,
Порой кажусь по-странным веселой.

8. МАРИЯ

В эту ночь пятерых не стало.
Наша боль была, как угроза.
Наше горе в гневе сгорало.
Наши слезы выжгло морозом.
Хоронили их, зарывали
У околицы, под крушиной.
Словно каменные, стояли
Семь девчат из моей дружины.
А под вечер умер Сережа.
Не от раны, от пневмонии.
На снегу, за палаткой лежа,
Не стыдясь, рыдала Мария.
— Ты ли это, Мария? Та ли,
Что певала под канонаду,—
Очи смертников оживали
Под твоим нетускневшим взглядом.
Подняла лицо молодое:
— Горче горь всех такое горе,
Чтоб бойцу, не увидев боя,
Погибать на войне от хвори.

Как метался он, зубы стиснув,
Как просил он: «Пустите в битву!
Одного бы убить фашиста,—
Умирать бы не так обидно...»
И погиб не от ран — от хвори;
Был бойцом и не видел боя,—
Горче горь всех такое горе.
...Небо грянуло падо мною...
Как скосило в логу березы!
В синем взгляде ни тени грусти.
На бегу, позабыв про слезы,
Надевала сумку Маруся.
Трое суток мы были в деле.
Снова ночь и палатка. Отдых.
Резкий визг далекой шрапнели
Да за дверью вой непогоды.
И под дальний гул канонады,
Словно нет ни войны, ни вьюги,
Спят родные мои девчата,
Боевые мои подруги.

9. ПОРВАННОЕ ПИСЬМО

Ты приди, приди, родимая,
Беззаветная моя.
В светлый дом свой уведи меня,
В беспечальные края.
Почернела не от раны я,—
Сушит черная тоска
Да вот эти, в клочья рваные,
Фронтовые облака.
Да пустынные пожарища
На заваленных путях,
Да прославленных товарищей
Освятивший землю прах.
Мне хоть раз бы разрыдаться бы —
Слез не выжать на глаза.
Мне б уснуть. Они приснятся мне.
Мне б забыть. Забыть нельзя.

Где же ты, родная? Что же ты?
Нет, грусти иль не грусти,
Тихой лаской не поможешь мне,
И нельзя меня спасти
Ни лекарствами, ни травами,
Ни врачам, ни колдунам.
Хоть в разведку бы отправил бы
Бестолковый лейтенант.
Хоть скорей в атаку снова бы
Рота славная пошла
На лихие, на рисковые,
На удалые дела.
Вот и кончила письмо тебе
И ровнее я дышу.
...Я письмо свое порву теперь,
Всё иначе напишу.

10. ПОДРУГЕ

Ты сухим его не кори,
Злым улыбкам его не верь.
Ты в глаза его посмотри,
Столько раз встречавшие смерть.
Под забытый фокстротный шум
Он был в праве тебе сказать:
«Если писем я не пишу,
Значит, я не могу писать».

Он увез с собой твой портрет.
Горсть земли с кабардинских гор.
Я дружила с тобой семь лет,
Я в бою видала его.
Если ты не сможешь понять
То, о чем он сказать не смог,
Я не стану тебе писать
С фронтовых бессрочных дорог.

11. ЗАВЕЩАНИЕ

Я с вами дружила, ребята,
За дружбу мы пили до дна.
Была наша доля богата,
Труда и веселья полна.
Нам были привычны разлуки,
Нам были милы поезда,
Но мы нашу верность друг другу
Хранили везде и всегда.
Когда без меня пировали,
Меня вспоминали друзья,
На скатерть вино проливали,
Бросали бокалы смеясь.
И тонкие скрипки звенели,
И пел кто-нибудь из ребят,
И мне телеграммы летели:
«Заздравную пьем за тебя».
Сюда не придут телеграммы —
И адрес у нас номерной.
И путь нам на запад не прямо
Проложен упорной войной.

Здесь смерть, как разлука, обычна,
За делом почти не страшна,
Да всем вам известно отлично
Короткое слово — война.
И если, с утра ль, на закате ль,
Вам скажут — меня уже нет,
Вино не прольется на скатерть.
Не станут бокалы звенеть.
Из вас ни один не заплачет,
И взор не померкнет ничей.
Меня помяните иначе:
Без слез, без вина, без речей.
Не надо ни скрипок, ни флейты,
Вы белую скатерть снегов
Залейте, залейте, залейте
Проклятою кровью врагов!
И пусть в мою память, ребята,
Поет над врагами шрапнель.
И вы не бокалы — гранаты
Бросайте без промаха в цель!

12. ЭШЕЛОНЫ

Семафоры. Станции. Перроны.
Завыванье одержимых вьюг.
Уходили, уходили эшелоны,
Шел на запад эшелон и шел на юг.
У вагона парень с девушкой проща-
лись,
Всё стояли на метели, на пути,
Всё стояли, руки жали да молчали,
Глаз от глаз не в силах отвести.
Как по сердцу медных два удара.
Парень вздрогнул и сказал с трудом:
— Ты ответь, какой тебе подарок
Привезти из дальних городов?
И подруга отвечала просто:
— Привези подарок дорогой,
Привези глоток воды днепровской,
Горсть земли житомирской, родной.
А за это для тебя, родимый,
Привезти тебе даю зарок

С берегов безоблачного Крыма,
С Черна-моря бел-горюч песок.
...И смотрела вслед, не чуя стужи.
Не рыдала, не согнула стан.
Португеею затянула туже,
В кобуре ощупала наган.
Села в поезд. В мерном колыханьи
Так спокойно речь вела с бойцом.
Всё покорно было ей — дыханье,
Мысли, голос, руки и лицо.
Только очи, очи провинились, —
Темнотою скрыты ото всех,
Скупы слезы едкие катились
По лицу, застывшему, как снег.
Семафоры. Станции. Перроны.
Завыванье одержимых вьюг.
Уходили, уходили эшелоны.
Шел на запад эшелон и шел на юг.

13. СТЕПЬ

Ты, край, умытый росами,
Высокою травой,
С оплаканной березами
Неяркою синевою, —

Я не тебя лелеяла,
Мне с детства мил не ты,
А соснами да елями
Одетые хребты.

Была до гроба предана
Хребтам, где вечен снег,
Ущельям неизведанным,
Рисковой крутизне.
Там, тропами таежными,
В чашу идет зверье,
Там все вокруг тревожное,
Всё кровное мое.
И вот, сюда заброшена,
Растерянно стою,
Стою в степи некошеной,
Себя не узнаю.

Неверная, влюбленная,
Забывшая обет,
Скажи, моя зеленая,
Твоя я или нет?
Равнинная, покорная,
Как будто не мила,
Скажи, моя просторная,
Ты чем меня взяла?
И рвется песня легкая
И ветру вслед летит,
Далекая, далекая
Дорога впереди.

14. ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Еду степкой прежнюю,
Хоженою, еженою,
Всё на том повадливом коне.
Прошуми, дуброва, мне,
Где та чернобровая,
Что сюда ходила по весне?
Еду степкой хоженой
Вдоль травы некошеной,
Допроситься ветра не могу,—
Не скрывай, рассказывай,
Где та ясноглазая,
Что траву косила на лугу?
Ты скажи мне, рожь моя,
Где же та хорошая
Девушка, что сеяла зерно?

Ты верни, найди мою
Девушку любимую,
Что в глаза смотрела мне весной.
Нивами, покосами
Кличу русокоосу:
— Отзовись мне, лада, не таись!
Славно поработали,
Много силы отдали,
Выйди, на работу подивись.
В поле рожь тяжелая
Жнею ждет веселую,
Сладкий груз в садах деревья гнет.
Ждет тебя, желанная,
Сердце неустанное,
Сердце неустанное мое.

15

Я из тех, из молчаливых,
Кто не знает, как начать,
Кто, счастлив ли, несчастлив ли,
Не умеет рассказать.
Надо мной слова смеются,
Словно ртуть, когда прольешь.
Разольются, разбегутся,
И никак не соберешь.
Я немую не родилась,
Равнодушно не живу.
Так обидно получилось,
Что горячкой я слышу.

Не горячка я, напротив,
Горьким словом не клейми,
По заботе, по работе
Молчаливую пойми.
Хоть вполголоса однажды
Мне сумеет бы разделить
Всё, что нужно, всё, что важно,
Что устала я хранить.
Я из тех, из молчаливых,
Кто не знает, как начать,
Кто счастлив ли, несчастлив ли,
Не умеет рассказать.

16. ДОМА

И в отчем доме дома нет.
И мне, спокойной, нет покоя.
Лазурь и тучи в вышине,
И солнце с ветром надо мною.
И гор подветренный рубез
То теновой, то озаренный.
И возмущенье, и мятеж
Листвы, к ветвям приговоренной.
Воздевши камни в облака,
Стоят ослепшие руины.
Ударив гарью, след врага

Ведет за горные стремнины
И горячит, как гончей, кровь,
И дому отчему не рада.
Сама не зная как, я вновь
Пришла к дверям военкомата.
Не кончен бой.

О, что со мной?

Надолго ль стала я такою;
Чтоб мне в блиндаж хотеть — «домой»,
Чтоб мне в бою искать покоя?

17. МАМЕ

Я так люблю твой облик тихий,
Спокойных глаз вечерний свет,
Твою светелку в травах диких,
В чебрец-траве, в медун-траве.

Твое упорство и терпенье,
Твоих сказаний сон и быль,
И рук твоих прикосновенье,
Сухих и легких, как ковыль.

Я стала взрослая, лихая,
Могу взрывать и убивать,

Но в час, когда бои стихают,
Тебя мне хочется позвать.

Поля, не взорванные боем,
Тогда на ум приходят мне
И небо, небо голубое,
Без «Мессершмиттов» в вышине.

И, чтоб одна земля слыхала,
Шепчу, сжимаясь от тоски:
«Я так устала, так устала,
Дай руку, мама, помоги».

18. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Пусть тяжелы твои ресницы
И легок сон,
Усни, мой мальчик смуглолицый,
Под хвойный звон.

Звонят ветра в тайге дремучей,
Тайга поёт:
«Расти большой, как я, могучий,
Мой лесовод».

Поет, плеща о берег влажный
Твой океан:
«Расти, моряк, расти, отважный,
Для дальних стран».

И ветер, мчась от моря в горы,
Тебе поет:
«Расти, пилот, как ветер, скорый,
Расти, пилот».

И, над ручьем склонившись низко,
Шуршит камыш:
«Как ручеек простой и чистый,
Расти, малыш».

Спи, колыбелька голубая —
Твой нежный плен,
И смотрит Сталин, улыбаясь,
С высоких стен.

Пою, склонившись над работой:
«Расти, боец!
Расти героем-патриотом,
Как твой отец».

На страже счастья у границы
Бессменно он.
Спи. Тяжелы твои ресницы,
И легок сон».

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1. КЕРЧЬ

У нас в гимназии делили Крым
На эллинский и дикий. Все приморье
От Евпатории и до Керчи
Звалось Элладой. Если же случалось,
Перевалив за горную преграду,
Спуститься в степь, то называлось
это —

«Поехать в Скифию». Хотя и в шутку,
Мы называли наши города
По-гречески, как это было древле.

Об этом я давно уж позабыл.
И вдруг, когда десантные войска,
Форсировав пролив, обосновались
На Крымском берегу, и я увидел
Невдалеке перед собою Керчь,—
Мой голос прошептал: «Пантикапея...»

В лиловом и оранжевом тумане
Над морем воспарил амфитеатр
Пленительного города. Гора

С каким-то белым и высоким храмом
Курилась облаками. Дальний мыс
Чернел над хризолитовым заливом.

А очертанья зданий на заре
Подсказывали портики, колонны
И статуи на форуме. Эллада
Дышала сном. Один туман, как

грезы,

Описывал громады парусов.
Орду козлов или толпу сатиров,—
И я был старше на пять тысяч
лет.

Объятый полудремою веков,
Я мысленно по площади бродил,
Где эллины, как птицы, торговались,
А в виде серебра ходила рыба;

Здесь хлеб и сыр меняли на ставридки.

Здесь медный щит, наполненный макрелью,

Считался платой за стихотворенье;
А если звонким осетром платили
За девушку такого же объема,
Того же водяного блеска, той же
Пловучей обтекаемости линий,
То это не обидно осетру.

(Обидно ль девушке, об этом
Не думали в ту грубую эпоху.
Ужасный век!) И вдруг на этот
город,

Как фурии по мановенью Зевса,—
Аэропланы! И когда из дыма
Опять он появился над заливом
И танки с красным флагом
потянулись

По набережной, а, увидя ров,
Ушли сквозь стену бѣнка в переулоч,—
У берега уже лежала Керчь.

Так за один лишь день я увидал
Два лика города. Но мне война
Готовила еще и третий.

Ночью,

В армейскую газету, очень тихо
И как-то лунатически, как будто
Одно и то же неотступно видя
И об одном задумавшись навеки,
Вошел не бледный, нет, а просто
белый,

Невероятный чем-то человек.
Далеким голосом (таким далеким,
Что нам казалось, будто бы не он,

Мы отступили на Тамань из Крыма.
В пещерах этих ожидал их тлен.
Один бы шаг, одно движение мимо —
И пред тобой неведомое: плен!
Но, клятву всем дыханием запомя,
Бойцы, как в бой, ушли в каменоломни.
И вот они лежат по всем углам,
Где тьма нависла тяжело и хмуро,
Нет, не скелеты, а скорей

скульптура,

С породой смешанная пополам,
Они белы, как гипс. Глухие своды
Их щедро осыпали в непогоды
Порошей своего известняка,
Порошу эту сырость закрепила,
И, наконец, как молот и зубило,
По ним прошло ваянье сквозняка.
По черным коридорам подземелья
Белеют эти статуи войны.
Вон, как ворота, встали валуны,
За ними чья-то маленькая келья —
Здесь на опрятный автоматец свой
Осыпался костями часовой.

А в глубине — кровать. Соломы пук.
Из-под соломы выбежала крыса.
Полукрытый полковой сундук,
Где струблевок блеклые огрызья,
И копотью свечи у потолка
Колонкою записанные числа,
И монумент хозяина полка —
Окаменелый страж своей отчизны.

Товарищ! Кто ты? Может быть, с тобой
Сидели мы во фронтовой столовой?
Из блиндажа, не говоря ни слова,
Быть может, вместе наблюдали бой?
Скитались мы на Южном берегу,
О Маяковском споря до восхода,
И я с того печального похода
Твое рукопожатье берегу?

Не знаю. Но зато глубоко знаю,
Что всем хорошим в жизни и судьбе
Обязан я, товарищ мой, тебе!
Твоя отвага предо мной — как знамя!
Ты твердо знал, что гибелью своей
Спасает силу боевых друзей, —
И все черты судьбы твоей отныне
Для нас навек нетленны, как святыня.
Вот здесь он жил. Он вел число

потерь,

Он хоронил их тут же на погосте,
И, может быть, за каменную дверь
Заглядывали черепные кости,
И, отрываясь от текущих дел,
Печально он в глазницы их глядел
И узнавал Алешу или Костю.

А делом у него была вода.
Воды в пещере не было. По своду
Потели капли, свесясь, как слюда, —
И свято собирал он эту воду.

Часов по десять (падая без сил)
Сосал он камень, напоенный влагой,
И в полночь умирающим носил
Три четверти вот этой плоской фляги.
Вот так он жил. Но чем он жил?

Но чем?

Надеждой? Долгом? Лозунгами
в красках?

Родное небо звездами на касках
Душе светило ярче всех эмблем.

И смертники заводят у костра
Беседы о падении Берлина...
Как сабля обнаженная, остра
Была в могиле этой дисциплина.
Вот так он жил полгода. Чем он жил?
Надеждой? Да. Конечно, и надеждой.
Но сквознячок у тела ворошил
Какое-то письмо. И почерк нежный
Пахнул на нас дыханием тепла:
Здесь капля солнца пролита была,
И уж не оттого ли, в самом деле,
Края бумаги пеплом облетели?

«Родной мой, нехороший мой... —
воркуя,

К нему, скелету, ластится жена. —
Конечно, ревновать тебя к врагу я,
Само собой, понятно, не должна.
Но все ж, о рыцарь, я бы Вас
просила

Вздыхнуть о Вашей женке иногда,
Тебе бы это родина простила...
Уж как-нибудь простила бы. Да, да.
«Папусенька! — лепечет письмецо, —
Зачем ты нам так очень мало пишешь?
Пиши нам, пусенька, большие.

Слышишь?

А то возьму обижуся и все!
Наташкин папа пишет аж из Сочи.
Ну, до свидания. Спокойной ночи.

А он лежит среди этих голосов,
Поникнув над финансовою папкой.
Он не ответит на семейный зов,
Плохой супруг и нехороший папка.
И все-таки не темой натюрморта
Простерлась анатомия его:
Как мощны плечи, поднятые гордо!
Какое в этом жесте торжество!
И вот к нему в подземное жилище
Уже плывут иные голоса,
И постигают все его величье
Металлом заблеставшие глаза.
И ты восходишь, неизвестный друг,
Под факелами пятнами мелькая,
В подземной крепости Аджи-Мушкая
Уже не камень и не кость — но дух!

И этот дух бойцы уносят в степь
За валуны, за черные ворота,
Как образ воли своего народа,
Непоборимости его судеб.
Когда ж сюда, в безмолвье коридора,
Трубу сраженья вихри принесут,—
Гремящими

шагами

командора

Ты явишься вершить суровый суд.
И ляжет враг под пулю и копье
Во имя безымянное твое.

2—12 ноября 1943 г.

Аджи-мушкайские каменоломни.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕНАВИСТЬ

Вот она, перехвативши горло,
Стала песней матерей и вдов.
Вот кулак обугленный простерла
В черноту сороковых годов.
Вот из рвов, печей и душегубок
Выгребает человечесий прах.
И пошел наш поминальный кубок
На ее несчитанных пирах.
Вот он — связан проволокой ржавой,
В рваной майке, маленький скелет.
Умерщвленный западной державой,
На земле он прожил десять лет.

Вот она — Германией надменной
Втопанная в чернозем звезда.
Люди! Это было вашей сменой.
Этого не будет никогда!
Никакого розыска не надо.
Не строчите, судьи. Не до вас!
Пусть за всех рассудит канонада,
Доводами жгучими давясь.
Пусть она свое решенье грянет,
И с железной пеною у рта
Доводом последним протаранит
Черные Германии врата.

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Седой солдат не хочет спать.
Сняв португею и рапиру,
Три ночи к ряду он опять
Зовет друзей к большому пмру.
Там будет жгучая вода
Для всех гостей любого ранга.
Там будут юные года
Щедры, как скатерть-самобранка.
Он только потому и сед,
Что выюги северные седы.
И, табаком набив кисет,
Сломает ход любой беседы.
В словарь врубаясь сгоряча,
Сломает ритм, как мальчик —
голос.
Расскажет, как взята Тульча,
Как Троя девять лет боролась,

Как Чортов мост, обледенев,
Плясал под дудочку метели,
Как молодец солдатский гнев,—
А между тем века летели...

На черном Западе, сквозь дым,
Покажет он в бойницах башен,
Как страшен Запад молодым,
Какой он злобой ошарашен...

Три ночи к ряду колесил
Он от Мадрида до Кавказа,
Чтоб у друзей хватило сил
Войти в страну его рассказа.

Седой солдат, седой поэт,
Седого севера товарищ,
Он только потому и сед,
Что убелен золой пожарщ.

ФОРМУЛА ПЕРЕХОДА

Где это происходит? Под какой
Необозримой ширью мироздания?
Несутся тени павших. Мчатся зданья,
Разрушенные вражеской рукой.
Стволы дерев расщеплены снарядом.
Разорван воздух. Сожжена трава.
Вязанки голых трупов, как дрова,
Гниют на голых пустырях. А рядом
С таинственным их шествием в ничто
Жизнь, от мгновенной горечи избавясь,
Выращивает маленькую завязь,—
И снова дело жизни начато.
Сощурился под козырьком ладони
От солнца босоногий мальчуган.
Щепотка соли брошена в таган.
Слепой играет на аккордеоне.
Мой друг хотел бы всем живым
помочь,
Следит он, как в тончайших линзах
вырос
Грибок уничтоженья, ультравирус.
Мой друг-чудак не спит вторую ночь.

Меж тем, откуда ни возьмись, как
ливень
Внезапных слез, восторженно-честна,
Стучится в снежный пригород весна.
И двадцатидвухлетний осчастливлен
Ее лукавым взглядом из-под век.
Где это происходит? В чем отгадка?
Зачем ты так перелицован гладко,
Так выютюжен, смертный человек?
Прочь. Не надейся на величье горя.
Оно вросло в узлы твоих корней.
Ведь музыкант играет тем верней,
Чем он смиренней в тыщеструнном
хоре.
Там, в тыщеструнной музыке миров
Исходит кровью гибнущая память.
Не сможешь ты ее переупрямить.
Ты жив еще, цел, невредим, здоров.
Легла под ноги зыбкая трясина,
Над головой голодной птицы крик.
Чего ж еще хотеть тебе, старик,
Не отыскавший, где могила сына?

МИХ. МАТУСОВСКИЙ

СТИХИ

1. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК

На голом месте мы вкопали столб.	И после, ни о чем не сожалея,
День новоселья не был здесь отмечен:	Легко собрались и легко ушли.
Сложили стены, сколотили стол,	Но так печальны на полях военных
Врубили дверь и затопили печи.	Пустые блиндажи и шалаши,
Грибная сырость, запах мха и клея.	Как будто навсегда осталась в стенах
Здесь жили люди на клочке земли	Частица человеческой души.

2. ЗДЕСЬ БЫЛИ НЕМЦЫ...

Я думал вернуться в тот город,	На месте, глухом и пустынном,
Где были мой дом и семья,	Исчез человеческий след,
Где, словно с вершин косогора,	Как будто бы этим руинам
Виднеется юность моя.	Исполнилась тысяча лет.
Где часто во мраке беззвездном	На склоне обрывистой кручи,
Я все поверял тишине,	Где с грохотом рвался тротил,
Где с каждым гудком паровозным	Поднялся репейник колючий
Душа замирала во мне.	И когти в кирпич запустил.
Здесь всюду видны перемены	Повсюду картины разгрома
В моем разоренном краю,	И вдовий пронзительный крик,
И я обожженные стены	И только у крайнего дома
Сегодня с трудом узнаю.	Сидит одинокий старик.
Дворы почернели от дыма,	Не так ли, сложив свои крылья,
Подъезды наполнились мглой,	Людьми и веками забыт,
И в окнах едва различимо	В степи, заметаемой пылью,
Видение жизни былой.	Стареющий ястреб сидит...

3. САПЕР

Мокрым лесом трясины вымостив,	Даже водки ему не хочется,—
Десять суток не зная покоя,	Только б выспаться так, как надо.
В полной целости-невредимости	Лес шатается, как контуженный,
Возвратился сапер из боя.	Вдоль по фронту бежит зарница.
Он не ищет особых почестей,	Спит солдат, не дождавшись ужина,—
И ему не нужна награда,	И ему ничего не снится.

АЛЕКСАНДР ЗОНИН
МОРСКОЕ БРАТСТВО

РОМАН¹

16

Бушуев переоделся в рабочее платье и рывком поднял крышку шахтного люка. Балыкин торопил, нависая над ним на скобтрапе — время было заступать на вахту и разводить в котле пары. Поступило приказание готовить корабль к походу.

Бушуев занял свое место у нефтяного насоса. Он работал вяло, угрюмо молчал, не слушая разговоров товарищей. Ходили поршни, и шумно дышали топки; котельное помещение наполнил ритмичный рабочий гул. Внизу становилось жарко; были введены в действие три форсунки, и хотя с верхней решетчатой площадки задувал прохладный ветерок от нагнетасмого вентиляторами воздуха, температура повышалась непрерывно.

Балыкин досадовал на предыдущую вахту, осматривая форсунки и диффузоры. В последней партии топлива были механические примеси, и при горении они спекались в кокс, который способствовал дымности. Кокс сняли недостаточно тщательно, и Балыкин приказал резаками и ломиками удалить коксовую корку полностью. Несколькими ловкими движениями он показал, как лучше делать эту работу. Потом он стал обходить другие посты, и Бушуев не сразу заметил, что старшина остановился рядом и внимательно следит за его действиями.

Упрек Ковалева на партийном собрании Балыкин запомнил, и он обещал себе присмотреться к Бушуеву. Но ничего плохого не замечал за исполнительным матросом. А вот сейчас Бушуев работал неладно. Он не смотрел на приборы, и в лице его была отчужденность от дела, непозволительная на военном корабле.

«Неужели он не видит, что насос неправильно работает, в неполную силу тянет?»

— Бушуев, надо быть внимательнее на вахте. Прибавьте пару, подкачайте воздух, регулируйте давление,— приказал Балыкин.

Он выжидал и терпеливо следил за действиями подчиненного. Паузы в стуке поршней на минуту исчезли, но затем возник какой-то хлюпающий звук.

¹ Продолжение; см. «Знамя» № 1, 1945.

— Ну,— спросил Балыкин,— теперь лучше работает?

— Теперь лучше,— равнодушно повторил Бушуев.

Балыкин с сердцем отодвинул его в сторону и нагнулся над насосом; он пытался отрегулировать подкачку воздуха, но ничего не получалось. Хлюпающий звук возрастал.

Бушуев ухмыльнулся, услышав, что Балыкин по телефону вызывает командный пункт части, просит разрешения остановить насос и перейти на резервные средства.

Он получал практический урок, как вывести агрегат из строя, и эта мысль даже оживляла его. При вскрытии насоса он хлопотал больше, чем обычно, задавал вопросы и сам попросился ставить новые кольца. Балыкин умягчился:

— В другой раз слушайте звук. Как голос нарушится, вроде как спирает, прерывается, значит, надо лечить. А сейчас поршни у нас заговорают нормально.

Бушуев осторожно вставил:

— Хорошо что в начале вахты случилось, а то бы поход задержали.

— Из-за таких пустяков?— удивился Балыкин.— Водогрейные и паровые трубки на ходу глушим, так это...— Он пренебрежительно махнул рукой.— Однако стыдно. Надо, чтобы вахта была без происшествий. У меня давно происшествий не было на вахте, и надо работать так, чтобы предупредить их.

Когда запустили насос, в котельном восстановилась размеренная, скупая на движения и слова, работа ходовой вахты.

Миноносцы и эскортируемые суда, очевидно, уже вышли в открытое море. Слегка покачивало, и ощущалась равномерная дрожь корабля, быстро пробивающего себе путь в тяжелых массах воды! Горение теперь шло в шести форсунках, и во всех пламя было светлооранжевого цвета, означавшего, что воздуха поступает не мало, не много, а как раз столько, сколько нужно, чтобы над широкой трубой миноносца не появлялась шапка дыма. Стрелка манометра показывала, что пар держится на марке, в соответствии с заданным давлением. Но Балыкин не чувствовал себя спокойно. Полбеда принять вахту с неполадками в механизме, но две беды сдать вахту, когда нарушен нормальный ритм работы. Он то нагибался к форсунке, то прислушивался к звукам циркуляционной помпы, то проверял в ней охлаждение масла. Его томило предчувствие, что неблагополучно начавшаяся вахта еще принесет ему неприятности. И верно, когда он решил присесть, встревоженный краснофлотец позвал его к водомерному стеклу.

В котле был мазут. На прозрачной поверхности водомерного стекла поблескивала тонкая маслянистая пленка. Балыкин отвернул пробку, и струящаяся по трубке вода заиграла цветами радуги. Балыкин выругал себя за хвастливость: похорохорился — и накликал настоящее несчастье. Котел выведен из строя на много часов! Его надо основательно промыть. Его надо остановить. А если кораблю понадобятся в операции все котлы? Он пошел теперь к телефону гораздо медленнее, обдумывая напрашивавшееся решение и опровергая доводы, которые могли быть не в пользу его плана. Он еще постоял у аппарата, раздумывая, но, начав докладывать, уже был тем неутомимым, уверенным, изобретательным Балыкиным, которым гордился весь экипаж «Упорного».

Нельзя было не принять предложения Балыкина, позволявшего через два-три часа вернуть котел в строй. Бекренев, узнав о том, что берется сделать Балыкин, разрешил пока ввести третий котел.

В шахту спустили доски, а также наскоро сделанные марлевые сачки.

Балыкин уже успел снять крышку котла, и из отверстия поднимался тяжелый влажный жар. Изогнувшись, уйдя с головой вниз, он изловчился окунуть привязанную к палке кружку в тусклую зеркальную плену и зачерпнул коричневую жирную жидкость.

— Поторопитесь, товарищи, поторопитесь! — крикнул он.

Втаскивая доски и устраивая их над поверхностью воды, матросы шутили:

— Будем бабочек ловить!

— Сливки, теплые сливки снимать, — возразил машинист, позваивая ведром, в которое надо было выжимать мазут.

Оттого, что прекратилось гудение воздуха и движение механизмов, голоса звучали необычно гулко.

Бушуев не принимал участия в общем оживлении и опасливо поглядывал на котел. «А если с доски — да в воду? Сваришься сразу, как рак. Ишь, смеются! А небось, каждый думает, что другой полезет. Я шш за что...»

Но Балыкин просто сказал, что работать будет тяжело. Надо — по два сменяться. Первым полезет он, а с ним кто желает.

Он осмотрелся, и Бушуев, бывший ближе всех, почувствовал на себе поощряющий взгляд старшины.

— Пожалуй, я, — сказал Бушуев против воли, надеясь, что Балыкин не расслышит, что его перебеют другие голоса, что его отставят.

— Так, значит, надевай ватник, мажь лицо вазелином, — сказал старшина.

И Бушуев понял, что вовлечен в опасное дело и надо пройти испытание. Он утешался тем, что поднимет себя в глазах командования, заставит забыть об оплошности у нефтяного насоса, он получит благодарность, и строгий командир отделения будет его рекомендовать как преданного бойца.

Однако ноги Бушуева дрожали и колени подгибались, когда он вплотную подошел к котлу. Он сразу покрылся крупным обильным потом и отпрянул, как только нагнулся к горловине.

— Смелее, смелее! — крикнул уже устроившийся на досках Балыкин. — Смелее, Бушуев, нельзя время терять.

Судорожным усилием Бушуев перекинул тело, зажмурил глаза и с облегчением почувствовал, что его приняли крепкие руки командира.

— Становись, осматривайся, не поджимай ног.

Начали работать. Бушуев старался не отставать от Балыкина. Они черпали сачками воду и держали их на весу, чтобы стекла вода и осела тяжелая маслянистая жидкость. Потом они подносили сачки к ведром и выжимали марлю руками. Десятки раз повторялись эти движения, а в ведрах коричневый слой был еще на дне, и на поверхности котла не уменьшалась тусклая пленка мазута.

Глаза пощипывало от едких испарений, в носу невыносимо щеко-тало; Бушуев проклинал все на свете и своих далеких хозяев, которые могли бы выбрать для него не такую тяжелую службу.

А Балыкин находил обстановку удобной для воспитательного воздействия. Нынче же объявит Ковалеву, что Бушуев — парень, из которого будет толк. И он настойчиво внушал:

— Это тебе, товарищ, боевое крещение. Еще в топку слазишь, в коллектор — трубку глушить (оно, конечно, труднее) — и справный матрос. А это, товарищ Бушуев, приятно — получить полное уважение от экипажа, от командования.

«Как же, нуждаюсь я в вашем уважении. Я бы тебя пихнул с доски — бултых, и нет героя», — злобствовал про себя Бушуев.

Балыкин сказал, что они вылезут, набрав полные ведра мазута. Но как ни старался Бушуев, Балыкин уже передал свое ведро наверх, а у Бушуева и па три четверти не заполнилось. Балыкин стал помогать ему.

«Работа дураков любит», — подумал Бушуев и сказал:

— Ладно, товарищ старшина, сменяйтесь, я сам закончу.

Протестовал он, однако, не сильно, чтобы Балыкин не вздумал и впрямь оставить его одного. Через несколько минут, когда они оба вылезли, Бушуева раздражало от презрения к старшине: работает, когда может только командовать.

Почти шесть ведер мазута выбрали из котла, сохранив драгоценную на походе котельную пресную воду. Она уже не отсвечивала цветами радуги, и в трубке за водомерным стеклом глаз с трудом различал линию ее прозрачной поверхности. Вахта, задержанная происшествием на три часа, гурьбой отправилась мыться, переодеться и отдыхать.

Бушуев спал плохо. Ему мешал храп соседа, но больше всего ему мешали спать тревожные мысли.

Он вспоминал недавнее прошлое, перебирал в памяти фамилии немецких офицеров, представлял себе их лица, их обещания, все убийства, которые он совершал вместе с немцами.

Он вспоминал отца, матерого врага советского государства. Вспоминал, как удачливо складывалась жизнь в первые два года войны, как близок был он к осуществлению своей старой мечты о праздности и богатстве — все это обещали ему немцы, если будет усердно им служить... И это исполнится! Неужели немецкая сила уже истощилась и погибла?!

Перед ужином он хмуро подошел к переборке, на которой в аккуратной рамке был вывешен свежий «Боевой листок».

В двух заметках он прочел, что краснофлотец Бушуев добровольно вызвался первым на работу в раскаленном котле и что он же, Бушуев, отлично работал на срочном ремонте нефтяного насоса. «На флоте молодой краснофлотец хочет быть передовым бойцом, каким был на партизанском фронте против подлых врагов нашей Родины».

— Как же, держи карман шире... — прошептал Бушуев, отходя от «Боевого листка».

Ковалев перед выходом «Упорного» в конвойную операцию снова получил увольнение в Мурманск. Он не стал дожидаться, когда закрепят концы и положат сходни, торопливо прыгнул на пирс и пошел для сокращения пути к полевой почте через выгоревший квартал. На пусты-

рях, возникших после бомбежки и пожаров в первые месяцы войны, уже давно были протоптаны тропы, и движение на них раньше было людное, как в уцелевших центральных кварталах.

Ковалев ходил и сам, и с Лизой по этим тропам довольно часто и сейчас шагал уверенно, пока неожиданно не ткнулся в изгородь из железного хлама.

Он подумал, что, занятый своими мыслями, свернул нечаянно в сторону, и осмотрелся. Участок впереди на большое расстояние был занят под огороды. Между темнозелеными рядами капустной ботвы и белыми цветами картофеля торчали оголенные печные трубы, углы фундаментов, но груды кирпичца, железных балок и ржавых листов, которые осенью гремели под порывами ветра, нигде не было. А между тем он шел правильно. Справа был большой Дом моряков, к которому приставили леса, слева вниз сбегала дорога к вокзалу и рыбному порту, и на ней сновали грузовики. Только теперь Ковалев заметил, что по дорожке он шел один — мурманцы уже отвыкли шагать не по улице.

Досадно было, что из-за его невнимательности отдалилась встреча с Лизой, но, может быть, иначе он не заметил бы, что город быстро возрождается.

Да, война шла к концу. Над Мурманском уже год не появлялись немецкие самолеты, если не считать одиночки, сбросившего ночью бомбу на пруд.

Люди выходили из своих землянок, восстанавливали обрушенные стены, настилали потолки и полы, вставляли застекленные рамы. И жителей становилось заметно больше. Они приезжали с каждым поездом, везли обратно нехитрый скарб из Колы, Мончегорска, Кеми и Архангельска. Пора было подумать о том, как устраивать жизнь после войны, когда Лиза снимет морскую форму и перестанет сортировать почту, направляемую в части действующего флота. Она, конечно, вернется на учебу в техникум, а он?..

Трудно было ответить себе на такой вопрос. Он — женатый человек, и для Лизы не безразлично, чем он будет заниматься. Еще в прошлый приезд он хотел об этом говорить, но умолк. У Лизы сидела подружка, фитюлька, у которой язык работал скорострельно, и оплакивала судьбу девушек, выходящих замуж за моряков: мужья приходят будто в гости и покидают семьи снова на неизвестное время...

Лиза, правда, храбро посмеялась: «Видишь, какую я глупость сделала», но, может быть, она в душе согласна с этой болтушкой...

Недавно Андрей беседовал с братом-подводником. У них была крепкая дружба. Сначала они одинаково тосковали по привычной жизни в семье и работе в затоне, по всему укладу их верхневолжского городка. А на службе и в войне дружба братьев окрепла, потому что им по складу пришелся и размеренный порядок военного корабля, и, главное, полюбили ходить в море. Они оба были здоровые, мускулистые парни, выросшие на воде, и, когда товарищи кляли штормы и холод, у них рос азарт бойцов. Андрею нравилась его артиллерийская специальность. Она знакомила с законами физики, оптикой, а он был любознателен и понимал, что работа в башенной артиллерии на крейсере или линкоре еще занимательнее. Когда спустят на воду новые

корабли, его, разумеется, возьмут... Брат соглашался с этими планами, но самому Ивану были по душе подводные корабли.

Подходя к почте, Андрей твердо решил, что приведет Лизе неотразимые доводы в пользу военной службы.

Он поосторожился, услышав гудок машинны, но автомобиль вдруг остановился:

— Товарищ старшина, вы, что ж, не признаетесь?

Под насмешливым взглядом девушек, сидевших на тюках почты, Андрей полез в кузов и несмело посмотрел в зеленые сощуренные глаза Лизы.

— Я к тебе на почту шел.

А мы на бот сладим почту, и я буду свободна. У меня теперь половина комнаты есть, Андрюша. Даже дерево под окном.

Он кивал головой, продолжая смущаться, и плохо слышал Лизу, потому что машинна прыгала на булыжниках и в выбоинах, и тюки ездили с борта на борт.

— Бесхозяйственные вы,— сказал Андрей,— на корабле за такое всыпали бы.

Но девушки дружно ответили, что в их работе главное — скорость, и он не ввязался в спор, радуясь присутствию Лизы.

— Хорошо?— спросила Лиза, вводя его через барачный темный коридор в побеленную комнату с цветами в банках, занавесками на окнах, с аккуратно застеленными кроватями и с полочкой книг над столом.

— Хорошо,— одобрил Андрей и подошел к окну.

Хилое северное дерево под окном Лизы напомнило Андрею о комнатке сестры Машеньки в далеком доме. У нее под окном росла яблоня. И, может быть, только яблоня эта уцелела... Он помрачнел и, вздохнув, погладил вымазанную штемпельной краской руку жены. А Лиза посмотрела на него и прижалась головой к плечу.

— Так и знала, что тебе будет грустно в домашней обстановке. Уж лучше бы я оставалась в общезитии.

— Что ж, привыкать надо...

Они не называли вслух мать Ковалевых и Машу; Лизе и без слов все было понятно. Она помнила рассказ Андрея, как загубили немцы семью, угнали мать и сестру на каторгу, отступая из городка.

— А ты опять Ваню не привез? Не хочешь братишка знакомиться?— спросила Лиза.

— Не пришлось увидеться. Мы от их базы далеко.

— Может быть, он в поход ушел?

— Не должно быть. Нет. В другой раз обязательно с ним явимся. Очень парень скучает.

— А ты... со мной скучаешь?

Ковалев продолжал гладить ее руки и скупно улыбнулся. Возникшее сейчас воспоминание было еще близко.

Лиза поняла Андрея и попросила:

-- Посиди лицом к окну, я переоденусь.

Андрей слушал шелест юбок, стук солдатских сапог, сброшенных с пог. Лиза преображалась в женщину, какой она всегда будет после войны...

Она обняла руками его голову.

— Я в прошлый раз заметила, что тебя напугать легко. Скажи, ты подумал, что я захочу... Нет, когда говорили о женах моряков, то подумал, что мне не хочется быть женой моряка?

— Ну, не совсем, но...

— Думал, думал.— Она обдернула его воротник, расправила ладонью.— Человек должен делать то, что он любит, иначе он становится злым. Я из всех твоих рассказов давно поняла, что Ковалевы моряками останутся.

— Лизанька! А я тебя убеждать хотел.

— Ну, конечно, Андриюшенька, политзанятие надо провести со мною о значении флота?!

В самом хорошем настроении вернулся Ковалев на «Упорный» и еще больше обрадовался, когда корабль перед операцией перешел к причалу рядом с базой подплава. Он мог пойти к брату.

На пирсе подплава в группе моряков возвышался Федор Сныльч Петрушенко. Андрей Ковалев направился к нему, но пришлось несколько минут дожидаться, так как Федор Сныльч ругался с инженерами и интендантами и вокруг него была та напряженная страда, которая всегда предшествует сборам подводной лодки в автономную боевую операцию. По рельсам узкоколейки катились тележки с боезапасом, стучал мотор электрической лебедки, и концы талей раскачивались над палубой корабля.

Официально Федор Сныльч сдал корабль помощнику и мог не присутствовать на приемке артбоезапаса, торпед и мин. Но с самого утра его грузная фигура появлялась на пирсе, маячила у открытых люков: он провожал спуск в лодку каждого снаряда и с пристрастием допрашивал, выверены ли приборы Обри, делались ли испытания торпедных механизмов, проверено ли приготовление мин. Он наблюдал, как подхваченные стропами, блестящие от смазки, торпеды скрывались в аппаратах, как вкатывались минные тележки в трубы, а снарядами заполнялись лотки; в погребе осматривал ряды осветительных, фугасных, бронебойных снарядов.

В трех последних походах мин на лодку не брали, и поэтому все догадывались, в чем главная задача похода. Бывалые подводники с уверенностью определяли, что лодке предстоит форсировать заграждения противника и поставить минные банки на фарватерах военно-морской базы немцев. Все знали, что это задача сложная, что она опаснее торпедной атаки в открытом море, что риск слепого движения в заставленных минами узкостях велик. И все же никто не смущался. На войне как на войне.

Екнет у кого-нибудь сердце, стеснит тяжкая мысль о смерти, которая может внезапно обрушиться на лодку, защемит тоска, что в таком случае даже не узнает никто, где и как погиб отважный экипаж. Но ни словом, ни жестом не выдаст себя подводник. Либо упорнее возьмется за дело, либо шуткой вызовет у товарищей смех, от которого самому становится легко. Э, да и как беспокоиться, если Сныльч будет с ними! Сныльч, который хитрее самого хитрого противника.

— Ко мне?— спросил Петрушенко, заметив старшину с ленточкой «Упорного» и припоминая, почему его лицо кажется знакомым.

Ковалев объяснил, зачем пришел. Федор Сныльч тепло сказал:

— Похож, похож на брата. Конечно, передайте дежурному, что я разрешаю.

От Федора Силыча не ускользнуло, что минер Иван Ковалев в последние дни был чем-то подавлен. Иван Ковалев работал, как всегда, внимательно, дельно и даже опускался в легководолазном костюме за борт проверять крышки минных труб. Но в работе вдруг к чему-то прислушивался, и губы у него вздрагивали. Раза два он поглядывал на командира, точно хотел обратиться с вопросом, но не решался. В обеденный перерыв Федор Силыч услышал голос Ковалева, просившего штурмана показать ему на карте один островок. Почему ему понадобился этот островок?

— Расстроен что-то ваш брат, Ковалев. Нехорошо перед походом. Узнайте, в чем дело, и, если что серьезное, скажите мне. Он хороший моряк, ваш брат, и смелый боец.

Иван молча повел брата в конец пирса. Был отлив, и почерневшие влажные бревна поднимались высоко над водою. Иван сел на дощатый настил, спустил ноги и протянул Андрею листок.

— От Маши,— сказал он с трудом и смахнул слезу.

Чайки с криками поднимались у их ног, кружились и падали на волну. Белое и черное оперение их было строго, траурно и жаловались они высокими голосами. «Будто оплакивают Машу,— подумал Андрей, и рука со скорбным листком упала на колено.— Радоваться надо, жива сестренка. А что же нет радости? Жутко, жутко».

Ветер рванул письмо, и оно затрепетало в пальцах Андрея Ковалева. Он перечитал короткие торжливые строчки. О матери ничего не знает. С нею разлучили еще на русской земле. Повезли вместе с большой партией девушек через Германию. Второй год она и Нюра Шаповалова на кагорге, остальные померли. Седая совсем стала...

Как путешествовало это письмо, доверенное смелому сердцу норвежского патриота?! Как колесило оно по Европе, на каких морях и землях побывало, прежде чем попало на родину?!

Чайки не уходили, стонали, жаловались, кувыркались над водой, раскрывая хищные клювы.

— Посмотрел я на карте этот остров. Недалеко,— сказал Иван.

— А хоть бы и далеко. Отовсюду их выкурим.

— Так она ж не доживет!

— Она? Если писать решила — доживет. Не сломится.

— Может быть, я возле того острова пять раз ходил, а что толку! Рядом томится сестренка, Андриуша, рядом! Разрешили бы мне — вплавать до лагеря добрался бы!

— Ваня,— попросил Ковалев,— не мучай себя, Ваня. Воевать надо с холодной головой.— Он поднялся на ноги.— Пойдем отсюда, душу выворачивают чайки.

Иван, продолжая сидеть, зло отозвался:

— Не болит у тебя сердце за Машу, чужой девушке отдал. А она... она...

И заплакал.

Ковалев, беспомощно повторяя: «Ваня, Ванюша»,— обнял брата за плечи, но слышал шаги и обернулся.

— В чем беда?— тихо спросил Петрушенко и взял протянутое Ковалевым письмо.

— Вот оно что,— сказал Петрушенко, сложил и отдал письмо Андрею. В светлых глазах его появился жесткий блеск. — Иван Артемьич, что же ты ко мне не пришел? Я бы тебе таксе тайное слово шепнул, что у тебя злость вместо тоски выиграла бы. Слышишь, Иван Артемьич.— Он легонько оттолкнул Андрея, грузно опустился рядом с плачущим, потрепал его по плечу широкой ладонью.

— Можно и мужчине поплакать. Это ничего, если не размокнешь.

— Извините, товарищ командир,— пробормотал Иван.— Нет такого тайного слова, чтобы выручить Машу.

— Есть. Всех выручит, Ковалев, победа. Но когда о победе, о будущем освобождении сестра будет знать, легче ей будет? А разумеется, гляди, пишет: «Если бы только знать, что с проклятыми немцами скоро расправятся». Мы, Ковалев, такую весть дадим, на этих днях... Понимаешь? Больше сказал, чем можно. И вы, старшина, ничего не слышали. Ясно?

— Понятно, товарищ капитан второго ранга.

Иван все еще сидел неподвижно, но плечи его перестали вздрагивать. Он вдруг протянул не своим, недобрый голосом, представляя себе, как враг взрывается на минах:

— Фонтан на сто метров вверх, а гул на десять миль кругом.

— То-то!— поддержал Петрушенко.

Они медленно возвратились к кораблю, возле которого продолжалась кипучая работа, Петрушенко теперь заговорил с Андреем Ковалевым о его службе. Он делал это намеренно, чтобы дать Ивану время справиться с горем.

18

Шли вторые сутки плавания на «Упорном», а вахтенный журнал заполнялся лишь короткими определениями места. Стояла ясная и безветренная летняя погода, но самолетов противника не было, и подводные лодки тоже не тревожили конвоя.

Экипаж облетела весть, что миноносцы на несколько дней зайдут в Архангельск, и эту новость оживленно обсуждали в кают-компании и в кубриках.

Мысль о городе, где существуют прочный уклад жизни, почти забытый уют семейных домов и милые девушки, вызывала у молодежи праздничное настроение.

Боцман Кийко воспользовался этим, чтобы сверх нормы рабочих часов заново произвести покраску на верхней палубе — подтеки от соленых брызг и влажного дыма нарушали красоту боевого корабля. Боцман получил от Игнатова на все свои требования «добро», но остался недоволен. К окраске миноносца, как и ко всем боцманским работам, помощник командира должен относиться с энтузиазмом, входя во все детали. Так привык Кийко за свою многолетнюю службу, и так велось до сих пор на «Упорном». Когда помощником вместо Бекренева стал Игнатов, он порадовал боцмана своей придирчивостью, настойчивостью и детальным щегольским знанием морской практики. Еще до выхода в море Игнатов распек Кийко за то, что номер шлюпки был намалеван не

на месте. Кийко пытался возражать, ссылаясь на устаревший учебник морской практики, но Игнатов решительно оборвал его: «Мичман, кто вас учил рассуждать, когда отдаются приказанья? Скомандю прыгать в воду, и ваше дело только спросить: «С какого борта?»»

Кийко окончательно полюбил Игнатова после этого заявления. Он увидел в молодом человеке моряка и командира военной школы. Он заранее смаковал удовольствие обсудить с помощником детали покраски. Но Игнатов, слушая доклад боцмана, смотрел в бумагу и продолжал что-то торопливо черкать, отделяваясь общими указаниями. Конечно, Кийко мог обойтись совсем без инструкций старпома, но в отсутствии их был обидный беспорядок. Равнодушие зрителя убивает вдохновение артиста, а Кийко был артистом службы и выходил из себя, когда не ощущал ее слаженного сурового лада.

Он юхобдил ют, и его свисающие усы сердито шевелились. Обежав вокруг четвертого орудия, боцман сказал:

— После двенадцати приступите к окраске, Ковалев. Материал получили?

— А почему не завтра утром? Разъест до порта,— сказал Андрей.

— Завтра подновите, если понадобится. Весь ют портите своим видом. Артиллеристы! Стыдно вам должно быть, что без напоминания не взялись. Смотрите, как порьжелала звезда. Разве узнают архангельцы, что это красноезвездное орудие?!

— Хорошо,— покорно сказал Ковалев,— пообедаем и приступим.

Андрей Ковалев отвечал Кийко так же безразлично, как Игнатов, и боцман отнес это тоже на счет помощника. Ведь он задал тон. Если бы Игнатов прошел с Кийко по заведываниям и напутствовал старшин, все было бы иначе. Уже сбили бы лупившуюся краску, клали бы подгрунтовку и любо было бы смотреть на движения широких кистей, изпод которых выступает свежая, будто новая кожа корабля.

«Мечтает!»— вознегодовал боцман, оглянувшись и увидев, что старшина стоит без дела и разглядывает пенистый след корабля.

Ковалев не мечтал. Он думал о брате, о сестре. Неотступно вторые сутки беспокоила его их судьба. И чем дальше уходил миноносец ют базы, тем тяжелее становилось у Андрея на сердце. Он повторял себе упреки, которые слышал от брата, и с часу на час они казались ему справедливее. Даже настоящих слов не нашел для Ивана, а вот капитан второго ранга Петрушенко нашел...

Прибежав тогда от брата, Андрей занялся швартовыми работами и даже глазами не поискал Ивана на пирсе подводных лодок, когда миноносец проходил мимо к выходу из гавани... Не послал брату привета и пожеланий успеха... Словно сбежал в это плавание от брата-мстителя. Иван отправится не сегодня— завтра топить врагов. И, может быть, не вернется... Иван будет ставить мины в водах врага, на виду острова, где мучается сестра. А он будет окрашивать свое орудие и выводить над стволом звезду в знак прежних побед.

Ковалев давно знал, что все корабельные традиционные обязанности усиливают боевую мощь корабельного оружия. Он всегда презирал разговоры о том, что миноносцы мало воюют. Он знал, что копвоирование своих и союзных кораблей относилось к числу серьезных морских операций и победы на коммуникациях были не менее важны, чем другие по-

беды. Но сейчас ему было тяжело мириться с будничными обязанностями.

За обедом Андрей услышал шумные разговоры в группе старшин вокруг Колтакова. Рулевой показывал карточку своей жены и звал товарищей отпраздновать рождение сына. Склонясь над тарелкой, Андрей думал: «Мы с Колтаковым одного сорта. Только Колтаков стремится к жене в Архангельск, а я — в Мурманск...»

Расчет Ковалева загрунтовывал ствол, и замочный, балагуря, начал накладывать шаровую краску, когда на юте появился Долганов.

Николай Ильич с утра воспользовался отдыхом от службы для своей проектной работы, порядком запущенной в последние недели в связи с приездом Наташи и новыми обязанностями комдива. После нескольких часов занятий за рабочим столом он испытал то ни с чем не сравнимое удовлетворение, которое дает выполненный труд. Работа сдвинулась с мертвой точки. Притом, сегодня он рассчитал, что его миноносец выдержит увеличение артиллерийского вооружения и, таким образом, сможет по огню противостоять любому лидеру.

Николай Ильич приветливо поздоровался с бойцами.

— Приятно, Ковалев, крашивать звезду. А? — И так как Ковалев молчал, он добавил: — Да еще чтобы в кружке была новая цифра.

Краснофлотцы перестали красить и ждали слов своего командира. Молчать становилось неловко, и Андрей ответил, глядя в сторону:

— Так точно, товарищ капитан второго ранга. Готовы стрелять метко.

В его словах невольно прозвучала горечь, и это не ускользнуло от внимательного слуха Долганова.

— Продолжайте работать, — сказал он, перейдя на левый борт, и добавил: — Пойдемте со мною, Ковалев.

Миноносец кренился на крутом повороте, но Долганов не останавливался: у него была твердая походка моряка, привыкшего к скользкой палубе миноносца. И все, кто был на палубе, приветствовали комдива и провожали Ковалева сочувственными взглядами. Очень многих вот так же уводил к себе на исповедь капитан второго ранга, когда командовал кораблем... Ковалев не замечал этих взглядов. Он готовился к предстоящему разговору, потому что ясно было — командир разобрал в его ответе больше, чем он хотел сказать, и теперь не укроешься.

« Попрошу, чтоб меня откомандировали на подплав или на тральщики. Нет, обязательно в подплав, на действующую подлодку », — решил Ковалев, подымаясь по трапу в каюту комдива. Но разговор начался не сразу. Долганов скрылся за портьерой и оттуда скомандовал:

— Садитесь, Ковалев. Берите со стола папиросу. Сейчас приду к вам. — Он полоскался над умывальником, с наслаждением фыркат и фальшиво напевал песенку о бароне фон Пшпик, а Ковалев тем временем рассматривал чертеж, изображавший миноносец. Его привлекали прежде всего орудия, попарно размещенные в башнях. « Нравится? » — спросил за его спиной Николай Ильич, и Ковалев встретился с его несколько насмешливыми, но добрыми глазами.

— Легкий крейсер? Сильный получается корабль.

— Не совсем крейсер. Но по дальности района действий переключает « Упорный » в четыре раза. Значит, крейсерские операции выполнять сможет. Имейте в виду — корпус никакой броней не отяжелен, скорость сохранена, а водонемещение только на двести тонн больше.

Долганов объяснял Ковалеву, как равному, знающему моряку, раскачивая новые чертежи и скручивая просмотренные. Потом он откинулся в кресле и набил трубку.

— А без нашего опыта в плаваниях ни за что бы не определить, Ковалев, какой миноносец нужен на Севере. С моим миноносцем можно громить немца дальше Тромсе и Нарвика. Но вас эта перспектива не устраивает, как я понимаю. Хочется убивать немца сегодня, сейчас? С «Упорного»?

— Или уйти туда, где его убивают.

Долганов кивнул головой.

— Я это понял, Ковалев, еще на палубе. Но не хотел беседовать при ваших подчиненных. Что случилось? В сорок втором году, когда мы перестали списывать с миноносцев в пехоту, вы были одним из лучших наших агитаторов. Вы умели доказать, что флот без штыка и снайперской пули тоже бьет немца. Что произошло сейчас?

Ковалев потупился:

— Я не думаю, что флот воюет мало. Ну, а наше соединение — действительно... Изредка топим подводные лодки, порою уничтожаем самолеты. И все.

— Не всё, Ковалев. Вы же хорошо знаете, что без нашего конвоя много транспортов лежало бы на дне Баренцова моря. Страна теряла бы грузы, которые нужны Красной Армии, нужны стране... Что у вас произошло? Лично у вас? — настойчиво повторил Долганов.

И Ковалев должен был рассказать о брате, о письме сестры из немецкого плена, о том, что сказал Ковалеву Федор Силыч Петрушенко и, наконец, о словах брата Ивана.

Долганов слушал, расхаживая по каюте и изредка глядя в иллюминаторы. Он помогал Ковалеву вопросам, когда Андрей останавливался, и даже подсказывал, когда Андрей замолкал в замешательстве. Потом Николай Ильич вытащил из-под стекла на столе карточку Наташи и положил перед Андреем.

— Вы видели мою жену, Ковалев. Она тоже хлебнула горя в немецкой оккупации. Поверьте, я страдал, как вы, как ваш брат, и также хотел немедленного прямого дела.

Андрей сам говорил брату, что надо воевать с холодной головой, но теперь у него вырвалось нетерпеливое восклицание.

— Подождите, Ковалев. Вы же не в тылу, — продолжал Николай Ильич. — Почему вы забыли о своем мастерском зале, на котором мы учили артиллеристов флота? Сколько ваших учеников мы поставили старшими специалистами на новые корабли?

Ковалев упирался локтями в колени и безостановочно вертел свою бескозырку. Самого главного не говорил командир, да и не мог он просто объявить, как объявил Петрушенко: «Пойдем в море, и ваша сестра услышит наши залпы».

Николай Ильич почувствовал, что старшина остался не убежденным.

— Будете подавать рапорт, Ковалев?

— Да, товарищ капитан второго ранга.

— Спишу вас только на крейсер или линкор.

Ковалев поднял голову и привстал:

— Почему, товарищ командир дивизиона?

— А потому, что флоту нужна полная ваша сила артиллериста, а на малых кораблях вам некуда ее девать,— спокойно пояснил Николай Ильич.

Андрей вздохнул и вытянулся:

— Разрешите идти.

— Идите, Ковалев, и подумайте, что получится, если мы гуртом побежим с больших кораблей на катера и подводные лодки.

Он рассердился на себя за то, что не нашел дороги к сердцу старшины. Очевидно, нужны были какие-то совсем другие слова. К чему, например, он разговорился о своем творчестве? Зачем расхвастался перед человеком, у которого такое горе?

Он сбрасывал в ящик стола чертежи и тетрадки, будто они жгли его руки, и недовольно откликнулся на стук в дверь, но обрадовался, увидев ладную фигуру Игнатова. С жизнерадостным старпомом он всегда ощущал себя более молодым.

— С чем пожаловал, Петр Алексеевич, бомбардир?

— По личному вопросу, товарищ капитан второго ранга. Сочинял несколько часов рапорт, извел бумагу и решил с вами объясниться устно.

Николай Ильич насторожился:

— В отпуск захотел?

— Нет, не в отпуск. Хочу, чтобы вы помогли мне списаться с корабля.

Николай Ильич раздраженно повторил:

— Списаться? Только что став помощником? Не ожидал, Игнатов!

— Да мне, и самому не ловко. Но судите сами. Когда меня после болезни направили на миноносец, я возражать не мог. Катеров было мало, а жить на базе в резерве — скука. А теперь положение совершенно другое. В прошлое воскресенье повидал я новый катер... Игрушка! Птица! Маневрен. Мореходен. В дозоре сутки может ходить. Средства связи — удивительные. Аж плакать захотелось, что я, катерник, со стороны должен глядеть. Ну, прокатили меня до бригады. Там этих игрушек — десятки. И еще лучше того, на котором плыл. Я дорвался, пустили к штурвалу. Повинуется чудесно, за самолетом угонится. Словом, комбриг меня запрашивает через офицерский отдел, предлагает отряд.

— Понимаю, вы за моей спиной сговорились.

— Сговорился. Виноват, товарищ капитан второго ранга. Знаете, на каких кораблях начнешь служить, такие полюбишь на всю жизнь.

— Не деликатничайте, Игнатов. Ни при чем тут первая любовь. Попросту вы считаете, что миноносцы воюют мало. Не дорвались до торпедного зала на «Упорном», а на катерах возможности широкше... Так?

— И это тоже,— покорно подтвердил Игнатов.

— Чорт вас подери, сговорились вы сегодня, что ли? Один раз я уже отказал. Категорически отказал. Пять минут назад.

— Товарищ капитан второго ранга! — взмолился Игнатов. — Если вы будете против, я пропал. Контр-адмирал откажет.

— Конечно, откажет...

— Ах, если бы вы увидели эти катера! О них песни надо склады-

вать. Даже моторы, когда их заведут, призывают в атаку. Такая музыка... Вы бы тоже проснулись, если бы...

— Если бы был моложе. Ясно, Игнатов. Нет, я от школьной скамьи миноносник, штурман, командир корабля; отсюда мне одна дорога — в старости на берег, передавать свой опыт молодежи в училище. Но глядите — не продешевите миноносцы. Будет и на нашей улице праздник. Когда эскадра, взаимодействуя с наступающей Красной Армией, пойдет на запад, вы нам позавидуете. Честное слово, позавидуете.

К этому взрыву надежд Игнатов остался равнодушным, но ухватился за последние слова, в которых уловит косвенное обещание.

— Значит, вы отпустите меня, товарищ капитан второго ранга, когда вернемся в базу?

Николай Ильич невольно рассмеялся:

— Вам только это важно. Остальное пропускаете. Добро, Игнатов, при одном условии: вы должны заслужить звание Героя Советского Союза. В этом году. И никого больше с миноносцев не тащите. Для вас делается исключение как для бывшего катерника. Понятно?

Игнатов широко заулыбался и поклялся, что не будет никого сманивать, хотя одного-другого торпедиста, конечно, охотно забрал бы. А что касается звания Героя, то на таких кораблях просто заработать славу. Можно идти к Маккауру, а в Варангер-фиорде до самого Киркенеса катерники — полные хозяева. Каких они натворили занятных дел! Даже взяли в плен вооруженный почтовый мотобот немцев, высаживают диверсионно-разведывательные партии в Норвегии и дают залпы у входа в Петсауме-нуво и Бекфьорд. И немцы не могут препятствовать дерзким ударам! Ни береговая артиллерия, ни сильные эскорты, ни воздушные прикрытия не спасают их кораблей. А теперь пошла полоса юмбинированных операций с авиацией. Адмирал поощряет всякое новшество в тактике и увеличивает число одновременно действующих катеров.

— Старик Макаров порадовался бы, Николай Ильич. Он прозревал появление такого оружия, предвосхитил его тактику.

— Старик Макаров был и отцом миноносцев, Игнатов. У Макарова на Северном флоте есть продолжатели, вот что главное. Наш адмирал знает, где, когда и как использовать все роды оружия. И это меня утешает. Адмирал даст активное дело и нам. Раз он сказал мне, что я поведу корабль в набеговую операцию, значит, она состоится. Раз он начал комбинированные операции, значит, включит в них и миноносцы. — Долганов побарабанил пальцами по столу, взглянул на часы. — Заспелось. Пора на мостик... Скоро должен быть Мудьюг.

Игнатов радостно потер руки.

— А мне и в голову не приходило, что катера можно поддерживать большими кораблями. Это должно здорово получиться.

Николай Ильич пропустил Игнатова вперед и в дверях уже сказал с шуточным возмущением:

— Никогда не думали, а скоропалительно отвели миноносцам роль обеспечения. Разве не может быть более сложного взаимодействия? Удар одной группой крупных кораблей и рокировка за фланг второй, хотя бы из катеров. Да и всякие другие варианты... Всякие другие варианты... — повторил он задумчиво, вдруг поняв, что случайно наталки-

важется на важное открытие: катеры в роли дымзавесчиков, авиация прикрытия над кораблями — и набег можно делать полярным днем, не дожидаясь далекой еще ночи.

Он охотно сбежал бы сейчас в каюту и сделал бы расчет на бумаге, но невысокий яр мыса Керец уже остался за кормою. Обрыв освещало низкое солнце, и в косых лучах багровели на горизонте дальние леса. Надо было последить за управлением Бекренева, который в первый раз самостоятельно вел «Упорный» в Двину. Надо было дать распоряжение по конвою — транспортам брать лоцманов и следовать вперед, прочим кораблям эскорта итти в Молотовск.

Николай Ильич диктовал приказания кораблям и слушал ответные донесения. Он проверял, не путает ли штурман мудьюгские створные башни с памятником жертвам интервенции; замечал, что рулевого вовремя сменил опытный Колтаков, что к востоку остались черные баканы с печетными номерами и белые веки с черными голиками раструбом вниз и что, следовательно, корабль идет правильно; его морской глаз улавливал еще много других, мелких и значительных признаков налаженности службы. Но «всякие другие варианты» не выветривались из памяти, и мысль возвращалась к ним.

19

По надводному расписанию в походе Иван Ковалев был наблюдающим и заступал на вахту, как только корабль всплывал для зарядки электрических батарей.

Мирная тишина подводного плавания задолго до всплытия нарушалась нетерпеливыми курильщиками. Они заготавливали крученки и часто посматривали в пустующий дизельный отсек: мотористы еще лежали на койках с книгами или резались в козла. Потом лодка всплывала на перископную глубину. Это становилось ясно и без показаний глубиномера, потому что корабль покачивался с борта на борт и незакрепленные предметы начинали шевелиться, а струны мандолины на койке электрика Маркелова неожиданно звенели.

Иван вышел в центральный пост. Колонка перископа с мягким шорохом скользила вверх, молодой командир быстро цеплялся за рукоятки и, пригнувшись к окулярам, обегал взглядом всю окружность горизонта. Иван стоял рядом с Федором Силычем, который с виду был безучастен и напевал «Тихо и плавно качаясь», а на деле внимательно ко всему прислушивался и приглядывался.

Наконец командир корабля обращался к Петрушенко:

— Я думаю всплывать.

Так он выполнял долг вежливости перед старшим, опытным офицером, своим командиром до этого похода.

Федор Силыч прерывал пение, тоже пригнулся к окуляторам и в тот момент, когда колонка перископа снова уходила с цокающим звуком вниз, утвердительно говорил:

— Всплывайте...

Стрелка манометра поднималась к нулю. Сразу нарушали тишину удары стремительно выброшенной баластной воды, журчанье струи вдоль корпуса, тонкие высокие звуки от меняющегося давления, шум

попи и стук моторов. Глотнув опьяняющего свежего воздуха, жмуря глаза от резкого дневного света, падавшего через горловину люка, Иван торопился по трапу вслед за командиром. Еще держалась крупная капель на крыше люка, еще стекали ручейки с решетчатой палубы, еще козырек мостика и тумба перископа блестили от влаги — и прикосновение к прохладной стали было прекрасно. Море, бескрайнее, выпуклое, празднично сверкало под горячими лучами низко плывущего солнца. Палуба быстро обсыхала, размеренно стучали дизеля, вода лизала борта, и все вместе ублаживало...

Но на зюйд-весте туманной полоской простиралась гранитная кряж. Оттуда прислушивался, всматривался в море настороженный враг. Оттуда поднимались клубящиеся облака и заволакивали небо белесыми рваными полосами. Надо было пристально смотреть в просвет между тучами. Черная точка, по ошибке принятая за птицу, через мгновение могла превратиться в самолет.

Иван боялся препятствий на пути корабля к норвежскому берегу. Руки его холодели при мысли, что произойдут какие-то дурные события. С особой зоркостью он наблюдал за воздухом и поверхностью моря.

Ивану Ковалеву сочувствовали его товарищи. На коротком сборе экипажа, перед тем как снялись со швартовов, Федор Силыч, рассказав о задаче похода, прочитал бойцам письмо Машин Ковалевой. Теперь норвежское побережье никому на корабле не представлялось обычной позицией в морской войне. Гвардейцы шли туда громить тюремщиков, донести гул мощных взрывов до стен тюрьмы, где томилась родная люди.

В «Боевом листке» поместили наивное и пылкое обращение в стихах к «Девушке Маше». Маркелов, самый молодой краснофлотец на лодке, обещал отдать свою жизнь за свободу Машин; ей посвятили первый торпедный удар, и даже штурман обещал отметить на карте будущую минную банку не номером, а именем Машин.

К узкому устью фиорда корабль подошел в сетке дождя, на свежей волне, разведенной шквальными ветрами.

Иван Ковалев ждал — лодка погрузится, и его призовут к минным трубам начинать постановку мин. Но Федор Силыч и командир после погружения потребовали домию и стучали косточками, как будто у них не было другого занятия до конца суток. И оказалось, что предстоит длительное изучение фарватеров, которыми ходит противник, выяснение всех изменений в навигационной обстановке, какие могли произойти за то время, когда сюда не наведывались советские подводные лодки. Одним словом, дело заключалось в основательной разведке на себя.

Иван стоял на вахте, когда на его хмуром лице остановились пронизательные глаза Федора Силыча.

Что, Иван Артемьич, не терпится? Терпи, матрос, злее будешь. Не к тетке в гости пришли. Для спектакля нужен режиссерский замысел.

— Я понимаю, — ответил Иван и тщательно протер замшей стекла бинокля.

Федор Силыч и командир проводили у перископа многие часы,

детально изучая район. Следя за ботами и вспомогательными кораблями, шмыгавшими в залив и из залива, они вычертили два фарватера и отыскали входные створы в порт. На карту были внесены прожекторная и артиллерийская батареи, разгаданы по движению кораблей несколько сообщений немецких береговых постов.

Федор Силыч не вмешивался, когда для продолжения разведки требовалось рискованное сближение с постами и дозорами немцев. Но бывший помощник его и сам маневрировал дерзко и смело, в духе своего учителя.

На пятый день позиционной жизни Федор Силыч, занимавший теперь каюту помощника, отдернул портьеру в каюту командира и сел на койку.

— Лежи, лежи,— проговорил он.— Я по небольшому делу... Пожалуй, можно приступить к работе.

— Угу,— сказал командир.— Только, Федор Силыч, хочется предварительно как следует зарядиться. Мало ли что... Миль на двадцать уйти, побегать.

— Обязательно.— Федор Силыч помолчал и зевнул.— Так, значит, решено. Схожу в четвертый отсек, если что — покличь.

Он застал в отсеке оживленный спор: можно ли до минной постановки открывать себя торпедной атакой или нельзя?

— Почему ж, Ковалев?— спросил Петрушенко, разобравшись, что решительным сторонником отказа от торпедной атаки является Иван.

— А если под глубинками заклинятся крышки минных труб?

— Вот оно что,— засмеялся Федор Силыч.— Ты вроде автономной единицы или, прямо сказать, из отрубного хозяйства. Теперь электрики скажут — смотрите, как бы нам не разлили электролит. Комендоръ предупредят, что боятся за артиллерийский погреб. Как тогда воевать?

Иван покраснел, все, кто поддерживал его, смущенно улынулись.

— Ну, не беспокойся, Иван Артемьич, сегодня в ночь мины поставим и как раз там, где твоей душе приятно.

— А потом?— спросили разом несколько голосов.

— А потом будет хитрое дело. Но как его надумал командир корабля, пускай сам рассказывает...

20

— Левая!— в последний раз, нараспев, командовал офицер и посмотрел на секундомер. В чуть слышное цоканье переключаемых рулей вошел глухой всплеск. Мина встала на место. В минном посту было прохладно и сыро, но Ивану после напряженных рабочих минут казалось, что воздух совсем парной, и он расстегнул ворот бушлата.

— Поглядеть бы, кто ткнется в забор,— пробормотал он, почти про себя.

Но Федор Силыч услышал и подхватил:

— Не увидим, так услышим. Еще догуляем, Ковалев.

Лодка медленно и бесшумно удалялась. Командир поднял перископ и довольно крикнул — ни одна из мин не всплыла на поверхность. Шаровые тела мин будут покачиваться на минрепах, как чудовищные плоды подводной флоры на длинных и прямых стеблях.

— Хотите взглянуть, Федор Силыч?— спросил командир.

— Вы Ковалева пустите. Пусть запомнит это место.

— Идите, Ковалев.

Иван припик к окулярам. Вода, подернутая рябью, сверкала в солнечных блестках. Справа, выше делений на стекле — каменный берег, крыши домов поселка, избегающего на гору. Дымится высокая труба. Длинное темное здание, может быть, казарма, может быть, рыбный склад...

Перископ с мягким звуком пошел вниз, и Иван забрался на койку. Он лежал на спине, упираясь в колено воздушной магистры, закрыв глаза. Воображение приближало пейзаж островка: открывался причал в рыбьей чешуе с пирамидой бочонков, с рельсами, по которым женщины катят вагонетки. Потускневшие волосы выбились из-под платков. Немец грозит... Все выделось отчетливо, как будто он был рядом. Только Машу не мог себе представить.

Маркелов, тихо наигрывая какую-то печальную мелодию, сказал:

— Знаешь, Ковалев, если так сделать... В дождь с туманом. Надели маски, задраились в рубке, пустили воду... потом вышли наверх... осторожно на берег...

— Одного часового задушили, другого заставили вести в лагерь и так далее,— сердито перебил Иван.— Вздор всё это. Спать надо.

Маркелов обиженно вздохнул, дернул струны:

— И вовсе не так... вполне возможное дело...

Ковалев долго еще раздумывал о сестре. Уже пора было вставать, когда он действительно задремал.

Его разбудил Маркелов. В отсек внесли дымящуюся кастрюлю кофе, тарелки с нежно-розовой ветчиной и желтым сибирским маслом.

Иван тщательно помылся и, освеженный водой, ощущал во рту мягкий привкус зубной пасты, впервые за прошедшие часы осознал, что свою задачу в походе выполнил без сучка и задоринки. Мины, на приготовление которых ушло столько времени в базе, гладко вышли из труб и теперь подкарауливают немецкие корабли.

— Ну-ну, кружку побольше — за работу,— сказал он с той живостью в голосе, от которой уже сам отвык, и нацепил на вилку ломоть ветчины.

— За успех мы чарочками чокнемся,— возразил старшина мотористов,— а к водочке гуси жарятся, праздник будет отмененный. Маркелов, ты смотри, стихами тост напиши, иначе на клотик отправим чай пить.

Маркелов пренебрежительно ответил:

— Что-нибудь новое придумать трудно, так вспоминаются анекдоты с бородой!

— Человек неделю в море, можно сказать, просолился, а вы его за молодого считаете,— лукаво заступился Иван.

В ошеломляющем грохоте и скрежете утонул смех. Толчок подбросил лодку и с дифферентом на нос накренил влево. Погас свет. Кружки с кофе покатались по дыбом вставшему столу. Какие-то предметы срывались с креплений и вместе с верхними койками сыпались на краснофлотцев. От толчка Ковалев опрокинулся навзничь, кто-то барахтался на нем, придавив ему живот. В темноте невозможно было разобраться.

— На mine подорвались,— плачущим голосом пролепетал Маркелов.
— Чего раски?!— рассердился Ковалев, разглядев, что это Маркелов придавил его.— Твое дело электрика — включай аварийный фонарь. Шляпа!

Он вылез из-под Маркелова и уже мягче объяснил:

— На скалу напоролись, килем по камням проехали.

Через глазок из центрального поста донесся голос вахтенного командира.

— Осмотреться в отсеках.

Маркелов, стыдясь товарищей, поторопился взять прибор и юркнул в люк аккумуляторной ямы.

Ковалев стал у двери, ухом прищип к глазку. В центральном посту щелкали рубильники, разносились команды. Потом что-то говорил Федор Силыч, и командир приказал:

— Продуть среднюю.

Под килем загрохотали камни, корпус затрясся, нос развернуло влево, но что-то держало корабль. Потом Ковалев услышал новые распоряжения: продувать концевые балластные и приготовиться принять в среднюю цистерну, если лодка стремительно пойдет вверх. Слова за бортом раздались удары сжатого воздуха, слова загрохотали камнями... И вдруг корабль легко повис на ровном киле.

Пробойни ни в одном отсеке не было. Отделались неопасной вмятиной по левому борту да в двух ящиках расплескался электролит.

Убрали осколки плафонов и разбитой посуды, разбросанные вещи. Испытали лодку на разных режимах моторов — рули слушались, и винты оборачивались без стука.

Штурманский электрик ввел гирокомпас в меридиан, допил остатки кофе и объявил:

— Желудки, конечно, в убытке остались, зато определенная польза гидрографии.

— Почему?— спросил Ковалев.

— А как же, новую подводную банку на карте отметим. Здесь глубины показаны не меньше ста метров, а мы ткнулись на тридцати.

Вероятно, это происшествие не сохранилось бы в памяти и действительно осталась бы о нем лишь заметка в вахтенном журнале. Но почти сейчас же последовали события одно другого серьезней. Как будто лодку трянуло на камнях, чтобы отделить многодневное спокойное плавание от часов отчаянной борьбы...

Всего на две-три мили отошел корабль от подводной банки, когда акустик услышал шумы на весте. Довольно быстро на видимости появился конвой. Мертвая гладь моря не позволяла долго держать перископ над водой. Поочередно сменялись у перископа Федор Силыч с командиром, обменивались отрывистыми замечаниями:

— Танкер вторым идет.

— Угу... Восемь-девять тысяч тонн.

— Транспорт — тоже неплохой кусок. Такие у них ходили на линии Гамбург — Буэнос-Айрес.

— Сюда сворачивают, а не иначе — назначены в Киркенес.

— Тральцы впереди. Еще мины нащупают, а?

Об охране сказано было только для записи в журнал боевых

действии: три миноносца, восемь катеров охотников, два тральщика. В бою подводная лодка не считает врагов. Половина катеров проскочила у самого борта, и торопливые обороты их винтов гулко ударили в подволок. Перископа немцы не заметили.

— Подверни, лево десять.

— Нехорошо, еще пяток,— говорил Федор Силыч и снова поднимал перископ.— Вот теперь в самый раз.

Привычно раздался призыв к бою: «торпедная атака». Возбуждение охватило торпедистов и остальных людей экипажа в наглухо задраенных отсеках. Слова срывались почти беззвучным шопотом. Ступали на носках, осторожно, чтобы не пропустить сообщений акустика и приказаний командира. Еще раз с оглушительным ревом промчались над головами катера. Бывалые усмехались — шумите, шумите, так лодку не прослушаете.

«Кому же стрелять? Приказано приготовить все носовые и кормовые аппараты».

— Сами лезут на меня, в уступ поворачивают!— воскликнул командир и, сдерживая дыхание, рапортовал: — Мое решение стрелять шестью торпедами, по две, с правильными интервалами.

«Волнуется, первая самостоятельная атака»,— подумал Петрушенко, на секунду прильнул к перископу и разыскал на скрещении штей миноносец; вправо от него напозлали эскортируемые корабли. «Волнуется, а соображает, что можно в трех разом попасть».

— На румбе?

— Сто шестьдесят пять.

— Расчет верный. Первые торпеды по миноносцу.

Он быстро глянул в записную книжку помощника. «Молодцы, не на-глазок работают. Классическая атака. Из трех возможных два — верные».

Скорее, чем он мысленно одобрил своего ученика, пробасили ревуны, и торпеды парами пошли в атаку...

Петрушенко ошибся. Из трех возможных три оказались верными. Это была партия, какую не пришлось прагь еще ни одному подводнику Севера. Открывалась новая глава в истории гвардейской лодки.

На воде бушевало пламя разливавшегося мазута. С расколотого взрывом транспорта высоко в небе рвались синие пороховые языки, остатки миноносца уже покрылись вспененными волнами, на поверхности торчала красная корма танкера с оголенными винтами.

Федор Силыч молча сжал руку своего помощника. Говорить было не время.

Посыпались бомбы. Катера разбежались широкой дугой и шли навстречу миноносцам. Взрывы, заглушенные слоями воды, доносились со всех сторон. Взрывы стягивались в кольцо вокруг лодки, и выскользнуть из кольца было трудно, как трудно зверю уйти от своры наседающих собак. Федор Силыч шурился над картой. И вдруг сложился дерзкий план. Он поднял широкое спокойное лицо и с минуту раздумывал. Светлые глаза охватили обстановку в центральном посту. Работали без суеты. Трюмные удиферентовали лодку, и помпы не визжали. Электрические приводы были выключены — управляли рулями вручную. Смена стояла наготове. Одного рулевого уже сменил Иван Ковалев, и

мускулы под тельняшкой минера сразу вздулись буграми. Что говорить — тяжелая работа, но надо идти бесшумно, не выдавая себя немецким слухачам. Особенно опасны минноосцы...

Федор Силыч позвал командира:

— Оторваться не удастся без хитрости. Веди лодку под нашу минную банку, потом попытаемся выскользнуть вторым фарватером.

— Ясно.

— На крутом повороте еще тяжелее стало рулевым, но взрывы в воде подгоняли. Лодка проходила будто сквозь огромный сталепрокатный цех, в котором непрерывно ударяли по металлу мощные паровые молоты. Вот-вот тело корабля расплющит удар. Качаясь, как коромысло, под вихревым напором сдвоенной воды, лодка шла дальше и дальше между беснующимися врагами.

«Врешь, после такой победы жить будем и бить вас будем!»

И Федор Силыч совсем шутливо сказал:

— Ну и рубильники у вас, механик. Так в нашем клубе кино показывают — в каждой части десять обрывов.

Механик, освещая щит станции слабого тока аккумуляторным фонарем, включал рубильники, но свет появился только в двух плафонах. Опять полопались лампочки. Боцман другим фонариком осветил выбивающегося из сил Ковалева и приказал сменить его. Иван пощупал пабухшие руки и стал в сторону. Нормально! Через несколько минут он отдохнет и будет в состоянии снова вертеть штурвал.

Свет прибавлялся, и из мрака выступили теперь все углы отсека. Механик, хлопнув рукавицами, оседлал скобтрап, как норовистого коня.

— Если бы в нашем клубе так мешали механику, вы ни одного кадра не посмотрели бы, товарищ капитан второго ранга.

— Да, лютуют фрицы,— согласился Петрушенко.— Где находимся, штурман?

— Пять минут до банки.

— Глубина?

— Пятьдесят пять.

— Отлично. Послушаем, как шуршат наши минрепы.

Бомбы продолжали рваться. Сыпалась лупившаяся краска. Загрозтали по палубе отсека сорвавшиеся часы. Подволок под ударами воды вибрировал. Из-под крышки рубочного люка при каждом ударе вырывались струйки воды.

Через томительные четверть часа минная банка осталась позади.

— Входим в узкость,— предупредил штурман.

Вместе с Федором Силычем командир рассматривал на карте узкий клин фиорда. Глубины резко менялись. Придется непрерывно идти с эхолотом. Положим, что сейчас время полной воды, но через три часа она устремится в море... Надо проверить течение.

— Стоп моторы!

Это до предела увеличило тишину в лодке, и звуки бомб стали резче.

— Лодку разворачивает вправо,— доложил вахтенный командир.

— Пойдем левой стороной фарватера, чтоб нас не прижало к берегу.

Начали маневрировать. Разрывы, наконец, удалились. Теперь будто безвредные камешки бултыхались в стеклянном сосуде. Немцы бомбили

уже для очистки совести. Их катера, бегавшие в устье фиорда, как ищейки, потерявшие след, суетно и бессильно лаяли.

Акустик сообщил, что приближаются миноносцы. Если они пойдут этим фарватером (а должны им пойти, по второму только мелочь шныряла), то наткнутся прямо на мины.

Федор Силыч остановил взгляд на Ковалеве. Иван, опять подменив рулевого, напряженно вертел штурвал. Здесь, на противном течении, лодка плохо слушалась руля. Когда Иван поднял налившиеся кровью глаза от компаса, он встретил взгляд своего старого командира. Да, думали они об одном и том же: будет ли взрыв? А может быть, тральщики давно прошли вперед, подсекли мины и теперь миноносец предупрежден?

Миноносец типа «Антон Шмидт», из лучшей серии немецких кораблей, был бы хорошей добычей. Два миноносца, отправленные на дно за один поход, это совсем недурно...

Вдруг удары винтов заполнили отсек, вызвавшее ими волнение закачало подлодку.

«Проскочил... Проскочил... И второй идет за ним... и мы минрепов не касались... Значит, на дне лежат мои мины, не освободились, не поднялись на минрепах». Все другое стало безразлично Ковалеву при мысли, что мины плохо приготовлены, что он провалил постановку заграждения. Он не смел теперь отвести глаз от приборов и ожесточенно работал. Но когда он уже перестал ожидать успеха, внезапный и долгий грохот прокатился в воде; со всех сторон — вал за валом — натыкались на корабль потревоженные массы воды, били в киль, в борта, обрушивались на верхнюю палубу. Настоящий мальстрем! Ковалев растерянно, с неуверенной радостью слушал оглушающую после взрыва тишину и дождался глухого удара, шедшего откуда-то снизу.

— Концевой миноносец пошел на дно, — объявил акустик. Голос у него от усталости был будничным, как если бы он сказал, что миноносец вошел в гавань.

Впрочем, почти никто не переживал того, что Ковалев, — слишком сложное было положение подводной лодки. Она едва одолевала течение, и командир решил перейти на электрическое управление рулями, чтобы увеличить число оборотов. Он хмурился, так как неизвестно было, сколько еще оставаться лодке под водой, а расход энергии был и без того велик.

Группа рулевых теперь могла отдохнуть. Ноги у Ковалева подкашивались. Он думал лечь на койку, но в отсеке его разгоряченное тело охватило озноб, и он пошел, пошатываясь, к главной станции электриков, где воздух суше и теплее.

Во всех отсеках были заметны последствия бомбежки. Ноги скользили в воде. Хрустели осколки стекла. По палубе катались огнетушители, куски пробки, патроны регенерации. У электриков пехватало рук для борьбы с повреждениями. Здесь был дважды выбит автомат, а сейчас едва держалась панель станции, и Маркелов уперся в рубильник спиной, чтобы панель не рухнула.

Несколько часов назад Маркелов струсил при ударе о банку. И стыд за свой панический выкрик теперь, когда настали часы настоящей опасности, был для него мучительней всего. Маркелов не мог укрепить

панель и обрадовался приходу Ковалева, свидетеля давешней его позорной папки... Маркелов был счастлив, что спасает станцию.

Войдя в отсек, под струи, вырвавшиеся из щелей люка, Ковалев понял, что его мускульная сила снова нужна и что мечты об отдыхе были преждевременны. Он ловко перенял зажимы крышки из ослабевших рук старшины.

— Спасибо, во-время ты...

Помахав ооченевшими руками, старшина быстро нашел стальной конец и подтянул крышку. Но все-таки Ковалев успел вымокнуть. В мокрых тяжелых костюмах они вставляли держатели щетки, вылетевшие из трюмной помпы, и запускали ее на осушение. Потом Ковалев помогал укрепить панель и что-то еще делал. А когда можно было считать, что все пришло в порядок, он присел на корточки у главного мотора и заснул.

И, кажется, в ту же минуту все в лодке захохотало, запрыгало, заскрежетало, точно в корпус врезались несколько металлических пил. Иван больно стукнулся головой о тумбу электромотора, однако, продолжал спать. Он понимал, что звуки, которые он слышит, и боль, которую испытывает, не настоящие. Они ему сняты, потому что уже раньше были и грохот и боль. Но он сделал усилие, чтобы освободиться от дурного сна, и ему удалось хотя и не сразу избавиться от тряски и грохота. Второй сон перенес его в морскую пехоту. Приснилось, что он и его товарищи идут по снежной дороге с миноцупами и неосторожный товарищ подрывается на mine, а в его голову впиивается острый осколок. Но все это уже было с ним в первый год войны, а Ивану не хотелось смотреть во сне известное. Теперь он умеет избавляться от неинтересных снов, почему бы ему не придумать приятный сон? Чтобы он лежал в траве и чтобы воздух был теплый, свежий, пропитанный запахами яблони, и тяжелые ветки клонились к окну сестры Маши... Но как только он вспомнил о Маше, о том, что только тридцатиметровый слой воды и несколько миль пути отделяют его от тюрьмы Маши, сон исчез, и он открыл глаза.

Он лежал на своей койке, в своем отсеке. Возле него сидел на койке фельдшер. Голова звенела, и в затылке быстро пульсировала кровь. Он поднял руку и нащупал повязку.

— Очнулся, Ковалев? Порядок. Сейчас порошок примешь, чтобы температура спала.

— Что случилось? — спросил Ковалев, припоминая, как он сел на корточки у электромотора.

— Треснулся шибко. Кровь потерял.

— Отчего стукнулся? — Он огляделся и прислушался. Глазом и ухом бывалого подводника попытался определить, что происходит с лодкой. — Почему лодка с дифферентом? И не двигается... Лодка на грунте?

Фельдшер кашлянул и засопел:

— Тут, брат, долго рассказывать.

— Долго? — Ковалев вдруг понял, что прошло много часов. Он услышал слабое жужжание машинки регенерации и увидел, что во всех койках молчаливо лежат товарищи...

Форштевень подлодки таранным ударом порвал несколько колец сети, но многочисленные ячейки кольчужной преграды сопротивлялись прорыву, сильно и тесно уплотняясь вокруг корпуса корабля; с металлическим царапающим звуком они сжимались на обшивке.

Зажатая стальной упругой паутиной, подводная лодка не могла высвободиться. Напрасно взбивали воду удары винтов. Напрасно устранили общие перебежки на корму, чтобы толчком создать перевес и вырваться. Лодка немного провисала, усиливался металлический скрежет и, однако, она оставалась в тенетах.

Федор Силыч оценил положение раньше, чем другие. Офицерам и матросам еще некогда было размышлять об обстановке и делать выводы; они укрепляли сброшенные приборы, исправляли механизмы, оказывали первую помощь раненым.

Вслух Федор Силыч сказал достаточно мягко и осторожно:

- - Обстановка тяжелая.

Очередная перебежка людей в корму была сделана после ликвидации пожара, возникшего в четвертом отсеке из-за замыкания проводов. Обожженные люди возвратились в нос, медленно, с трудом дыша. Воздух в лодке был тяжелым. Кровь билась в висках с неровным стуком. В ушах застревал назойливый шорох. Для жизни оставалось слишком мало кислорода и слишком много было углекислоты...

Когда за последним проходящим с кормы бойцом звякнула тяжелая дверь, командир зябко повел плечами и тихо сказал:

— Надо взрываться. Они вернутся и разбомбят нас.

— Неправильно, старпом, — жестко сказал Федор Силыч, и хотя он назвал так своего преемника невзначай, по старой привычке, командир почуствовал укол и обиженно добавил:

— Будь один шанс, я бы так не говорил.

Федор Силыч не сразу ответил на этот вызов. Он сидел на койке, борясь с ознобом и головной болью. Ему хотелось пожаловаться на усталость, но это было невозможно. Единственное место существовало для жалоб — комната на главной базе. И единственный человек мог услышать такие слова от него без вреда для службы. Неужели он так и не увидит больше Клушу? Он вспомнил ее непоколебимую веру в него... Да, не вернуться теперь — значило бы обмануть ее. Сколько лет Клавдия без колебания шла за ним, отказавшись от собственной жизни. Не вернуться — значит выбить из-под ее ног опору. Не следовало так безусловно подчинять Клавдию своей власти, своей судьбе...

— Вы помните, что я должен первого уезжать в Америку? — вопросом перебил свои мысли Федор Силыч.

— У каждого из нас были какие-то планы, — сказал командир.

— Бросьте этот тон. И бросьте рассуждать в прошедшем времени. Обстановка тяжелая, но лодка будет управляться, как только мы вырвемся из сети.

— Мы не можем вырваться, — со спокойным упорством повторил командир.

Конечно, он не трусил. Он хладнокровно использовал все известные ему средства спасения. Он многократно повторил бесплодные попытки.

Теперь он не видел выхода и хотел умереть благородно, пока еще есть силы. И у него, наверно, также трещит и немеет голова.

Федор Силыч зевнул и сказал:

— Прикажете сделать регенерацию, воздух испорчен. Пусть люди восстановят силы. Потом обдумаем один вариант. Есть шанс, как вы выразились.

Он усмехнулся, и молодой командир тоже попытался улыбнуться.

— Ладно, устроим кислородный праздник.

— Только не праздник. Будем экономить запас. До базы еще не близко.

— Вы хотите перевести баласт в корму?— спросил командир, поднимаясь. Он прочитал ответ в светлых, попрежнему ясных глазах Петрушенко и быстро добавил:— Я сам об этом думал. Но лодка пойдет камнем на дно, обломает винты.

— Потом, потом, в свежем воздухе поспорим,— сказал Федор Силыч и закрыл глаза.

Из-под опущенных век он смотрел на угол подволока, где быстро вращались лепестки прибора регенерации. Освежающая струя достигла рта, овеяла щеки. Он облизал губы и свободно вздохнул.

«Конечно, без восстановления сил безнадежно делать намеченный маневр. Наверняка лопасти винтов отлетят. В том-то и дело, что нужно свершить невозможное — удиферентовать лодку, пока она не коснется дна. Ради такого блестящего маневра можно рискнуть. Надо верить подводному кораблю. Его живучесть и непотопляемость куда больше, чем это кажется людям, знающим о подводных плаваниях понаслышке.. В конце концов он сам виноват, что свою уверенность не внушил преемнику, плохо воспитывал его на трудных случаях. Как раз сейчас завершится образование».

С очищением воздуха ход мыслей ускорился. Федор Силыч уже отчетливо видел детали освобождения. Под килем сорок — пятьдесят метров. Надо постепенно освобождать носовые системы и увеличивать баласт в корме. Как только в первом отсеке услышат, что лодка в движении, сразу резко ликвидировать дифферент, гнать воду из кормовых систем, принимать в носовые.

Уже охваченный азартным нетерпением, Федор Силыч посмотрел на часы. До конца срока, назначенного на отдых, оставались десять минут. Где командир? Где механик?

Федор Силыч вышел в кают-компанию. Офицеры дремали за столом, положив головы на руки.

— Приказали будить, как подниметесь,— сказал дневаливший Маркелов.

— Погоди, еще десять минут у них,— сказал Федор Силыч и спросил:— Как там раненые?

— Нормально. Ковалев сильно ослабел, без памяти был. А остальные — нишечем. Меня вот тоже обожгло. Ну, вроде охромел сначала, а теперь опять способен. Кислород помог.

— Хорошо, коли нормально,— одобрил Федор Силыч, плеснул на донышко стакана немного вина, выпил и закусил шоколадом.

Дневальный, круглолицый, белозубый, продолжал в оба глаза вни-

мательно смотреть на Петрушенку. И Федор Силыч догадался, что у молодого матроса есть еще что-то, чего он не решается сказать.

— Вы ели, Маркелов, или вас не сменяли?

— Заправлялся. Я, товарищ капитан второго ранга, хотел спросить: долго еще на фашистском якоре стоять?

— Да, не выбирается якорь.

— А в команде старые матросы говорят, что вы знаете, как уйти, что не такое бывало.

— Не такое?

— Ну да, пострашнее, говорят, бывало. На парусах из соседнего фиорда будто выходили.

Федор Силыч довольно хмыкнул, но сдукавит:

— Так, а ты бы что посоветовал, Маркелов? Вот, положим, ты остался за старшего. А? Раскинь-ка мозгами, поэт. Придумай.

Маркелов отвел глаза, вспомнил, как его огрел Ковалев за дерзкие фантазии. Нашел время командир шутить. У него в самом деле была мысль, пусть фантастическая, пусть похожая на то, что делал капитан Немс, когда «Наутилус» был в ледяных тисках... Так ведь когда Жюль Верн писал роман, кажется, еще подводных лодок не было.

Маркелов напряженно кричал, одергивая свой сырой бушлат.

— Так что же, Маркелов?— повторил вопрос Федор Силыч и незаметно махнул рукою поднявшим головы офицерам, чтобы они не смущали парня.

Маркелов решил:

— Выйти из лодки надо, пропилить проход в сети.

Он выпалил фразу, уставясь на палубу, и столько было мальчишеского самолюбивого задора и одновременно стеснительности в его голосе, что в эту минуту офицеры забыли о положении лодки. Не помнил об этом и Маркелов, чувствующавший себя лишь школьником перед строгим экзаминатором.

— Вот и еще вариант, опасный и длительный, но совершенно реальный,— сказал раздельно Федор Силыч.— Молодец, Маркелов. Если придется использовать твой план, пойдешь резать?

— Прошу, товарищ капитан второго ранга,— быстро сказал Маркелов, поднимая опущенную голову и еще сомневаясь в том, что Петрушенку говорит серьезно.

— Добро. А пока позови к нам штурмана с картою.

Вот в это время, пока уточнялся план спасения корабля, очнулся Иван Ковалев и узнал от лекарского помощника о том, что произошло с лодкой. Большая доза аспирина с кофеином помогла. Голова перестала болеть, и он мог, как всегда, внимательно вслушиваясь в звуки, представить себе, что делается в центральном посту.

В отсек с новостями вернулся Маркелов. Он уселся рядом с Иваном и торопливо рассказал о своей беседе с капитаном второго ранга и о том, что решили на совещании офицеров. Он ждал, что ему придется убеждать в серьезном отношении Петрушенку к его проекту. Но два краснофлотца сказали, что такую мысль они уже высказали механику и что на этот случай приготовлены водолазы и режущий инструмент.

Может быть, потому, что Ковалев ослабел и беспомощно лежал в койке, он смотрел на товарищей, как сторонний наблюдатель и удивлял-

Теперь он не видел выхода и хотел умереть благородно, пока еще есть силы. И у него, наверно, также трещит и немеет голова.

Федор Силыч зевнул и сказал:

— Прикажете сделать регенерацию, воздух испорчен. Пусть люди восстановят силы. Потом обдумаем один вариант. Есть шанс, как вы выразились.

Он усмехнулся, и молодой командир тоже попытался улыбнуться.

— Ладно, устроим кислородный праздник.

— Только не праздник. Будем экономить запас. До базы еще не близко.

— Вы хотите перевести баласт в корму?— спросил командир, поднимаясь. Он прочитал ответ в светлых, попрежнему ясных глазах Петрушенко и быстро добавил:— Я сам об этом думал. Но лодка пойдет камнем на дно, обломает винты.

— Потом, потом, в свежем воздухе поспорим,— сказал Федор Силыч и закрыл глаза.

Из-под опущенных век он смотрел на угол подвлока, где быстро вращались лепестки прибора регенерации. Освежающая струя достигла рта, овеяла щеки. Он облизал губы и свободно вздохнул.

«Конечно, без восстановления сил безнадежно делать намеченный маневр. Наверняка лопасти винтов отлетят. В том-то и дело, что нужно свершить невозможное — удиферентовать лодку, пока она не коснется дна. Ради такого блестящего маневра можно рискнуть. Надо верить подводному кораблю. Его живучесть и непотопляемость куда больше, чем это кажется людям, знающим о подводных плаваниях понаслышке.. В конце концов он сам виноват, что свою уверенность не внушил прежнему, плохо воспитывал его на трудных случаях. Как раз сейчас завершится образование».

С очищением воздуха ход мыслей ускорился. Федор Силыч уже отчетливо видел детали освобождения. Под килем сорок — пятьдесят метров. Надо постепенно освобождать носовые систерны и увеличивать баласт в корме. Как только в первом отсеке услышат, что лодка в движении, сразу резко ликвидировать диферент, гнать воду из кормовых систерн, принимать в носовые.

Уже охваченный азартным нетерпением, Федор Силыч посмотрел на часы. До конца срока, назначенного на отдых, оставались десять минут. Где командир? Где механик?

Федор Силыч вышел в кают-компанию. Офицеры дремали за столом, положив головы на руки.

— Приказали будить, как подниметесь,— сказал дневавший Маркелов.

— Погоди, еще десять минут у них,— сказал Федор Силыч и спросил:— Как там раненые?

— Нормально. Ковалев сильно ослабел, без памяти был. А остальные — шпичем. Меня вот тоже обожгло. Ну, вроде охромел сначала, а теперь опять способен. Кислород помог.

— Хорошо, коли нормально,— одобрил Федор Силыч, плеснул на донышко стакана немного вина, выпил и закусил шоколадом.

Дневальный, круглолицый, белозубый, продолжал в оба глаза вни-

мательно смотреть на Петрушенку. И Федор Силыч догадался, что у молодого матроса есть еще что-то, чего он не решается сказать.

— Вы ели, Маркелов, или вас не сменили?

— Заправлялся. Я, товарищ капитан второго ранга, хотел спросить: долго еще на фашистском якоре стоять?

— Да, не выбирается якорь.

— А в команде старые матросы говорят, что вы знаете, как уйти, что не такое бывало.

— Не такое?

— Ну да, пострашнее, говорят, бывало. На парусах из соседнего фиорда будто выходили.

Федор Силыч довольно хмыкнул, но sluкавил:

— Так, а ты бы что посоветовал, Маркелов? Вот, положим, ты остался за старшего. А? Раскинь-ка мозгами, поэт. Придумай.

Маркелов отвел глаза, вспомнил, как его огрел Ковалев за дерзкие фантазии. Нашел время командир шутить. У него в самом деле была мысль, пусть фантастическая, пусть похожая на то, что делал капитан Немо, когда «Наутилус» был в ледяных тисках... Так ведь когда Жюль Верн писал роман, кажется, еще подводных лодок не было.

Маркелов напряженно кряхтел, одергивая свой сырой бушлат.

— Так что же, Маркелов?— повторил вопрос Федор Силыч и незаметно махнул рукою поднявшим головы офицерам, чтобы они не смущали парня.

Маркелов решил:

— Выйти из лодки надо, проплыть проход в сети.

Он выпалил фразу, уставясь на палубу, и столько было мальчишеского самолюбивого задора и одновременно стеснительности в его голосе, что в эту минуту офицеры забыли о положении лодки. Не помнил об этом и Маркелов, чувствовавший себя лишь школьником перед строгим экзаменатором.

— Вот и еще вариант, опасный и длительный, но совершенно реальный,— сказал раздельно Федор Силыч.— Молодец, Маркелов. Если придется использовать твой план, пойдешь резать?

— Прошу, товарищ капитан второго ранга,— быстро сказал Маркелов, поднимая опущенную голову и еще сомневаясь в том, что Петрушенка говорит серьезно.

— Добро. А пока позови к нам штурмана с картою.

Вот в это время, пока уточнялся план спасения корабля, очнулся Иван Ковалев и узнал от лекарского помощника о том, что произошло с лодкой. Большая доза аспирина с кофеином помогла. Голова перестала болеть, и он мог, как всегда, внимательно вслушиваясь в звуки, представить себе, что делается в центральном посту.

В отсек с новостями вернулся Маркелов. Он уселся рядом с Иваном и торопливо рассказал о своей беседе с капитаном второго ранга и о том, что решили на совещании офицеров. Он ждал, что ему придется убеждать в серьезном отношении Петрушенку к его проекту. Но два краснофлотца сказали, что такую мысль они уже высказали механику и что на этот случай приготовлены водолазы и режущий инструмент.

Может быть, потому, что Ковалев ослабел и беспомощно лежал в койке, он смотрел на товарищей, как сторонний наблюдатель и удивлял-

ся их спокойному вниманию к словам Маркелова, а еще больше их сдержанности и обыденности их поведения, будто никто из находившихся в отсеке бойцов не верил в возможность гибели.

За койкой Ковалева в углу терпеливо возился у компрессора старшина. Несколько товарищей надевали сухое белье, а штурманский электрик даже брился, неловко топчась перед покосившимся зеркалом.

Кто-то сказал, что план командиров более простой и дело решит в минуты. Маркелов самонадеянно запротестовал:

— Зато по-моему сделать — нету риска для корабля.

Тогда старшина оторвался от компрессора и туманно заметил:

— Не умер Данило, болячка задавила. В сети или на дне — разница невелика.

А голос с верхней койки пояснил:

— Будет и по твоему плану риск, если во время работы начнут бомбить.

Иван, не вступавший в разговор, понял, что сдержанность товарищей и их спокойствие созданы мужской и воинской гордостью, что каждым взвешена опасность и потому так скупо и просто говорят все, кроме неопытного молодого Маркелова.

Иван поднял глаза к затуманенной, тускло светившей лампочке и подумал о солнце, под которым сейчас простирается земля, и о том, что в душе каждого живет желание вернуться в просторный мир с дневным светом. Он не мог бы выразить словами сложной работы своей мысли, но он ощутил себя счастливым оттого, что у него сильные товарищи.

Из центрального поста пришло приказание внимательно прислушиваться. Со стороны носа зашумела вода, вытолкнутая напором сжатого воздуха. Дифферент увеличился, и Иван ухватился руками за койку, чтобы не выпасть. Сквозь визг помп врывался металлический скрежет по обшивке. Внезапно режущий звук оборвался. Лодка падала.

Маркелов, подскочивший к глазу, торопливо передавал донесения о том, что под килем мало воды: 15—10 метров. Маркелов повторял приказания, которыми регулировались прием и выброска баласта. Все совершалось в секунды, но секунды были долгими в изменении водяного режима корабля и очень короткими в продолжавшемся падении, и казалось, что инерцию падения нельзя преодолеть. Уже корабль шелестел по камням, и какие-то осыпи на дне загрохали, и невольно Ковалев закрыл глаза руками, ожидая страшного удара, который уничтожит винты. Но тут корабль стал выпрямляться, и Иван почувствовал, что сила падения уже не тащит вниз и голова свободно откидывается на подушку.

Он снял похолодевшие руки с лица и прежде всего увидел Маркелова.

Еще не веря избавлению, Ковалев всем телом ощущал плавное движение лодки, и это было так необыкновенно хорошо, что он испугался заполнившей душу непрошенной чувствительности и ухватился за привычную шутку:

— Что, Леня, не состоялось приключение на морских глубинах в водолазном костюме?

— Ладно, были бы живы, — не обижаясь, как обычно, ответил Маркелов с новой для него взрослой интонацией.

Где-то вдалеке немцы бомбили район сети... Но звук был не страшный, опять словно камешки бултыхались в стеклянном сосуде.

Когда Маркелов вступил в дневальство, Федор Силыч мощно храпел в своей каюте, а это значило, что опасность осталась позади.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

22

Теплый грибной дождь промочил легкие платья Наташи и Клавдии Андреевны. Женщины взобрались на гладкую вершину скалы, щедро обогретую солнцем. Из расщелин сбегал вниз чахлый северный листок. Низкие деревья простирали свои ветви с мелкими и тонкими листочками над самой землей. Наташа не отрывала глаз от озерной глади. Вода узким серпом прорезала ущелье, под левым берегом она была голубой и розовой, а под правым — почти черной от тени отвесной гранитной стены.

Клавдия Андреевна подбирала букет. Блеклые северные цветы сочтались неяркими пятнами, и в букете было что-то грустное, схожее со стареньким выцветшим ситчиком.

— Как тяжело в этот раз дожидаться Федора Силыча! — неожиданно сказала Клавдия Андреевна. — Затемнюсь, Наташа, на ночь и до утра — ничего. А встану — и каждый пустяк напоминает мне: трудно ему, и ничего этого у него нет. Сейчас нас дождик вымочил, сидим на камнях, волны! остаются, волны пойти, куда глаза глядят. А он?! Вы счастливая, Наташа, что Николай Ильич не подводник.

От озера невидимый Сенцов крикнул:

— Форель клю-ну-ла-а!

Наташа не отозвалась ему, не сразу ответила и подруга. Переспросила в раздумьи:

— Счастливая?

— Ну да, вам не так страшно, как мне. Только почему раньше этого не было. Может быть, предчувствие...

— Стыдно, Клавдия. Вы совсем не умеете жить без Федора Силыча. Так нельзя, дорогая. Вот мы насилу выгнали вас из комнаты. Сидите в одиночестве, ну и лезут в голову глупые мысли.

— И напрасно пошла...

Наташа положила руку на локоть Клавдии Андреевны.

— Каждый моряк может не вернуться. И мне страшно. Но мы не должны бояться...

— Вы не умеете любить. Или вы слишком рассудочны...

— Против такого обвинения трудно защищаться, — тихо сказала Наташа. — Но если мне дорого каждое слово Николая, если я больна оттого, что у него по лицу прошла тень, если мне так хорошо, когда он приходит, кажется, я люблю... Сенцов рассказывал, как Николай был близок к смерти и как победил ее ради своих товарищей... Что ж, обстановка может повториться... И не так счастливо... Хотя Федор Силыч и Николай разные, но в этом одинаковые. И куда вы девали вашу веру в Федора Силыча, вашу гордость тем, что он — герой?

— У народа тысячи героев, а у меня Федя один.

— Вот увидите, еще неделя, и мы опять услышим его салют!

Клавдия Андреевна благодарно приложила щекой к руке Наташи.
— Не уезжайте, девочка. Только вы меня и успокаиваете. Вы такая бесстрашная...

Наташа чуть усмехнулась при мысли, что ее, обуреваемую страхом перед Кононовым, Клавдия Андреевна считает бесстрашной и спокойной. Она и командировке в Архангельск обрадовалась, чтобы хоть на время не опасаться встречи с летчиком.

С озера упрямо аукал потерявший спутниц Сенцов. Наташа откликнулась, поднялась, рассыпая вокруг себя цветы, и обняла Клавдию Андреевну.

— Хватит задумываться. Рыболов наш скучает. Мы ведь на озеро отправились за форелью.

— Кумжей,— поправила Клавдия Андреевна.

Наташа пошла вперед, легко ступая по мягкому торфу. Клавдия Андреевна нехотя следовала за нею. Она несла свой букет бережно, отводя локоть, стараясь не помять лепестков. Если часто менять воду, цветы должны прожить несколько дней и с нею вместе встретить Федора Силыча...

Сенцов продолжал подавать голос, пока не расслышал шороха в ветвях и дробных звуков гальки под ногами женщин. Он совсем не был страстным рыболовом, прогулку затеял, чтобы видеть Наташу, и чувствовал себя обиженным.

Смешно оттопырив губы, он делал вид, что следит за поплавком, но глазом косился на Наташу, и приготовленные злые слова уже казались ему несправедливыми. С руки Наташи, которую она перебирала в ведерке рыб, стекали капли воды, и несколько серебряных чешуек приклеилось к розовой коже. И это восхищало его.

Наташа ласково сказала:

— Не сердитесь, Сережа. Вы труженик, а мы тунеядцы. В награду я буду варить, жарить и мариновать столько рыбы, сколько прикажете. Только не сегодня,— поправилась она.— Сегодня надо делать легенду к рабочей карте погоды, готовиться к докладу. Пир — перед нашим съездом, завтра. Хорошо?

Сенцову, очевидно, суждено было стать наташиным дорожным покровителем. Он получил командировку, до Архангельска они могли ехать вместе.

— Добро,— ответил Сенцов с нарочитой сухостью, но, против воли, обиженное выражение сбегало с его лица.— Берите лески и устраивайтесь. Сейчас самое время лова, а рыбе здорово полюбились мои черви.

Наташа наладила удочку Клавдии Андреевны и ловко забросила свою. От поплавка разошлись слабые круги, и почти сразу жадная кумжа, забившись на крючке, потянула леску.

— А у меня не тянет,— капризно сказала Клавдия Андреевна.— Отчего бы, Сережа? Ах, нет, тащу!— воскликнула она и от радости вскочила на ноги.— Ой, помогите, не то выпущу!

Солнце пронизывало воду до дна, и рыбы играли в световых столбах, и Наташа видела, как они медленно шевелили острыми плавниками. Вот так в необозримых глубинах океана скользит сейчас лодка Петрушенко — вверх, вниз, поворот. Наташе сделалось страшно за большого, сильного Федора Силыча, которого ловят враги.

А Клавдия Андреевна азартно считала свой улов и болтала с Сенцовым, стараясь забыть в этой болтовне. Наташа сидела в сторонке. Она продолжала глядеть в воду, различала рыбу, спавшую в камнях, и рыбу, ходившую стайками, своевременно вытаскивала добычу, но мысли ее были далеки от этого занятия. С минувшей недели, когда Наташа поняла, что у нее снова может быть ребенок, она решила быть очень спокойной и не позволять себе расстраиваться, чтобы не повредить будущему человечку. Его развитие должно быть с самого начала спокойным и радостным. Значит, надо исключить из своей души все уродливое, недостойное жизни. Ей казалось, что если она будет верить в военное счастье Николая Ильича, то маленький Коля унаследует мужество отца, его волю, его удачливость, его смелость. А Наташа хотела, чтобы был мальчик, и представляла его себе с тем же разлетом серых внимательных глаз, прямым крупным носом и вьющимися над высоким лбом светлыми прядями, которые были у любимого.

И сейчас Наташа запретила себе волноваться и силилась обдумать свое выступление на предстоящей конференции.

Она подвергнет критике некоторые документы станций и бюро погоды. Слишком очевидно, что синоптические карты выпускаются с искажениями. Лучше переоценить резкие изменения погоды, чем обещать морякам благоприятные метеорологические условия.

Затем она поставит в докладе проблему изучения местных ветров. Слишком мало пускается шаров-пилотов, слишком мало изучается влияние рельефа местности на образование туманов и облачности. И, наконец, она попытается уточнить местные конкретные признаки штормов, циклонических изменений.

Рыба воспользовалась ее рассеянностью и слопала наживку. Но и без того улов был велик.

Наташа крикнула:

— Я собираюсь домой!

Клавдия Андреевна поворчала, что она только во вкус вошла, а Сенцов покорно нанизал рыб на стальное кольцо, ополоснул ведро и попросил:

— Давайте не спешить. Эту красоту мы не каждый день видим.

Солнце теперь светило навстречу. Волосы у женщин вспыхивали в красных, почти горизонтальных лучах. Дальние сопки в фиолетовой дымке казались рамой, в которой виднелась долина, прорезанная изумрудными искрами.

— И в самом деле,— одобрила Наташа,— не торопитесь. Я все равно не домой, так пойду вперед.

Не дожидаясь согласия, Наташа вышла на верхнюю тропу и ускорила шаг.

Когда она поднялась на сопку и остановилась, чтобы отдышаться, она услышала сильный и чистый голос Клавдии Андреевны. Она узнала арию Ярославны. В пронизанном тоскою, повторенном многократным эхом призыве Ярославны звучала надежда.

«Как много значила бы для душевного равновесия Клавдии работа на сцене,— подумала Наташа, продолжая путь к станции.— И сколько радости давал бы слушателям этот голос...»

Она обрадовалась, не застав на станции Чику. Славно проведенный

день обещал ей славный рабочий вечер. Она с наслаждением вытянулась в кресле. Прикрепленная с вчерашнего дня желто-голубая карта с нероглифами разных метеоданных в пунсонах станций выглядела собранием хитрых шарад. Когда-то, в институте, эти многочисленные значки приводили Наташу в отчаяние. Но теперь они были для нее несложной азбукой. Извилистая палочка, похожая на бактерию под микроскопом, сразу говорила ей о равномерном падении давления, опрокинутый гребешок с пятью зубьями — о десятибалльном шторме, черный кружок с двумя узкими прямоугольниками по вертикали через центр — о почти сплошной облачности. Она свободно расшифровывала алгебраические знаки, треугольники со звездочками, прямоугольники, похожие на косточки домино, и прочитанный текст рассказывал о сложной борьбе между тропическим и арктическим воздухом. Наташа, казалось, видела охлаждение, уплотнение и оседание громадных масс воздуха над Баренцовым морем.

По этой карте автор сделал вывод, что в восточной части моря ожидается короткий неопасный циклон. Между тем циклон захватил несколько суток и разросся на сотни миль. Где же была ошибка? Почему автор карты заключил, что область пониженного давления быстро рассосется?

Наташа поняла главное: линии изобар прокладывала равнодушная рука. Тот, кто сидел над картой, не ощутил размеров восходящего движения воздушных масс в районе циклона. Наташа знала это отчетливо, не по одним цифрам, она будто поднялась в самые верхние слои тропосферы и наблюдала великий вихрь. Понизу, в центр циклона, не могло притекать столько воздуха, сколько его уходило вверх. Этот циклон углублялся, и, в конечном счете, должны были возникнуть на его пути очень сильные и опасные бури. И они действительно возникли. На застигнутых порывистыми и шквалистыми ветрами кораблях были жертвы. Один корабль удары волн разломали пополам. С невероятными усилиями тральщики спасли часть экипажа. Попадобилось пчеловеческое напряжение, чтобы уберечь другие суда и выйти за пределы циклона.

Наташа вздрогнула при мысли, что такой циклон может повториться в походе «Упорного», что моряки снова не получают предупреждения в сводках бюро погоды.

Помнится, в детстве она шла по полю по пыльной дороге. Стояла душная жара, и воздух был совсем недвижим. Странно сверкало солнце, а все в природе пошло, замерло, и в какой-то особенной, томительной тишине перестали щебетать птицы, не жужжали осы, не стрекотали кузнечики. Внезапно сизое крыло тучи укрыло солнце, на землю легла черная тень, — стало до озноба холодно, и резкий порыв ветра взвихрил пыль. Прикрывая лицо руками, Наташа видела, как высоко в небе уходил спиральный темный столб воздуха, а в нем беспомощно кружилась бабочка...

Циклон — такой же внезапный вихрь, только в миллион раз крупнее. Линия его фронта может тянуться на сотни километров, и большой корабль с машинами в десятки тысяч лошадиных сил для него — та же беспомощная бабочка...

Выводы по этой карте сделаны ошибочно. Когда Наташа была здесь

в первый раз, Чика тоже ошибся, только в другую сторону — преувеличил циклонические явления. Да, этот человек не на своем месте!

Из старинных стенных часов вынырнула кукушка и прокуковала девять раз.

Наташа потеряла больше часа на сторонние мысли, а легенда не была написана. Она решительно придвинула чернильницу и начала свою записку.

23

Наташа никак не рассчитывала на встречу с Николаем Ильичем в Архангельске. И Сенцов потирал руки от удовольствия при мысли, что и Наташу и Николая ожидает приятный сюрприз. Конференция метеорологов открывалась на следующий день. Оживленная уличным шумом и освеженная ванной, Наташа охотно согласилась на прогулку по городу, пышно названному Сенцовым северной Венецией. Когда они сядились в трамвай, Наташе показалось, что по улице идут краснофлотцы с «Упорного», и она свесилась с площадки, провожая их глазами.

— Наши. Честное слово, наши!

— Ясно, наши. Только не стоит из-за них падать. Ребята в отпуску, — не сморгнув, солгал Сенцов.

— Я думаю, может быть, есть знакомые, — смутилась Наташа.

— Ясно, ясно, — сказал Сенцов, — могут быть и знакомые.

Они доехали до кольца, откуда им предстояло переправиться через рукав реки на остров. С пригорка открывалась широкая перспектива. Слева на главном плесе бегали буксиры и катера, чуть покачивались плоты. медленно разворачивался океанский транспорт, вверх и вниз по реке за крышами и заводскими трубами поднимался частокол мачт. Берег круто обрывался к протоке, забитой лесом. Наташа не хотела уходить от этого простора, напоминавшего ленинградский порт, но Сенцов нетерпеливо поглядывал на часы. В штабе ему сказали, что Долганов во второй половине дня уедет в Молотовск. Затея сюрпризом привезти Наташу к кораблю могла обернуться нелепой детской выходкой.

— На Двине вы еще не то увидите, — пообещал Сенцов, увлекая Наташу к парому. — Архангельск надо осматривать с Соломбалы. Там положено начало нашему флоту.

До «Упорного» пришлось идти почти два километра по скучной, плохо застроенной улице со скверными деревянными мостками.

— Что же здесь интересного? Увел от воды домишки смотреть, — жаловалась Наташа, не поспевая за Сенцовым.

Он отшучивался, пока они не оказались перед старинным красным зданием. Глухой забор отделял площадь от реки. Здесь Сенцов забормотал, что у него небольшое дельце в одном флотском учреждении и он задержит Наташу ровно на пять минут. Они вошли в ворота, потом по мощенному бульжником двору свернули в узкий коридор между складами. Мелькнула вода. И неожиданно прямо перед Наташей оказался знакомый миноносец.

— Сережа, негодный! — вскрикнула Наташа. — Уши вам надрать мало.

Она вскинула глаза на грот-мачту. Брейд-вымпел развевался по ветру. Николай был здесь.

— Я его сейчас сюда вытребую, дорогуша,— сказал Сенцов и поторопился к сходящим.

Оставшись одна, на виду экипажа корабля, Наташа чувствовала себя неловко. Но сегодня она могла стоять и наблюдать свободно. Людям было не до нее.

Из широкой трубы с резким шумом травился пар, и эхо отзывалось где-то за домами. С двух грузовиков на борт таскали тяжелые ящики, и матросы-грузчики ловко пробирались между толстыми кабелями. Матросы-мастеровые сваривали, клепали, стучали молотками. Матросы-прачки терли жесткими щетками парусины, раздавался режущий визг металла, и слышалось ворчание искрящихся сварочных аппаратов на палубе корабля.

Грузовики задним ходом наезжали на Наташу, и, отступая перед ними, она оказалась возле маленького низкого автомобиля необычного вида. Наташа только издали видела «Виллисы», и она с любопытством обошла вокруг машины. Под мотором на животе лежал человек, и она чуть не наступила на его ноги в синей шапке. Тяжелые ботинки, упираясь носками в доски причала, ползли к Наташе, и, снова отступая, она смотрела, как человек выползает из-под автомобиля.

Ей почему-то показалось, что все это уже было. Так же выгибалась спина человека, и так же осторожно выступала голова с жестким бобриком волос на плоском, словно срезанном затылке. А сейчас человек вылезет из-под машины, повернет голову, и у него будут очень холодные злые глаза. И тогда случится что-то очень плохое. Ей мало-душно захотелось без оглядки бежать прочь, но ноги сделали шаг вперед, и глаза настойчиво смотрели на плоский затылок. Она почти знала, кто это, но не смела верить своей догадке и дрожала от лихорадочного ожидания.

Человек сел, не поворачивая головы, и профессиональным движением шсфера вытер ладони о штаны. И этот жест был тоже знаком Наташе. Она ступила еще шаг вперед и храбро нагнулась к самому затылку. Человек мог бы сейчас убить ее ударом кулака.

— Орлов,— тихо позвала Наташа, сама удивляясь тому, что это имя сорвалось с ее губ.

Затылок и скула под ухом, прижатым к черепу, запульсировали. Несмотря на корабельный шум, она слышала неровное дыхание. Это был он, и он был испуган.

— Оглянитесь, Орлов. Не ожидали встречи?

Бушуев продолжал сидеть, не поворачивая головы.

Все шло отлично. Он был признанным передовиком в боевой части. С ним беседовали о вступлении в комсомол. Сегодня на авральной работе во второй турбине потребовалась помощь котельных машинистов, и он сумел незаметно бросить гаечный ключ в ротор. Когда рабочие лопатки под напором пара будут стремительно вращаться, ключ будет колотиться о них, и лопатки одна за другой полетят к чорту. Турбина не сможет вращать винты с положенной скоростью. Он торжествовал и вышел на стенку с чувством человека, заслужившего отдых. Покурил и пошел посмотреть машину-вездеход.

«Засыпался. Поймала бабенка. И ведь не раз говорил с нею, глядел

ей прямо в глаза. Был уверен, что она не узнает. Неужто она обманывала, чего-то выжидала?..»

Он помнил, что его выдала машина. Женщине запомнилась та освещенная ракетами ночь, когда он вылез из-под машины и ударил ее в живот.

— Орлов!— властно повторила Наташа.

— Ошиблись, барышня. Вам шофера с этой машины? Я вовсе краснофлотец,— будто ленясь и не понимая, протянул Бушуев и легко встал на ноги.

Наташа растерялась. На робе был боевой номер, и Наташа в самом деле не раз видела этого матроса. Галлюцинация?!

Но Бушуев слишком рано решил, что он отбилсЯ и выиграл. Не надо было усмехаться. В усмешке его лицо снова стало злой физиономией шофера Орлова, с буравчиками в глубоких глазницах. И Наташа, уже не сомневаясь, сказала с торжеством:

— Не лгите, Орлов. Я вас узнала.

Бушуев пригнулся, сжал кулаки, но оставался неподвижным, потому что по палубе с дежурным офицером шел Долганов, а впереди них торопился по сходням наряд с винтовками.

— У-у, стерва!— бессильно выругался Бушуев.

Наташа закрыла глаза. Она будто почувствовала вновь страшный удар сапога Орлова. Но шум корабельных работ, в котором утонула злобная ругань, вернул ее к действительности. Она не была одинока, и ночь не возобновлялась. Нет, он не посмеет ударить. И новая жизнь, которая зародилась в ней, победит.

Бушуев вдруг прыгнул в сторону и побежал. Наташа крикнула и увидела, что два краснофлотца бегут следом. Через минуту раздался выстрел.

Потом она сидела на ящике, Сенцов поил ее водой, и Николай Ильич ласково журил:

— Хорошо, что так вышло. А ты могла спугнуть подлеца. За ним и его связями давно следят. Его разрешили арестовать, когда он попытался сегодня испортить турбину.

24

Дружеское отношение Долганова к Колтакову имело свою историю. Колтаков служил на «Упорном» со дня подъема военно-морского флага, но в начале 1942 года он был списан на катера-охотники. Тогда Николай Ильич был на Севере новичком и временно командовал дивизионом катеров. В то время «охотники» часто высаживали на занятом немцами южном берегу Мотовского залива десантные группы разведчиков и снимали их под огнем противника.

Однажды операция затянулась. Катера Долганова ожидали группу разведчиков, прошедшую в тыл немцев за «языками», а погода резко ухудшилась. Перейдя на подводный выхлоп, головной катер, который вел сам Долганов, нырнул в тяжелые волны, с глухим вздохом переваливался с борта на борт. На всем побережье до островков, черневших на входе в узкую бухту, стояла угрюмая тишина. Сделали несколько галсов, но на берегу разведчики не появлялись. Проплывали белые заснеженные сопки с черными лентами осушки у подножья отвесных скал, и на них — никакой жизни.

Внезапно над сопками разорвались осветительные снаряды немцев. Звездные люстры медленно опускались, свет их окрашивал воду, корабли и скалы зловещей желтизной. Долганов увидел группу разведчиков в маскировочных халатах, бежавшую по склону горы. Десятки цветных трасс скрестились над головами бойцов-лыжников. Долганов, прикинув, где могут быть немецкие пулеметные гнезда, открыл орудийный огонь, чтобы спасти десант. В ответ по катеру начали стрельбу артиллерийские батареи немцев.

Вскоре голоса докладывавших бойцов и приказания Долганова стали тонуть в диком клекоте пролетающих фугасок и взгге мич. Катера отстреливались, уходя на середину залива и снова возвращаясь к берегу. Они вертелись, не сбавляя оборотов. Долганов целиком ушел в управление огнем, предоставив Колтакову вести катер. Но, несмотря на спокойную сметливость рулевого, невозможно было избежать потерь и повреждений. Мотористы, получая ожоги, сбили пламя, охватившее масляный бачок, вниз утащили боцмана, а на трапе у мостика лежал сигнальщик, убитый наповал. Осколками того же снаряда были поранены ноги Колтакова, и Долганов хотел заменить рулевого учеником, но Колтаков, болезненно улыбаясь, заверил, что справится. Малоопытный рулевой мог погубить катер промедлением в маневрах, и Долганов не настаивал на выполнении своего приказа.

Наконец удалось подойти к разведчикам, и с двух катеров перебросили сходни, разведчики с пленными побежали на корабли под частый посвист пуль, и вода клокотала от разрывов снарядов и мин. Завели моторы, чтобы вывести корабли на середину залива; катерники снова понесли тяжелые потери.

Долганов уже не командовал. Он, правда, указал Колтакову генеральный курс отхода, прежде чем свалился на тумбу телеграфа, но вести катер по прямой под продолжавшимся огнем немцев значило бы его загубить. Надо было маневрировать на неправильном зигзаге, увеличивать и уменьшать скорость, чтобы обмануть противника. И Колтаков, сжимая штурвал, посматривал на компас, давал через сигнальщика приказания мотористам. Он заменил Долганова, хотя из его рваных ран лилась кровь и ослабевшие ноги едва поддерживали его. Потом рулевого пришлось отправить в лазарет вместе с Долгановым. Оба лежали в одном госпитале, и Колтаков на костылях притащился к койке Долганова, чтобы рассказать о последних минутах боя и о вынужденном своем командовании катером.

Долганов сказал:

— Вы отлично справились, Колтаков. Подучиться нужно, и будете хрощим помощником командира «охотника».

— Нет, это не по мне, я к большим кораблям привык, и рулевое дело моему сердцу родное,— важно ответил Колтаков.— Меня обратно на «Упорный» обещают отправить.— Но он не хотел обидеть катерника, каким считал Долганова, и с искренним чувством добавил:— Конечно, с вами приятно было б служить.

— Что ж, только гора с горой не сходится,— весело сказал Долганов.— Может быть, еще встретимся.— Он знал, что и ему предстоит служба на «Упорном».

Теперь, когда они снова пришли в Архангельск, Долганов, естественно, принял приглашение Колтакова посмотреть с Наташей его первенца. Сенцов и Бекренев тоже захотели увидеть новорожденного, а Наташа обрадовалась приглашению по своим особым причинам.

Когда на узком тротуаре Бекренев и Сенцов пошли вперед, Наташа оживленно говорила:

— Это так интересно. Молодая мать, ребенок... Я хочу посмотреть, как ты возьмешь его на руки...

Он не понял:

— Не знаю, дадут ли мне. Колтаков жаловался, что бабушка его и близко не подпускает, говорит, память можно.

— А я бы доверила...

Он все еще не понимал:

— Вступись, вступись за Колтакова.

Наташа вздохнула:

— Отчего ты такой непонятливый, Коля? Я о тебе говорю... Когда ты будешь отцом...

Николай Ильич повернулся к ней, и лицо его осветилось тем мальчишеским выражением, которое бывало у него очень редко и которое Наташа особенно любила.

— В самом деле? Как же? Когда же?— И, уже встревожась, добавил:— Ты так неосторожна. Надо лежать, а ты пустилась в поездку.

— Но, дорогой, это нескоро.

— Нескоро?

— Ну, конечно.

Ощущение полноты и глубокой радости жизни вернуло Николая Ильича к мыслям, которыми он жил последние дни.

— Знаешь,— сказал он, неожиданно для Наташи, вводя ее в свой военный мир,— случайно добрался до одной идеи. Если адмирал одобрит, если я ее осуществлю— вот тогда будет рассказывать старик Долганов о войне Кольке... или Наташеньке. Ведь дочка— это тоже очень хорошо!

Он стиснул наташину руку.

Едва познакомившись, две Наташи прониклись друг к другу тем доверием, которое мгновенно связывает молодых женщин, объединенных материнскими заботами. Пока они шептались с таинственными лицами, пока Наташа расспрашивала, как часто кормят маленького и чем прикармливают, пока она рассматривала распашонки и чепчики, стараясь запомнить покрой, маленький Колтаков переходил из одних мужских рук в другие. А бабка Колтакова, подставляя ладони с настроженной готовностью в любую минуту притти на помощь, строго командовала мужчинами, как братья, как держать, как поворачивать ребенка. И старые строгие глаза ее следили за лицами моряков. Много моряков видела она па своем веку и знала, как моряк ценит семью; как нежно и растроганно любит детей. Недаром так вот крутятся вокруг новорожденного, умиляясь при взгляде на крошечное существо...

— С тебя нянька знатная выйдет,— заявила она Сенцову.— Не женат? Ой, напрасно. Тебе десять сынов иметь надо и десять дочерей— всех справишь и в люди выведешь.

— А мне что скажете?— заинтересовался Долганов, оглядываясь на Наташу.

— А тебе, батюшка, что тосковать? Первенец не за горами, и есть с кем совет держать. Ну, ты!— набросилась она на Колтакова, пытавшегося поднять ребенка.— Это тебе не колесо крутить. Растопырил руки...

— Никакого у вас понятия, мама, о нашем штурвале,— притворно обиделся Колтаков.— У нас не колеса, а рукоятки, как в трамвае.

— Еще того лучше. Оторвешь ненароком ручку.— А когда Колтаков отошел к жене, она шепнула Долганову:— Люблю парня, а только нельзя иначе— забалуется ваш брат от ласк быстро. Тут,— попрекнула она,— много наших бабочек и девушек с прошлого года ждали вашего корабля.

Бекренев спросил Колтакова:

-- Товарищи были у вас?

— Некоторые уже два раза прибегали. Женатым охота младенца посмотреть. Вот только Ковалева словно подменили. Мрачный что-то...

— Воевать хочет,— пояснил Долганов,— жалуется, что мало воеет корабль.

— Наташин браток, мальчишечка, все пристаёт — расскажи про морской бой. А что я расскажу?— сказал Колтаков.

— Еще будет у вас что рассказать,— многозначительно сказал Долганов.

Наташа, взявшая на руки ребенка, встревоженно взглянула на мужа. Она лучше всех уловила тайный смысл обещания и вспомнила, что говорил ей муж по дороге сюда. Но тут маленький Колтаков, до сих пор равнодушно переходивший из одних рук в другие, вдруг потянулся к Наташе вытянутыми и жадно открытыми губками, зачмокал и настойчиво закричал, тыкаясь лицом в ее грудь.

— Ишь, сорванец, учуял, кто кормить сможет,— с торжеством сказала бабка.

Наташа покраснела и торопливо передала ребенка матери.

Когда они вышли на улицу и в синих сумерках простились с друзьями, Наташа взяла мужа под руку и прошептала:

— Я не знаю, как тебе объяснить, но я теперь совсем другая, более умная и крепкая, чем до войны, чем когда бы то ни было...

Он задумался. И потом заговорил, медленно и как будто проверяя свои мысли, которые столько раз перебирал в одиночестве, сам с собою:

— Мы все стали взрослее. И, кажется, не только умнее и крепче, но и сердечнее. А может быть, вернее сказать иначе: мы стали вровень со страной. Нам теперь по плечу и наследство прошлого и будущее страны.

Они долго шли молча, потом Наташа подняла голову и еле слышно спросила:

— Она очень опасная... операция по твоей идее?

Он знал, что, может быть, милосерднее солгать, но не хотел лгать, потому что ложь не получилась бы, а успокоить Наташу должна была та сила жизнерадостной уверенности, которую он в себе чувствовал.

— Может быть. На войне все опасно. Но со мною ничего не случится.

Наташа ничего не ответила, только ее маленькие похолодевшие пальцы доверчиво сплелись с его большими твердыми пальцами.

25

Ледоколы, тральщики и черные, тяжело нагруженные транспорты повернули. Дымы большого конвоя растаяли на темном горизонте. Миноносцы остались одни с огромным пестро раскрашенным теплоходом.

Необозримая зыбь сливалась на далеком горизонте с синью высокого неба, и на ней миллионами бликов отражалось незаходящее янтарное солнце. Каменные россыпи новоземельского берега угадывались на северо-востоке; изредка проплывали льдины.

За войну Сенцов не был в этих краях, и хлопотливые птицы папомнили ему счастливые месяцы плавания на гидрографическом судне. Попрежнему серые буревестники парили над самой поверхностью воды, упорно плыли за кормой, терпеливо выжидали часа, когда за борт выбросят объедки. Моевки и белые хитрые «бургомистры» взмывали над неуклюжими, короткокрылыми соперниками. Выкрик «рот-тет-тет» перебивался плачем чаек. Щурясь от косых лучей солнца, Сенцов наблюдал полет большой стаи казарок. У крыла мостика камнем пал на воду поморник. У него были длинные рулевые перья темнубурого цвета и белая грудь. «Ю-ю-ю-ю» — с каким-то присвистом крикнула птица почти над ухом Сенцова, и он невольно отпрянул.

— Что штурмовик! — одобрил Колтаков. — Вот люрики и чистики — те больше в дрейфе лежат, как дозорные суда.

Сенцов подумал, что война вторглась даже в представления о природе. Теперь сам он, заметив пенный след на воде после пробега резвой касатки, сравнивал его с движением торпеды и тревожился, что легко сделать непоправимую ошибку — принять торпеду за касатку.

Он хотел сказать об этом Николаю Ильичу или Бекреневу, но услышал доклад наблюдающего и убедился, что эта же мысль владеет всей вахтой.

В этот день Сенцов почти не видел Николая Ильича. Пользуясь затишьем, Долганов продолжал разрабатывать план удара миноносцев по неприятельскому конвою в комбинации с катерами и авиацией. Он успел просмотреть в Архангельске и в плавании стопку наставлений. Параграф за параграфом вырастала записка о будущем бое. Ему, однако, не хватало предметного знания тактико-технических средств катеров, и он подсадовал, что в Архангельске поспешил отпустить Игнатову в бригаду торпедных катеров. С консультацией катерника было бы вернее делать предположения и выводы.

Когда Сенцов вошел перед ужином в каюту, Долганов обрадовался:

— Ну-ка, инспектор боевой подготовки, что ты знаешь о новых торпедных катерах?

Он донимал Сенцова дотошными вопросами о скоростях, маневренности, дымовой аппаратуре и средствах связи, но Сенцов отвечал обстоятельно и полно, как будто на этих катерах, лишь несколько недель назад поступивших на вооружение флота, прошла его командирская жизнь.

— Ты настоящий штабной офицер. И откуда у тебя такая универсальность?!

Сенцов был польщен, но упрямо отмахнулся:

— Если мое мнение для тебя что-нибудь значит, так послушай, Николай. Брось мудрить. Честное слово, при всем уважении и любви к тебе... твой план — озорство в наших условиях.

— Почему?

— Потому что мы не можем рисковать миноносцами для дел, с которыми в конечном счете управятся и торпедные катера и разные виды авиации.

— Не можем рисковать миноносцами?

— Да, да. И, пожалуйста, без насмешки и негодования. Миноносцам достался будничнейший труд. Десятки конвоев, конечно, вам приелись. Но в результате обеспечены наши коммуникации по всему Северному пути.

— Мне это известно, Сережа, — отозвался Николай Ильич.

— Боюсь, ты забываешь, что миноносцев у нас не так много. Мы могли выполнять оперативные задания флота потому, что уберегли почти все корабли. Брось свою затею.

— Чепуха! Адмирал сам имеет в виду набеговые операции миноносцев.

— В темное время, пожалуйста.

— А кто тебе сказал, что я отбрасываю фактор скрытности и внезапности? Катера с дымовыми завесами, скрывающие противника, ломающие, дезорганизирующие его походный ордер, разве это не средство заменить темноту? Лучше всякой темноты!.. В конвоях мы отражали и авиацию и подводные лодки. Не приbedняй нашу конвойную работу. Зенитной обороной мы отбили у немцев охоту устраивать массированные налеты. И научили немецких подводников опасаться атак на миноносцы. Нашим людям кажется, что они ходят слишком спокойно, но это потому, что походов много — и только на пятом, даже на десятом, приходится сталкиваться с врагом. Вопрос в том, чтобы эффективно использовать наше главное оружие — торпеды, использовать в морском бою.

— Почему же обязательно миноносцам? Катерники и подводники имеют более выгодные условия для торпедных атак.

— Голова садовая! Да ведь выгодные условия создаются. Давно ли считалось незыблемым правилом, что торпедные катера работают в ночное время?

Оба начали горячиться. Николай Ильич против Сенцова мобилизовал адмирала Макарова и цитировал его «Рассуждения по вопросам морской тактики». Он стучал погтем по карте Варангер-фиорда и твердил, что без массированных ударов всеми средствами флота невозможно полностью закрыть вход и выход из фиорда, а в этом важнейшая из задач флота. Но Сенцов упрямо отстаивал свою позицию осторожного использования больших кораблей.

— Что ты меня Макаровым пугаешь? Отлично знаю, что корабли назначены для войны. Вопрос в целесообразности. Надо конкретно учитывать обстановку театров. Вот японцы в начале этой войны имели преобладание в линейных силах на Тихом океане, а попытались их использовать далеко от баз, не обеспечив авианосцами, и потерпели поражение.

Долганов вдруг рассмеялся.

— Беру свои слова обратно, Серега. Энциклопедические знания и способность рассуждать, оказывается, могут не совпадать. У тебя мысли не посневают за тихоходным тральщиком. Ты сам убедишься, что я прав.

— Усы прозакладываю, что не прав.

— Ой, потеряешь усы! Нечего будет крутить, когда станешь смущаться.

Сенцов фыркнул и приготовил язвительный ответ, но Николаю Ильичу принесли метеосводку. Он прочитал вслух о быстром приближении мощного циклона и сказал:

— Как будто и не по сезону. Правда, птицы что-то учуяли. Заметил, Сергей?

— Ничего не заметил, летают, — ответил Сенцов, желая продолжать спор.

Николай Ильич подошел к барографу и постучал по стеклу, Сенцов невольно поглядел в сторону прибора и увидел кривую, круто идущую вниз. Долганов нахмурился и досадливо передернул плечами. Лучше, если бы Наташа сейчас не занималась метеорологией. Вероятно, она составляет карту погоды и тревожится, а ей нужен покой.

— «Папанинец» — прочная посудина, — сказал Сенцов. — Ты чего беспокоишься?

— Я не беспокоюсь, — ответил Николай Ильич.

— Нет, я чего не понимаю, — возвратился Сенцов к прерванному разговору, — почему ты такой ненасытный? У тебя завидное положение, интересный кораблестроительный проект, ордена, любовь подчиненных, наконец, семья.

— К чему ты? — неохотно отозвался Николай Ильич.

— Командующий рекомендует тебя как творческого офицера, а ты ставишь свою репутацию, весь свой боевой опыт на одну сомнительную карту.

Николай Ильич брезгливо сморщился и ответил уже из-за портьеры, одеваясь по-штормовому:

— От тебя я не ожидал такого рассуждения!.. Подумай, Красная Армия комбинирует удары всех видов оружия, и всем это кажется естественным. Мы должны делать то же на море. Вот и все. Очень хорошо было бы иметь для этой цели больше кораблей, но надо искать и наличным средствам новое тактическое применение. Так поступали адмиралы Ушаков и Макаров. Так учат нас. В этом тоже творчество. Мы должны уважать профессию офицера по-настоящему, по существу и поэтому изобретать, конструировать, быть мыслителями, педагогами, учеными.

— И практиками.

— Ну, конечно! Железными практиками, практиками-новаторами. Мы на лаврах почивать не будем, к чорту погоним ограниченных исполнителей, казенные души без искры воображения и дерзости.

Сенцов упрямо покачал головой:

— Все это хорошо и верно в принципе. Но твой проект невыполним и авантюрен.

— Поживем — увидим, — сказал Николай Ильич, появляясь гото-

вым к непогоде и распахивая по карманам штанов платок, табак, трубку, часы, карандаши, блокнот с уменьем человека, прошедшего на мостике корабля половину своей жизни.

За час, который Сенцов провел в каюте с Долгановым, море стало неприветливым. Все живое, кроме одиноких буревестников и круглоголовых глупышей, уже скрылось от непогоды, и безветренная тишина казалась зловещей.

Волны, хотя воздух совсем оцепенел, свободно перекатывались по палубам и проникали в горловины. Мимо Сенцова пробежал мокрый Кийко. Пригибаясь под ударами воды, мичман проверял задрайки горловиц, люков, командовал спешной уборкой каких-то предметов с остров. Вокруг штурманской рубки тоже гуляла вода, а когда Сенцов поднимался на мостик, по его фуражке хлестнул язычок большого гребня. Следующий гребень окатил сигнальщика левого борта и с грохотом разбился на поручьях. Потоки воды стекали с зачехленных приборов и тумб пулеметов, пока капитан-лейтенант пробирался под защиту козырька рулевой рубки. Здесь он осмотрелся и увидел, что с северо-запада — насколько мог охватить его глаз — наступают глянцевые, будто ворошенные, высокие валы. Они вздымались и рушились, лагоемые и теснимые задними шеренгами. В их ускоряющемся движении обозначалось грозное приближение циклона. Полоса солнечного света еле пробивала тяжело нависшие облака, но с минуты на минуту она становилась слабее и уже. И вдруг мрак окружил корабли. Транспорт, державшийся в кильватере за «Упорным», заволокла серая пелена. Длинный, прямой и широкий след миноносца оборвался в нескольких метрах за кормой в мрачной и гладкой пропасти. Корабль полез вверх по волне и ринулся в пучину. Выставив голову с крыла мостика, Сенцов попытался разглядеть концевой «Умный», но тот уже совсем исчез из поля зрения.

В этот момент все люди внизу заняли боевые посты. Отделение Балыкина быстро поднимало пары в своем котле, и старшина объяснял новичку, еще не бывшему в шторме, что теперь пар надо сохранять на марке, чего бы это ни стоило, потому что корабль будет плохо слушаться руля и для удержания его на курсе придется основательно подрабатывать машинами. Гул от захлебывающихся воздуходувок, чавканье насосов заглушали голос Балыкина, но молодой матрос понял командира.

Вода обрушилась на мостик и забурилась у ног вахтенных. Внезапный порыв ветра сбил сигнальщиков в кучу, притиснул Бекренева и Долганова к телеграфу, бросил Сенцова на будку акустика. После долгой тишины вой и свист ворвались в уши вестниками атакующей стихии.

Теперь корабль заметно потерял скорость, и Колтаков едва удерживал его на курсе. Обернувшись к рулевому, Сенцов увидел знакомое суровое лицо и вспомнил шутливое объяснение между Колтаковым и старухой-тещей. «У нас, как в трамвае», — пояснял Колтаков. Сейчас, во всяком случае, «трамвай» сошел с рельсов. Рулевого то толкало к компасу, то отбрасывало назад на переборку, но руки его не сдавались килевой качке и уверенно лежали на рукоятках штурвала.

Второй порыв шквала с визгом приблизился из холодного сырого

мрака. Мачта, непрерывно очерчивавшая порывистые полукруги, завибрировала и застонала. Натянутые, как струны, фалы тонко загудели. Сенцов поглядел за борт и окликнул Николая Ильича. Море было в белой кипени. Под нею излучался голубовато-зеленый свет. От этого потаенного света горизонт вдруг расширился, и на бугристой равнине воды появились на одно мгновение «Папанинец» и «Умщый». Затем корабли исчезли, черная туча пролилась дождем и, казалось, во всей вселенной не осталось ничего, кроме мостика «Упорного». Мрак и яростный рев теперь прочно овладели миром на многие часы.

Сенцов отыскал себе удобное место за спиной Колтакова. Здесь он следил за трудной обороной против шторма. Волны перекатывались с грохотом, в пене от чудовищной ярости. Они трясли корабль и вжимали его в воду, когда у «Упорного» не хватало проворства быстро перелезть через гребень. Они подбрасывали корабль весом в две тысячи тонн, как шлюпку, и тогда «Упорный» — во всю свою стометровую с лишним длину — провисал над пропастью, удерживаясь лишь носом и кормою на гребнях двух гигантских валов. Создавалось ощущение, что корабль изгибается. Все крепления подвергались такому испытанию, какое не могли предусмотреть строители, и, казалось, сейчас корабль сломится пополам. Но в следующую секунду «Упорный» упирался винтами в водяную толщу, взбирался на волну и упрямо пробурлакивал себе путь в шедшем навстречу водопаде.

После яростных ударов, после взлетов вверх, после падений в пустоту вдруг наступал миг обманчивой тишины, и этот миг представлялся более страшным, чем самое неистовое движение.

Постепенно Сенцовым овладевала непреодолимая усталость. Несколько раз он смыкал глаза, и его сознание выключалось, хотя он продолжал покачиваться на отяжелевших ногах, цепляясь за стойку. Пробуждал его телефонный звонок над ухом или особенно мощный накат волны. Он вздрагивал и, с трудом различая фигуры Долганова, Бекренева, Колтакова, всматривался в маленький мирок, живший, вопреки слепой ярости моря, по заведенному порядку. Движение по кораблю, который волны накрывали от носа до кормы, было трудным и опасным. Давно уже не сменялись вахты. Люди работали и отдыхали там, где их застал натиск бури. Видя все те же лица, в одних и тех же напряженных позах, Сенцов потерял ощущение времени.

Должно быть, под утро Сенцов еще раз проснулся от настойчивого долгого звонка. Он снял трубку и повторил Долганову две радиogramмы. В первой из них капитан «Папанинца» сообщал, что у него вышло из строя рулевое управление, что вследствие аварии правой турбины «Папанинец» не может управляться машинами и дрейфует на зюйд-ост. Во второй радиogramме Неделяев просил разрешения взять «Папанинца» на буксир.

Сенцову было неловко спрашивать Долганова, что он собирается делать. В призрачно сером свете дня заметно было, что Николай Ильич измучен бессонницей и напряжением, и Сенцов укорил себя за то, что отдыхал, когда все остальные работали сверх сил. Но он все же спросил:

— Будет ответ?

— Будет,— сказал Долганов и замолчал, потому что к телефону

вызвали Бекренева и еще потому, что говорить в вое ветра было трудно и приходилось кричать, нагибаясь к уху собеседника.

В течение десяти дней, проведенных в Архангельске, Долганов наблюдал погрузку «Папанинца». Теплоход принимал в свои трюмы продовольствие и оборудование для военно-морской базы. На нем были боеприпасы, топливо и запасные части для самолетов. Наконец на «Папанинце» были люди, которые шли сменить зимовщиков.

— Берегите «Папанинца», как зеницу ока, Долганов. Если немцы утопят транспорт, едва ли мы успеем в этом году собрать снова все необходимое, чтобы упрочить положение,— сказал командующий флотилией.

Накануне ухода из Архангельска Долганов был у капитана транспорта. Этот человек не стал бы зря сеять тревогу. Ему пришлось очень туго, если он так радирует.

Николай Ильич убрал выбившуюся прядь волос под капюшон, нащупал в кармане трубку... Когда он выбирался с теплохода, к нему тянулись десятки дружеских рук, на него смотрели с доверием сотни мужчин и женщин.

«Наш охранитель»; «с гвардейцами спокойнее, чем у Христа за пазухой»; «в базе устроим вашим экипажам праздник». С тягостным чувством Долганов припоминал сейчас десятки добрых слов, которыми его напутствовали, когда он спускался в катер. Долганов знал, что шторм распространился на сотни миль, что корабли попали в окружение, что к ним никто не пробьется. Надо справиться своими силами, надо победить циклон, выстоять, пока он не выдохнется.

Бекренев слушал доклад по телефону. Он сказал:

— Ясно. Доложить, когда закончите.— И, повесив трубку, пояснил: — в районе второй машины дает себя знать старая трещина. Придется подождать с поворотом, пока закончат постановку распорок.

Долганов кивнул головой, позвал связиста и продиктовал радиограмму на «Умный». Неделеяев должен был подать конец на корму транспорта и заменить ему руль. Потом Долганов сообщил капитану «Папанинца» в выражениях, которые должны были успокоить пассажиров, что оба миноносца приготовились к буксировке.

26

Обычного несения вахты на орудиях не было с того часа, когда миноносец стало накрывать до верхних надстроек бушующей водой. Артиллеристы и минеры скучали в кубриках, спали, грызли воблу, чтобы предотвратить приступы морской болезни, или просто валялись в койках, утомясь от духоты, грохота волн и безделья.

Ковалев и его расчет опередили товарищей, когда понадобилось укреплять переборки и конопатить течь. В этой работе они вымокли и выпачкались. Ледяная вода, смешанная с мазутом и маслом, клекотала. Эжекторы не успевали ее выкачивать. Каждую царапину остро щипала разъедающая морская соль. Однако артиллеристам было радостно, что они выполняют нужное дело. Легкий озноб после прогретого воздуха кубрика был почти приятен. Поработав, матросы почувствовали голод, и веселый замочный вызвался принести хлеб и консервы.

Ела группа Ковалева с шуточками и прибауточками, потешаясь над теми, кто выказывал отвращение к еде.

— Главное — остойчивость. С полным грузом невозможно перевернуться, — тоном лектора объяснял замочный, придерживая ускользящую на край стола банку.

Ковалев, как обычно, говорил скупно, но все чувствовали, что аврал встряхнул, оживил старшину.

Когда по трансляции сообщили об аварии «Папанинца» и предстоящей буксировке, Ковалев оказался первым помощником боцмана Кийко. Он хлопотал, чтобы люди оделись потеплее в непромокаемое, чтобы никто не выходил наверх без рукавиц, и наставлял, как лучше пробираться подветренным бортом на корму, чтобы не смыло волною. Он азартно и ловко вместе с матросами боцманской команды волочил бухту стального троса и приготовился сам бросить проводник.

В ожидании подхода корабля к «Папанинцу» группа Ковалева разместилась за щитом орудия. Люди тесно прижимались друг к другу, когда волны накрывали их с головой, а потом, фыркая и моргая покрасневшими глазами, прикидывали расстояние до транспорта и спорили, кто раньше подойдет. «Умный» был ближе, но ему мешала встречная волна. «Упорный» был дальше, но ему помогал ветер.

В расчеты спорщиков вносило путаницу неправильное движение транспорта. Огромная неуправляемая коробка болталась между валами, покорно разворачивалась то влево, то вправо, ложилась на борт, черпая воду, или зарывалась в волну носом, и тогда через ее полубак низвергался поток, заливая грузы на палубах и разбиваясь на струи в надстройке спардека. Страшно было подумать, что эту громаду потащит едва видимый на воде «Упорный».

Даже любивший пофорсить Неделяев два раза проскочил, не подав буксирный конец, из опасения получить удар в борт всей тяжестью «Папанинца». Ему пришлось возвращаться, описывая большой круг, и в это время более осторожный Бекренев, регулируя скорости и давая задний ход правой машиной, прошел на расстоянии, позволившем забросить проводник. Теперь надо было удержаться на близкой дистанции, чтобы вытянули буксир и в то же время избежать столкновения с транспортом. Обычная работа машинами в «раздрай» — одной вперед, другой назад — сейчас плохо помогала удерживать корабль на месте. Колтаков должен был непрерывно переводить рукоятки штурвала. И почти так же непрерывно телеграфные сигналы меняли режим машин.

На носу транспорта работали бывалые арктические моряки, и трос скоро вытащили к высокому форштевню. Но в тот момент, когда Бекренев заметил несколько рук, протянувшихся к стальному тросу, яростный вал кинулся на транспорт, швырнул его в сторону, проводник лопнул, и трос начал тонуть.

«Упорному» грозило наматывание каната на винты. Кийко заставил немедленно перетягивать трос по борту подальше от кормы. Матросы проделали эту работу, встречая грудью жесткие удары волн. Ветер теперь был позади траверза, и люди, тащившие трос, попадали в неистовый водоворот, в страшные быстрины. Порою волны тащили их борт, и они покачивались вокруг спасательного троса, ожидая, когда новая волна кинет их снова на корабль.

Николай Ильич подсадовал, что передоверил трудный маневр молодому командиру. Надо было заходить навстречу дрейфующему транспорту. Теперь в борьбе с морем новый маневр затянется больше чем на полчаса, а может быть, и на весь час. Следовало также к тросу прикрепить три бросательных конца с анкерками. С транспорта их легко взяли бы кошками. И, наконец, надо соединить стальной трос с якорь-цепью для большей прочности буксира.

Охватив плечи Бекренева и пригибаясь вплотную к его уху, Николай Ильич прокричал свои соображения.

Бекренев слушал, закусив губы, с выраженным обиды в лице. Конечно, он и сам все это знал, но положился на артиллерийского офицера и мичмана Кийко. Подвели. Теперь Неделяев натянет нос и будет с месяц хвастать, как у него все ловко делалось, а на «Упорном» в шторм пытались подать буксир по-рейдовому.

Обрывки слов долетели к Сенцову, и он решил спуститься па ют. На трапах ветер был в спину, и двигаться было сносно, но, дойдя до шкафута, он невольно отступил.

Впереди бурлили водовороты, и только штормовой леер изредка выходил из волн, указывая, что здесь не пучина моря, а палуба корабля.

Сенцов встретился с Ковалевым.

— Путешествие здесь может быть с приключениями, — прокричал он. Ковалев, сложив свои руки в рупор, прогудел:

— И не ходите. Команда отдыхает, пока снова не подыдем.

В тесном проходе к каютам офицерского состава и умывальникам, у двери в ленинскую комнату, отбивали чечетку промерзшие бойцы. По рукам путешествовал объемистый кисет, и теплый махорочный дымок одолевал соленый запах воздуха, наполненного мельчайшими брызгами воды.

Сенцову показалось, что в обращении старшины к нему звучит некоторая снисходительность опытного моряка к береговому. Захотелось проявить свою морскую умелость. Но транспорт был действительно далеко, и гребни огромных водяных гор часто совсем закрывали его высокий борт. Капитан-лейтенант вошел в коридор. Занавеска из штурманской каюты была отдернута, и оттуда доносился свистящий хrap Кулешова. Штурман спал на спине, в толстом канадском костюме, спустив с головы капюшон. У него хватило сил снять лишь резиновые сапоги, и они катались теперь на палубе каюты в лужице воды вместе с транспортиром. Грохот волн был здесь ощутительнее, чем наверху. После каждого удара казалось, что корабль протаранен и разламывается на части. Но у Кулешова эти звуки не вызывали никаких опасений. Он наслаждался коротким сном между тяжелыми вахтами: всхрап; пув, потягивался и поглаживал рукой небритую щеку.

В других каютах был такой же беспорядок и так же, не раздевшись, спали мертвым сном свободные от вахты офицеры.

В кают-компании перевернутые и связанные кресла порвали путы, но, стиснутые всей массой между колонками шлюзов, с глухим шумом ползали на узком пространстве. Чугунная статуэтка девушки со светочем в обнаженной руке, которую приобрел для кают-компании еще Дылганов, лежала ничком, грубо закутанная во флагдук, и рука ее сиротливо взывала о помощи. Сенцов подошел к барографу и ахнул:

барометр продолжал резко падать. На такой низкой шкале Сенцов еще никогда не приходилось видеть перо барографа, и он подумал, что ксрабль, наверно, в самом центре циклона. Широкий кожаный диван помянул Сенцова. Однако он, подавляя зевок, вернулся на палубу.

Транспорт теперь дрейфовал с другого борта. К нему подходил «Умный» и писал прожектором сообщение. По «Умному» можно было представить себе, как выглядит «Упорный». Над водой выступали только мостик, широкая труба и надстройки. Торпедные аппараты, носовое и кормовое орудие были в клокочущей пене.

Часть отдохавших краснофлотцев начала пробираться по шкафуту на ют, и Сенцов решил идти с ними в энергопост. Он ухватился за штормовой леер и побежал, пользуясь минутой, когда волна отхлынула с подветренного борта. Но на середине пути встала темнозеленая стена воды, холодный гребень выгнулся над людьми, и, прежде чем Сенцов втянул голову в плечи, он очутился под водой. Стремительный напор оторвал его ноги от палубы, швырнул вверх, с размаху бросил на переборку и повернул вниз головой, так как Сенцов не хотел выпустить троса. Отплеываясь от горькой воды, поддержанный чьей-то товарищеской рукой, он стал на ноги. Вода схлынула. Можно было продолжать бег к спасительной рубке механика.

Несмотря на то, что дверь из энергопоста открывалась прямо на палубу, здесь было тепло и сухо, и мокрый Сенцов смущенно остановился за комингсом.

— Хотите картошки? Чаю? Ничего не хотите? Тогда сушитесь.— Механик спустил ноги с дивана, очищая для гостя место перед электрической грелкой, и забрюзжал:— Долго еще эта чортова канитель будет длиться? Хоть бы уж взяли посудину и пошли вперед. Маневровые машинисты с ног валяются. Смотрите,— он показал на светящиеся в панелях зеленые, белые и красные кружки,— какое рабочее напряжение. Почти без резерва работаем. А если еще пар сядет?!

— Авось не сядет,— обнадежил Сенцов.

— Хм... Если паропроводные и водяные трубки потекут, на такой качке нелегко будет заглушки ставить. Машинисты и так изжарились. Ну, конечно, там на мостике знают одно—мы с «Упорного».

— Это же ваша любимая присказка, механик: «Мы с «Упорного».

Офицер опять хмыкнул и обмяк.

— Моя. И никто кроме БЧ-пять¹ не имеет на нее прав. Мои лошади везут. Но...

Он пригнулся и сказал шопотом, хотя они были в посту одни:

— Ежели провозимся сутки, нам пехватит топлива до ближайшей базы. По примеру неких умников в котлах жечь мебель и книги? Решетом носить воду?

— Справимся скорее. Еще час-другой — и заведем буксиры. Стыдно двум миноносцам не управиться.

— А про шторм вы забыли? — чуть ли не с торжеством сказал механик.— За всю службу я в таком шторме третий раз. Первый случай, когда на поиски папанинской льдины ходили, второй — рыбаков на траулерах выручали, и вот третий. Да этот, пожалуй, чище. Обыкно-

¹ Боевая часть пятая—машинисты, электрики, трюмные.

вешний шторм на все голоса поет, а этот — который час уже — тянет одну волчью ноту без передышки. Одна у меня надежда, что на «Папанинцев» механики исправят повреждения.

— А если «Папанинец» не исправится и в самом деле здесь задержимся? — спросил Сенцов. — Пропадём, что ли?

Механик усмехнулся.

— Эх, Сергей Юрьевич, был бы ты чужой человек, я бы тебя поугал. А ты знаешь то же, что и я. Пока на мостике Николай Ильич — всё «вери уэлл». Каждый матрос так думает. И мы, грешные. Можно, не рассуждая, делать свою работу. Он вывезет.

Сенцову всегда приятно было слушать похвалы Долганову, но он сердился за давешний разговор и ворчливо заявил:

— Непогрешим римский папа. А у нашего Николая Ильича бывают заскоки. Мы вчера крепко поспорили. Хочет с миноносцами днем итти в набег к норвежским берегам...

Повторяя свое мнение о плане Долганова, Сенцов вдруг понял, что боится за его жизнь, и, злясь на себя, упрямо буркнул:

— Озорства не люблю.

А механик покрутил головой и посвистел. Наконец он сказал:

— Ишь ты, озорство... Может, и озорство... Но, значит, можно. Я, Сергей Юрьевич, в академии учился, а по своей специальности с комдивом не спорю. У кого еще такая голова?

— Голова хорошая, и сердце хорошее. Но тут он ошибается.

— Николай Ильич ошибается про себя. Вслух — ни-ни... Очень просто, — разъяснил он: — подумает неправильно, тогда семь раз проверит, а уж когда утвердился, ошибки не будет.

Корабль резко лег на борт, и в дверь не вошел, а влетел командир машинной группы.

— Беда! — угрюмо доложил он, отряхиваясь и стирая воду с лица. — У Балыкина водогрейные трубки лопнули.

— Сейчас спущусь к нему, — неторопливо сказал механик. — Оставайтесь в посту и передайте в другие котельные, чтобы поднимали пар до максимума. А за доклад не по форме, товарищ старший лейтенант, арест на сутки при каюте. В базе, конечно.

Балыкин успешно справлялся с работой, несмотря на то, что держать пар на марке было трудно. Давление в циркулярной помпе ослабевало, масло охлаждалось, турбовентилаторы захлестывались волной, а болтанка мешала разглядеть подлинный уровень в водомерном стекле. Балыкину приходилось носиться от одного поста к другому и неустанно проверять показания приборов, доверяясь прежде всего своему чутью. Он ожесточался, без конца пил воду, но не очень тревожился. По времени шторм должен был уже итти на убыль, а как только окончится качка, обнажающая винты, работать станет легче. Течь в водогрейной трубке была досадной неожиданностью, и он нетерпеливо дожидался разрешения механика открыть лаз в топку и продуть пучок трубок. Он злился, что командир группы не решился сам принять его предложение, и убежал к командиру части. На доклады уходит дорогое время. Недоставало, чтобы по поводу аварии беспокоили командира корабля! Балыкин облегченно вздохнул, когда механик спустился и, выслушав его сообщения, приказал действовать.

Торопливо надевая ватник и обмазывая лицо жиром, старшина спросил, что наверху.

— Слабеет ветер?

— Слабеет!.. Выюшку со стальным тросом сейчас вывернуло вместе с кронштейном. К вам вплавь добрался,— коротко определил обстановку механик. Он умолчал, что при этом ударе шторма покалечены и, возможно, убиты люди. Умолчал не потому, что боялся за стойкость своих подчиненных,— просто стремясь скорее попасть в шахту котельного, он не имел времени разбираться в событиях на палубе.

Это досталось на долю Сенцова, захлопнувшего за механиком крышку люка.

Мимо Сенцова протащили в лазарет бойца с разможенной ногой и другого бойца с разбитой и залитой кровью головой, и тут же он увидел, как исчезает в волнах беспомощное тело третьего матроса. Прежде чем корабль изменил курс на утопающего, его накрыл огромный вал, и тело больше не показалось на поверхности. Ползком, прижимаясь к переборке, Сенцов настиг группу матросов, ухвативших выюшку с тросом. Люди упорно сопротивлялись качке. Корабль в неистовом рывке летел с волны в пропасть, и выюшка с намотанным тросом яростно прыгала, затем корабль становился дыбом — и стальной груз тащил матросов к корме на скользкие бомбоскаты. Сенцов вмешался в толпу и присоединил к общим усилиям свои. Давняя отвычка от физической работы сказалась сразу. На коже появились ссадины, ладони защипала солено-ледяная вода.

Потом, едва они заарканили и принайтовили увертывающуюся выюшку и обвели трос вокруг платформы орудия, раздалась команда приготовиться к заведению буксира.

Увлеченный работой, Сенцов забыл об опасности, забыл о цели трудных маневров корабля и удивился, когда рядом вырос высокий борт транспорта. Теперь артиллерист, у которого были умелыми помощниками Кийко и Ковалев, хорошо расставил бойцов, и три проводника полетели с бочонками к «Папанинцу». Кошки ухватились за анкерки. И мощный стальной канат сразу выскочил из воды гибкой змеей. Матросы споровисто потравили¹ еще несколько десятков метров; транспорт, преодолевая встречную волну, пошел за «Упорным», но еще вилял из стороны в сторону, пока с кормою «Папанинца» сближался «Умный». Когда Неделеяву удалось завести второй буксир и заменить им рулевое управление транспорту, буксировка сразу облегчилась. Весь сцепленный караван заметно пошел вперед, хотя казалось невероятным, что у миноносцев хватит сил направлять и тащить высокую неуклюжую громаду транспорта.

Сенцов и позднее не мог понять как это в дьявольски трудной работе, в водоворотах, с креном, доходившим до 50 градусов, снова ничего не смыло. Теперь же его хватало только на то, чтобы травить трос и цепляться за все, что было на расстоянии руки. И вновь почувствовал Сенцов помощь, когда хлестнувший в грудь вал сбил его с ног и завертел на своем гребне. Поддержавшая рука принадлежала

¹ Травить, 'потравливать, значит ослаблять, выпускать.

Ковалеву, который необычайно легко и ловко увернулся от удара волны и, казалось, сросся с раскачивающейся палубой.

Слова благодарности Сенцова ветер унес вместе с колючими брызгами, а признательного взгляда Ковалев не увидел — он был слишком занят. Чтобы закончить подготовку буксира, всем пришлось, подобно альпинистам, обвязаться одним канатом. Это не создавало особых удобств, но уже ни одного человека волна не смогла смыть.

— Славный кусок морской практики, — удовлетворенно сказал Сенцов Николаю Ильичу, когда все работы закончились. — Теперь скоро придем в базу и сдадим транспорт.

Николай Ильич на это ничего не ответил: он не хотел говорить о своих опасениях.

27

Ветер дул навстречу штормовавшим кораблям. Еще много часов они взлетали на отвесных волнах, падали в пропасти по длинным увалам и снова со стенами поднимались на бесноватые гребни.

Горы жидкой ртути — такую плотную стала вода — металась на просторах и швыряли корабли, как щепу. При каждом размахе, круго клавшем корабли то одним, то другим бортом, казалось, они не встанут. Давно были сорваны, разбиты и слизаны морем шлюпки, а во внутренних помещениях книги, белье, тяжелые сапоги, кружки, тарелки катались на палубах, удивляя людей своей стремительностью. Выбившиеся из сил моряки спали на банках, тесно вжимались в койки, располагались для безопасности на мокрой палубе.

Весь расчет Ковалева тоже спал, но самого Ковалева какое-то щемящее чувство вывело из дремоты. Он открыл глаза. В лампочке, забранной сеткой, вздрагивали золотые нити. Тусклый круг света, не проникая в углы кубрика, вырывал из темноты желтые лица. Стараясь не наступить на руки товарища, разметавшегося во сне, Ковалев сделал несколько осторожных шагов. Качка кинула его назад и притиснула к переборке. Он выждал, пока корабль поднимется, и пробрался к трапу.

Наверху не было ничего, кроме воды. Она вихрилась и пенными конусами подпирала низкое темное небо, била в лицо колючими брызгами, кружилась и колотила по ногам, струилась с надстройки. В ее завесе смутно выступал «Папанинец», и, лишь долго вглядываясь, можно было разглядеть тучи, мчавшиеся с невероятной быстротой.

Ковалев укрылся под брезентом за щитом орудия и невольно вспомнил о брате и сестре. Это студеное море странным образом вместило на своей шире их три жизни, не так давно заключенные в бревенчатых стенах деревенского домика. Оно бросалось на скалы острова-тюрьмы Маши, оно сейчас изматывало его и брата. Бесстрашный, жестокий враг, помогающий немцам. Хорошо любить море с берега. Хорошо слагать о нем стихи тем, кто не испытал тяжелого труда в плавании, не стал игрушкой его ярости.

— К чорту! — раздался вдруг голос над его ухом. — После войны уйду и на воду не стану глядеть!

Ковалев узнал Балыкина и устыдился своих мыслей.

— Глотки, однако, у тебя хватает.

— Чего хватает?— крикнул Балыкин, цепляясь за колени Ковалева и проталкиваясь к месту наводчика.

— Голоса у тебя хватает шторм перекричать.

— Я перекричу, я такой... Я сейчас котел ввел, две трубки глушил. Он меня в топке кидал-кидал, подпаливал. Подпалишь, чорта с два! Я ловчее, хитрее.

— Ан не сильнее, если службу оставить хочешь.

— И жину. Потому я человек мастеровой, а не марсовой.

— Врешь на себя, Балыкин. Слабость подходит — и врешь. Я тоже сейчас думал — море мне враг, а тебя послушал — стыдно стало... Чепуху городишь.— Ковалев не кричал и не особенно заботился, чтобы все его слова дошли до собеседника. Просто явилась потребность высказаться, и он говорил, хотя целые фразы исчезали в вое ветра и грохоте волн.— Такой, Балыкин, как наша профессия, нету. Просторная работа.

— Проклятая работа...

— Мужская работа, самая мужская. На корабле и мастерство нужно, и мужество. Вот море мечется, а мы буксир подали, и «Папанинец» за нами идет.

— Пока тащим.

— Что?

— Идет, говорю, пока буксир не лопнет. Разве такую махину выдержит стальной трос? Обороты даем на четырнадцать узлов нормально, а идем меньше четырех.

Это заявление встревожило Ковалева.

— Пойду посмотрю буксир,— сказал он, пробираясь под брезент. Балыкин двинулся за ним.— А ты сиди, я вернусь, сюда вернусь.

Балыкин в темноте покрутил головой.

— Нет, я враз обратно, надышался, прохладился. Пойду, пока не разладилось.

У шпильей мотались в такт с раскачивающимся кораблем два человека. Они нагибались под ударами воды, ощупывали канаты, якорь-цепь. Ковалев подошел к ним вплотную.

— Вы чего, Ковалев?— крикнул Николай Ильич.— За мной? Нет? Давайте отсюда, мы уже проверили крепления. Пойдем в энергопост, мичман, там орать не придется!— крикнул он обнявшему его Кийко.— И вы с нами, Ковалев.

Механик поднялся при входе комдива и отрапортовал, что во втором котельном пар поднят до марки.

— Отлично,— сказал Николай Ильич.— Но тонн двадцать топлива мы потеряли, а это уже плохо при нашем балансе. Нам надо, механик, рассчитывать, что мы в море можем быть сутки. И больше, если буксир лопнет.

Он сел и стал объяснять, помогая жестами рук уяснить движение корабля:

Дело вот в чем. При ударе гребня волны в нос скорость «Упорного» замедляется. Если во время такого удара нос «Папанинца» находится на подошве волны, он двигается с прежней инерцией; расстояние между кораблями уменьшается, и буксир провисает. Это не беда. Но вслед

за тем происходит обратное. Наш «Упорный» попадает на подошву волны и идет быстро, а очередной вал бьет в нос «Папанинца» и мешает ему двигаться за нами. Тогда буксир натягивается до предела. Рывки, мичман, которые мы с вами сейчас наблюдали, от этого. И, значит, буксир может разорвать.

— Два раза потравливали канат,— мрачно вставил Кийко.— С «Папанинца» должны бы сообщить, как подогнать длину.

Николай Ильич утвердительно кивнул головой.

— Я просил капитана транспорта проследить, чтобы наши носы всходили на очередную волну одновременно. И он добросовестно пытался. Но волна продолжает расти, и качка так велика, что точное наблюдение трудно. Надо и нам присмотреть за поведением транспорта. Кстати, у Ковалева хороший морской глаз. Сменяйтесь с ним, да почаще.

— Я из котельного пятнадцать минут назад бегом и то замерз под непрощенным душем,— пожаловался механик.

— Пора шторму уняться. Законный срок вышел.

Николай Ильич усмехнулся:

— На то есть поговорка: «Не помутятся, и море не уставится».

Объяснив свою тревогу боцману, Николай Ильич как-то успокоился. У моряка должен быть запас стоицизма. Никакими теоретическими выкладками нельзя предотвратить неприятных сюрпризов. Сейчас, пробираясь во мрак по накренившему, залитому водой шкафуту, он думал о войне с циклоном и шире и глубже. Ему представилась судьба родины в минувшие три года. Разве не пронесся с первых дней войны циклон над советским народом? Страна сохранила свое горячее дыхание при не вероятном давлении. Она ответила на немецкий шквал громадной собранностью, беззаветной борьбой. Народ выстоял. Учись у своего народа, моряк!

Выдержать сейчас низкое давление, справиться с операцией в циклоне перед задуманным боевым делом — это моральная основа будущего боевого успеха. Какими бы средствами ни проверять упорство, дисциплину, выносливость и смелость экипажа, важно в них убедиться в трудной обстановке, когда опасность грозит каждому.

Шли часы... Изнуренная вахта, обвязываясь канатами под руководством Кийко и Ковалева, дважды травила буксир. Но больше этого нельзя было делать. Стальной канат и без того чересчур провисал, когда «Упорный» и «Папанинец» сближались. Канат мог попасть под винты. А между тем ветер продолжал крепчать. Уже, и вплотную пригибаясь к уху, нельзя было передать ни одного слова. Ветер мчал с крейсерской скоростью и перемалывал в своем низком вое все звуки. Длина волн перешла через мыслимый предел. Минноносцы теперь не поднимались из воды, они пробивались в ее толще, как подводные корабли. Скорость движения конвоя стала ничтожно малой. Штурман не мог сказать с уверенностью, что корабли идут вперед и приближаются к цели. Казалось, несмотря на оборот винтов, они топчутся на месте, отбрасываются наступающими валами назад после каждого шага вперед, сползают к подошве той волны, на которую тщетно взбирались. Рывки буксира заметно усилились. Двенадцать тысяч тонн устремлялись в противополож-

ную сторону от стремящегося вперед «Упорного». Стальной конец внезапно размашисто прорезал пенную воду и взлетал из морской пучины от кормы миноносца до носовых клюзов «Папанинца», пружинился, рвался из креплений...

Только распределенное на многие точки тяговое усилие спасало ют миноносца от общей деформации, удерживало кнехты в их гнездах.

Долголетний опыт подсказал Кийко, что канат доживает последние минуты. Хорошо, что Кийко выхлопотал в порту новый трос. Однако буксир продолжал героически отстаивать свою жизнь, пока «Папанинец» удерживался в кильватере. Но когда удары моря направились в обход, в атаку с тыла, произошла катастрофа. Море лишило транспорт его рулевого, напав на буксир «Умного». Едва концевой миноносец оторвался от транспорта, возобновился быстрый боковой дрейф «Папанинца», а затем невероятный, длительный рывок сотряс «Упорный», и канат, неистово гудя, запрыгал на гребнях волн.

Кийко яростно выругался. Обмотанные канатом, он, Ковалев и Сенцов, бросились к шпилью, чтобы отдать еще несколько кругов троса. Они работали с дихорадочной быстротой, но до нового рывка у них не хватало времени.

Сенцов не мог ничего сказать о том, как это случилось. Внезапно корабль рванулся вперед. Сергей Юрьевич спиной грохнулся об угол бомботележки и увидел над собой страшный черный бич оборванного троса. Трос со свистом, изгибаясь спиралью, занесся над головой, он зажмурил глаза и услышал вскрик. Тогда Сенцов вскочил, и тяжелое тело Ковалева упало ему на руки.

Ковалев еще раз спас ему жизнь, но сам получил смертельный удар.

Старшину уложили на диване в кают-компании. Он слышал грохот, дребезжание предметов. Диван ходил под неповоротливым теперь, разбитым, онемевшим телом. Он чувствовал, что жизнь покинула его руки и ноги, а мысли и чувства — полнее и ярче, чем всегда. Обострился слух — до него донесся из коридора голос Кийко, заверявший, что новый трос урагану не порвать. Он разбирался: если боцман здесь, значит, буксир уже заведен снова. «Это хорошо, — сказал он себе. — «Папанинец» придет по назначению». Затем он уловил шорох, повернулся и увидел неподвижные фигуры Колтакова и Балыкина.

Безнадежно его дело, раз старые друзья здесь. Но все же он обрадовался им, и в памяти возник далекий день на Онежском озере, когда миноносец проводили с Балтики на Север, а все они были еще молодыми краснофлотцами и спорили о том, чья специальность важнее для корабля. Какими они были глупыми в своем задоре!

— Просторная мужская работа, — медленно проговорил Ковалев. — Я все-таки прав, Василий.

— Помолчи, Андрей, — попросил Колтаков, — вредно тебе.

Ковалев улыбнулся одними глазами. Теперь уже ничто не могло повредить ему. Они это знали, иначе не пришли бы в кают-компанию.

— Павлуша, у Балыкина такая ж морская душа, а он врет на себя. Привыкли мы своих чувств стесняться. И зачем?

Балыкин зашмыгал носом и не стал вытирать показавшиеся слезы, он сказал ворчливо:

— Кто в море не бывал, тот горя не хлебал.

— Лучше спел бы, Василий,— мягко предложил Ковалев.— Больно хорошо у тебя выходит... «Товарищ, не в силах я вахту стоять...» И песня правильная. В работе и песне твоя душа, а слова — это так...

Он говорил прерывисто, останавливаясь, когда усиливался грохот, а Балыкин морщился, прикрывал рот рукой, как будто боялся, что у него вырвется рыдание. И все, кто были в каюте, замполит и юный фельдшер, много видевший смертей Кийко и старавшийся быть сдержанным Бекренев, хмуро уставились в палубу.

— А я бы напоследок послушал песню. Николай Ильич меня понял бы. Не придет Николай Ильич?

Никого не удивило, что умирающий так необычно назвал командира дивизиона. Ведь он звал не начальника, а любимого товарища, связанного с ним морским братством.

— Сейчас товарищ Долганов будет. Задерживается на мостике вместо меня,— пояснил Бекренев и шагнул к раненому.— Мы гордимся вами, товарищ Ковалев. Гордимся вашей службой. Вашей самоотверженностью. Мы будем вас помнить. День, в который вы к нам вернетесь, будет праздником экипажа.

Опять грохотали валы, ударяя в киль и борт, обрушиваясь на полубак над подволоком; все тряслось и дребезжало, и свою маленькую речь Бекренев должен был выкрикивать. От этого казалось, что он произносит ее не перед последним ложем Ковалева, а на людном собрании, и она звучала торжественной клятвой верности.

После нового удара наступила тишина. Корабль, зажатый волнами, на миг оцепенел, и голос Ковалева прозвучал отчетливо спокойно:

— Спасибо, товарищ командир. На «Упорном» началась и окончится моя служба.

Он не продолжал, ощущая, что смерть подступает к груди, и инстинктивно экономя силы для главного — для заветного разговора с Долгановым. Бекренев понял это желание по устало опустившимся ресницам, поцеловал бескровные холодеющие губы и быстро пошел по коридору.

Когда Николай Ильич спустился, фельдшер обтирал шприц после укола. Он захлопнул ящик с медикаментами и красноречиво показал на часы:

-- До полудня самое большое.

Он вышел, и Долганов остался с раненым один на один, как исповедник. Николай Ильич осторожно присел на край дивана. Из груди раненого вырывался хрип, в уголках губ пузырились капельки крови. Николай Ильич смотрел на неузнаваемое лицо; небритый подбородок выдвинулся вперед, глаза провалились, щеки вытянулись, и тени на них подчеркивали гипсовую белизну заостренного носа.

Да, скоро должен был наступить конец этого скромного человека который стеснялся своих боевых успехов, был сдержан в счастье и стойко сносил горе.

«Я не отпустил Ковалева с корабля. Потом я отправил Ковалева на пост, где его нашла смерть. И все же он позвал меня, как друга».

— Николай Ильич,— шепнул Ковалев, и веки его дрогнули.— Вот как вышло.

— Плохо вышло, Андрей Артемьевич,— просто сказал Долганов. Он не мог лгать мужественному человеку.— Плохо вышло, Андрей Артемьич, но ты будешь жить, пока живет «Упорный», и каждый день на вечерней поверке будут выкликать старшину первой статьи Андрея Ковалева.

— Я знал, что вы мне доверяете. Расскажите жене и брату. По теории вероятностей,— сказал Ковалев с усилием,— не должны два брата в одно время в одном море погибать... Главное, сестра. Ваша супруга у немцев была. Вы понимаете... Я боюсь за Машу. За ее душу.

(Окончание следует)

Генерал-майор М. ГАЛАКТИОНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ¹

Москва

В глубокой тайне рождаются великие решения полководцев. Скупыми штрихами история рисует отдельные детали, немногие слова, краткие совещания, впечатления лиц — участников тех дней. И всего этого так мало, чтобы воспроизвести творческий процесс принятия решения, в котором — судьба государства, грядущая жизнь поколений.

В наступательных операциях вещи представляются нам проще и яснее. Самый факт наступления уже является выражением готового решения, обычно сформулированного в приказе или директиве. Не то в обороне. Полководец здесь действует под ударами молота. До крайней степени напряжена обстановка. Часы и минуты тяготеют над сознанием. Решение необходимо — его ждут войска, но можно ли принять его, когда нет всех данных, когда события развиваются под страшным давлением бушующей бури?

Мы уже указывали на то, что и обороняющаяся сторона может поставить стратегическую цель, концентрируя на ней все усилия армии и страны. Но не было сказано еще, что это труднейшее из полководческих дел. В нем оборона отрицает самое себя, возвышается до своей противоположности, ибо к существу обороны относится зависимость от воли противника: он наступает, у него инициатива, свобода решений. Оборона — щит и парирование мечом ударов противника. Горе просмотревшему роковой удар: он поражен насмерть.

Представим себе обстановку 1941 г., года, которого никогда не забудем ни мы, ни наши потомки. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Немецко-фашистские механизированные полчища, прорвав численно слабую плотину наших войск прикрытия, тремя потоками устремились в глубь страны. Обширность театра благоприятствовала им, создавая выгодные условия для маневра, позволяя обтекать укрепленные пункты и очаги мощной обороны. События развивались стремительным темпом.

Конечно, в этих условиях советское командование всех степеней принимало решения, но эти решения вынуждались обстановкой, зависели от действий врага. Должна ли оборона в таком случае иметь единый стратегический план? Очевидно, должна, ибо без плана не, возможно руководство современным, многочисленными армиями на обширном театре: разрозненность действий неизбежно влечет поражение. Но чтобы читателю было ясно, что значит в подобных условиях действовать по плану, приведем пример.

Мы справедливо изумляемся искусству инженеров, которые по заранее разработанному плану обуздывают и изменяют течение таких рек, как Волга и Миссисипи. Но вы помните сообщения о том, как Миссисипи внезапно прорвала плотину и наступила катастрофа — инженерное искусство было бессильно перед разбушевавшейся стихией, пока она не исчерпала свою ярость. Полководческое искусство отличается от инженерного тем, что для него нормально действовать в исклочительных обстоятельствах, когда бушует буря. Полководец подчиняет своему планомерному руководству буйную

¹ Продолжение; см. «Знамя» №№ 7—8, 9—10, 1944; № 1, 1945.

стихию, в обороне он должен иметь план, чтобы предотвратить катастрофу.

Суворов говорил, что солдата отличает отвага, офицера — храбрость, а генерала — мужество. Мужество полководца — высшая ступень героизма. Перед лицом величайших опасностей он должен сохранить ясность мысли и принять на себя тяжкое бремя ответственности перед отечеством. Примером исключительного мужества является для нас решение Кутузова в Филях. В современных войнах напор вражеского наступления усилился во много раз, и от полководца в обороне требуется наивысшее мужество — сохранить власть над собой и событиями.

В 1914 г. французский главнокомандующий Жоффр очутился в положении инженера пред внезапно несущейся через берега водной стихией. План войны, разработанный в мирное время, оказался недействительным. Был период, когда Жоффр не мог принять никакого решения, стремясь выявить намерения врага и ограничиваясь частными указаниями отдельным армиям. После приграничного сражения обстановка выяснилась, но это было похоже на безнадяжный диагноз врача: положение стало смертельно опасным. Жоффр принимает решение: его план предусматривает отход всех армий западнее Вердена к Сене, переброску корпусов с правого крыла на левый фланг и в центр, нанесение контрударов врагу. Этот план был осуществлен. В первых числах сентября, используя ошибку противника, генерал Жоффр принимает новое решение — перейти в контрнаступление и в Марнской битве одерживает победу.

Это, бесспорно, пример весьма умелого и мужественного стратегического руководства обороной в тяжелых условиях. При оценке его надо, однако, иметь в виду, что ряд обстоятельств благоприятствовал Жоффру: активная помощь союзников; наличие новых тактических факторов в пользу обороны; ошибки немецкого главного командования, отступившего от своего первоначального плана войны. Все же данный пример позволяет наметить три стадии вызревания плана полководца при стратегической обороне в современной войне: стадия, когда инициатива всецело принадлежит наступающей стороне и она еще неясна обороне; вторая стадия, когда обстановка проясняется и полководец в состоянии создать план

действий; третья стадия — принятие окончательного решения с целью коренного изменения обстановки в свою пользу.

В нашем изложении сознательно говорилось до сих пор о плане стратегической обороны и не упоминалось стратегической цели. А между тем в этом-то и состоит главная трудность проблемы. Не может быть никакого сомнения, что стратегическая оборона должна вестись по определенному плану. Но весь вопрос в том, каков этот план.

Полководец может иметь план и в первой стадии обороны. Но какова цена ему, если неизвестно направление главного удара наступающего?

Понятно, что первая задача полководца при обороне — применить всю силу своей проницательности и все свои знания для выяснения, куда нацелены удары противника. Чем раньше это удастся, тем быстрее может полководец принять обоснованный план действий.

Но является ли такой план окончательным? Вопрос этот возникает не в порядке теоретической дискуссии, он ставится жестокой действительностью войны. План должен вести к победе, к тому, чтобы расстроить замыслы врага и нанести ему поражение. Чем же характеризуется именно такой план? Ответим кратко: он должен быть увенчан стратегической целью.

Ввиду сложности вопроса не будем отходить от взятого нами примера. В кампании 1914 г. у немцев была стратегическая цель — наступать в направлении западнее Парижа. Была ли стратегическая цель у Жоффра? Как уже отмечено выше, такая цель не была четко поставлена французским главнокомандующим. Лишь примерно через две недели после начала германского наступления он уяснил себе направление главного удара немцев и спустя еще одну неделю преподал войскам новый план действий.

В этом плане не была указана стратегическая цель. Ведь дело шло об отступлении к Сене, а стратегическая цель по существу своему предполагает переход в наступление.

Но, может быть, позднее Жоффр поставил стратегическую цель? В приказе к Марнской битве было указано, конечно, направление главного удара: 5-й английской и 6-й армиям была поставлена задача окружить и уничто-

жить 1-ю германскую армию. Но это — частная цель.

Возникает вопрос: почему же все-таки говорят о решающем значении Марнской битвы не только для кампании 1914 г., но в известном смысле и для хода всей войны 1914—1918 гг.? Такое суждение о роли Марнской битвы основательно, — однако, надо ясно представить себе, в чем же собственно состояло ее решающее воздействие. Мы уже говорили об этом: исход кампании 1914 г. был успехом союзников и поражением немцев, потому что германская агрессия была остановлена. В этом значении и Марнской битвы. Однако подобное заключение легко делать теперь, тридцать лет спустя. Ни Жоффр, ни союзники вообще вовсе не представляли себе ясно, что война затянется так долго и примет позиционные формы. Непосредственно после Марны, в сражении на реке Эн, Жоффр ставил задачу своим войскам — изгнать немцев из Франции и был крайне разочарован, когда это не удалось и, напротив, пришлось снова останавливать наступление немцев в ожесточенной битве при Ипре.

Да не посетует на нас читатель, что так часто приходится отвлекать его внимание к прошлому. Но без военной истории нет и военной науки. Данный экскурс полезен тем, что позволяет осветить некоторые стороны труднейшей проблемы современной войны — стратегической обороны.

Оборона имеет свои преимущества, поскольку она опирается на заранее подготовленные к отражению противника мероприятия — укрепления, резервы, оборудованный тыл. Трудность ее состоит в том, что инициатива принадлежит наступающему. Конечно, главнокомандование обороняющейся стороны имеет свои планы, без чего невозможно руководство действиями миллионов людей с применением огромных количеств техники. Однако эти планы приходится менять по мере выяснения намерений противника.

Но планы могут быть, а стратегическая цель может быть и не поставлена, как показывает только что рассмотренный пример, и, что особенно интересно в данном примере, в кампании 1914 г. был достигнут решающий успех в пользу союзников, оборонявшихся против агрессора. Выходит, что постановка стратегической цели как будто и не обязательна.

Да, могут быть случаи, когда решающий результат в кампании достигается без постановки стратегической цели. Это верно не только для обороны, но и для наступления. Ведь решает соотношение сил, решает успех в сражении. При огромном перевесе над противником, в количестве и в качестве войск, можно достигнуть успеха без концентрации сил на направлении главного удара. Так, кампания немцев против Польши 1939 г. оставлена без рассмотрения, так как она не представляет интереса для нашей темы. Можно, конечно, сказать, что стратегической целью немцев в этой кампании была Варшава. Но с таким же успехом можно было бы назвать и любой другой пункт: наступаая со всех сторон равномерными силами, немцы все равно достигли бы победы.

Что касается до обороны, то она, казалось бы, может не ставить стратегической цели, если так можно выразиться, на законном основании. Первое дело обороняющейся стороны — определить цель наступающего. Допустим, что это удалось. Допустим, что благодаря мощности укреплений, наличию сильных резервов, храбрости и уменью войск обороне удастся отразить атаки противника и остановить его. Это успех обороны, а в определенных случаях этот успех может иметь решающее значение для исхода не только данной кампании, но и всей войны.

Можно сказать, что если обороняющаяся сторона не ставит стратегической цели, это не ее вина, но это ее беда. Наступающий, поставив правильно и ясно стратегическую цель, получает огромное преимущество.

Конечно, преимущества обороны в некоторых случаях способны уравновесить баланс, привести к успеху. Однако пока инициатива у противника, обороняющийся всегда больше во власти случайности, чем наступающий. Планы обороны могут быть очень хороши, но беда в том, что действия наступающего могут очень быстро изменить обстановку, и успех приходится импровизировать новые планы. Жоффр три раза менял свой стратегический план: первоначальный план войны; директива об отходе на Сену; приказ о контрнаступлении на Марне. Дело кончилось благополучно, и Жоффр заслуженно получил право на лавры победителя. Но без помощи союзников и при отсутствии грубых ошибок со

стороны германского командования он едва ли избежал бы катастрофы.

Не может ли оборона иметь единый план с начала и до конца, план, проникающий все три стадии, означенных выше? Это трудно, трудно настолько, что почти невозможно. В самом деле, для этого нужны два условия, и оба они относятся к стратегической цели:

надо в первой стадии возможно быстрее определить цель, преследуемую противником;

надо в третьей стадии поставить войскам свою стратегическую цель.

Верх трудности — вторая стадия, когда полководец, распознав план противника и парируя его, уже должен иметь в уме свою стратегическую цель, которую он в определенный момент (третья стадия) сообщит войскам.

Например, в кампании 1914 г. Жоффр мог бы уже в своем плане отхода предусматривать идею контрнаступления из района Парижа с целью остановить врага. Тогда он имел бы стратегическую цель с условным обозначением «Париж».

Но в человеческих ли силах такая задача? Может ли возвыситься до таких пределов сила предвидения полководца?

* * *

В 1914 г. в ходе маневренных операций пехотные армии с их громоздкими тылами, еще не моторизованными, двигались с наивысшей средней скоростью всего 20 километров в сутки. Ныне танковые армии с моторизованными тылами в период развития успеха движутся в несколько раз быстрее. Это резко повышает преимущество наступавшего и крайне осложняет задачу обороны. Все трудности, которые возникали перед полководцем в обороне прежде, ныне удесятерятся. Военное преимущество немцев в 1941 г. вытекало из того, что они напали на нас и захватили в свои руки инициативу наступательных операций. Этого мало. Опасность состояла в том, что гитлеровское командование преследовало решительные цели, строя план войны на использовании полученного преимущества для выигрыша войны в молниеносные сроки. Немцы не только имели превосходство в силах, но и в концентрации их на определенных стратегических направлениях. Созданные ими мощные ударные мотомеханизированные группировки с огромной ско-

ростью двигались к жизненным центрам нашей страны.

Представьте себе это положение, и вам ясно будет, что значит требование к обороне — иметь план в подобной обстановке. Но весь ход кампании 1941 г. свидетельствует, что действия советских войск подчинялись единому стратегическому плану. Однако стратегическая цель или цели не могли быть поставлены войскам в начальный период войны именно потому, что Красная Армия оборонялась. Сосредоточим свое внимание именно на этом важном для нашей темы вопросе.

Поставить стратегическую цель войскам значит добиваться ее достижения активными способами. В 1941 г. это означало бы переход Красной Армии в наступление, быть может, еще до начала нападения гитлеровской Германии, или в момент нападения, или в первые дни войны. Но для этого Красная Армия должна была быть полностью отмобилизована, чего, как известно, не было. Тот факт, что германская армия была готова к наступлению, что немецкое командование захватило инициативу действий и получило преимущество оперативного опережения, — все не было случайностью. Он вытекал из того положения, что Германия была страной агрессивной, а Советский Союз — миролюбивой.

В своем докладе к 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции товарищ Сталин сказал, что «заинтересованные в новой войне агрессивные нации, как нации, готовящиеся к войне в течение длительного срока и накапливающие для этого силы, бывают обычно — и должны быть — более подготовлены к войне, чем нации миролюбивые, не заинтересованные в новой войне. Это естественно и понятно. Это, если хотите, — историческая закономерность, которую было бы опасно не учитывать».

Будучи агрессором, Германия имела на своей стороне очевидные военные преимущества. Эти преимущества были в особенности сильны в плане молниеносной войны, на которой и строились все расчеты германского командования. Но эти расчеты были авантюристическими: они не учитывали мощи Советского Союза и возможности длительной войны.

Советское верховное командование правильно оценивало обстановку. Оно учитывало силу врага и готовилось к длительной, тяжелой войне.

В первые же дни войны выяснилось, что политика гитлеровской Германии, рассчитывающей на изоляцию СССР, потерпела крах, а политика нашего правительства одержала победу: возникла могучая антигитлеровская коалиция. В ходе длительной мировой войны этот факт имел решающее значение.

Но, может быть, СССР мог заранее провести мобилизацию и держать свои армии наготове у границ, чтобы в момент нападения гитлеровцев Красная Армия перешла в наступление? Ставить вопрос так, значит не понимать, что такое «мобилизация» в современных войнах. Ведь гитлеровская Германия в продолжение нескольких лет осуществляла мобилизацию своей промышленности и вооруженных сил. Захваты Австрии и Чехословакии были как бы крупными маневрами, на которых применялись новые методы сосредоточения и передвижений войск нового типа. Кампании на Западе 1939—1941 гг., в которых успех операций германской армии был обеспечен, дали ей основательный опыт ведения современной войны с применением новейшей техники.

Наша социалистическая промышленность несравненно быстрее могла быть переведена на военные рельсы, но для этого все же требовалось время. Известные сроки были необходимы и для мобилизации вооруженных сил. Объявление всеобщей мобилизации в СССР вызвало бы нападение Германии на нашу страну несколько раньше, чем это случилось в действительности. В военном отношении мы не получили бы никаких существенных плюсов, в политическом же отношении проиграли бы.

Переход в общее наступление в первые дни войны был невозможен потому, что наша армия не была отмобилизована. Речь могла идти лишь о частных контрударах, которые и предпринимались. Красная Армия в первые недели войны находилась в положении обороняющейся стороны. Однако весь ход войны и ход кампании 1941 г. неопровержимо свидетельствуют, что советское командование рассматривало переход к стратегической обороне как временный. В наступлении по радио 3 июля 1941 г. товарищ Сталин, открыто указав народу всю глубину опасности, сказал, «что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить».

В противоположность авантюристич-

еской гитлеровской стратегии советская стратегия трезво учитывала соотношение сил, понимала всю серьезность задачи разгрома такого врага, как Германия, задачи, которая могла быть решена лишь в ряде кампаний. Как уже показано, при огромном размахе и длительности современных войн стратегические планы теперь разрабатываются лишь для данной кампании или для двух-трех одновременных кампаний, исходя из конкретной обстановки на том или ином этапе войны. Следовательно, и вопрос о стратегической цели мы должны рассматривать в отношении первой кампании, кампании 1941 г.

В этой кампании враг преследовал определенные стратегические цели, указанные выше. Задача стратегической обороны — прежде всего не дать врагу достичь поставленных им целей. Как уже сказано, задача эта, при известных условиях, может быть достигнута и без постановки стратегической цели. Подобная стратегия, стремящаяся ускользнуть от риска, в действительности крайне рискованна. В обстановке же 1941 г. такая стратегия обороны, без постановки стратегической цели, привела бы нашу страну к гибели.

Немцы не только преследовали цель достичь Ленинграда, Москвы и Ростова, но и достичь их в молниеносные сроки. В этом было существо стратегического плана гитлеровцев. Он и был рассчитан на то, что наша оборона не успеет собраться с силами, как Красной Армии будет уже нанесено решающее поражение.

Что нужно было, чтобы опровергнуть немецкий план? Для этого было бы достаточно остановить гитлеровские орды до достижения ими решительного результата. Остановить — оборонительная задача. Но диалектика вещей такова, что это правильное, на первый взгляд, положение оказывается неверным, если его понять буквально.

Вся суть в том, что для достижения задачи — остановить врага — необходимо было в определенный момент отказать от стратегической обороны и перейти к стратегическому наступлению. Немецкие армии нельзя было остановить, не разгромив их.

Итак, задача остановить врага, задача стратегической обороны, была неразрывно связана с задачей разгрома врага, для чего был необходим переход в стратегическое наступление.

Согласно определению стратегиче-

ская цель и должна была быть поставлена в наступлении с решительным результатом — разгромом врага, которое завершило бы период стратегической обороны.

Но тогда можно было бы, казалось, исчерпать проблему такой формулировкой: сначала в кампании должен быть период обороны, когда стратегическая цель не ставится, и период наступления, когда такая цель ставится войскам. Если бы дело было так просто, никакой проблемы и не возникало. Клаузевиц так и трактовал оборону: в ней, дескать, не ставится положительных целей, пока нет перехода в наступление.

Вся сложность вопроса в том и состоит, что, хотя в период обороны стратегическая цель еще не ставится непосредственно войскам, но полководец должен иметь ее в виду и сформировать с нею свои мероприятия пока еще оборонительного порядка.

В обороне, когда инициатива находится у противника, стратегическую цель действительно поставить невозможно и в то же время поставить ее, хотя бы в уме полководца, необходимо.

Такова диалектика войны, природа которой соткана из противоречий. Как же решается это противоречие в живой действительности? Впервые военная наука находит решение проблемы — для грандиозных масштабов современной войны — в гениальном сталинском руководстве операциями 1941 г.

Вернемся к тем трем стадиям стратегической обороны, о которых речь шла выше. В первой стадии обороняющаяся сторона не имеет стратегической цели по самому существу. Оборона должна как можно скорее выяснять цели противника.

Но не ясно ли было, что немцы в 1941 г. будут наступать на трех стратегических направлениях, как это и произошло? Мы знаем, что Красная Армия действительно прикрывала все три направления. Тем не менее немецкий стратегический план еще надо было раскрыть. Разве не мог враг перенести центр тяжести на одно из этих направлений, ограничиваясь частными операциями на других?

В первой стадии советское командование, выясняя намерения противника, дало указания войскам в наибольшей степени задерживать врага, с упорством обороняться на каждом рубеже, стремясь хотя бы временно остановить немецкое наступление. Важнейшей зада-

чей было изматывать врага, истреблять его живую силу и технику, выигрывать время для завершения мобилизации вооруженных сил и промышленности.

Вторая стадия начинается с момента, когда цели наступающего выяснены и оборона в состоянии установить определенный оперативный план. Понятно, мы не можем указать точно, когда наступил такой момент в кампании 1941 г., — это дело будущих историков. Однако можно примерно определить его, учитывая фактический ход событий.

Наиболее реальным показателем намерений и действий главнокомандования в современных войнах является распоряжение стратегическими резервами. Главное командование, конечно, руководит операциями фронтов и армий, но наиболее мощным рычагом его воздействия на ход операций служат стратегические резервы. При наступлении задача главнокомандования — правильно распределить свои резервы — РКК, то есть резервы главного командования, — обеспечив перевес сил на направлении главного удара и питание наступательных операций резервами. Как ни трудны задачи наступающего, он может действовать по заранее разработанному плану. Гораздо сложнее положение обороны.

Против возможных ударов противника обороняющаяся сторона прикрывается укреплениями и войсками. В этом и состоит суть понятия «оборонительный фронт», который является как бы барьером, преграждающим врагу пути наступления в глубь страны. Но так как противник, сосредоточив более крупные силы на одном участке, может прорвать фронт, оборона, в конечном счете, опирается на резервы, которые быстро перебрасываются в район прорыва. Отсюда ясно, какое значение имеет для обороняющейся стороны правильное распределение резервов по фронту и своевременный ввод их в сражение.

В 1941 г. трудность положения усугублялась тем, что мобилизация происходила уже после открытия военных действий. Хотя потенциально наша страна могла обеспечить большие стратегические резервы, чем Германия, но на это требовалось время. Учитывая, что время работало на нас, можно было бы предположить, что самый выгодный образ действий состоял в том, чтобы, задерживая вражеское наступление, получить необходимое отсрочку

для окончания мобилизации. Созданные в тылу стратегические резервы можно было бы предназначить для решительного контрнаступления.

Но план немцев и предусматривал как раз не допустить такой возможности, достичь решительного результата раньше, чем советскому командованию удастся собрать мощные резервы для контрнаступления. Необходимо было во что бы то ни стало воспрепятствовать выполнению гитлеровцами их плана. В связи с этим требовалось ввести в бой часть стратегических резервов для задержки и остановки немецкого наступления.

Советское командование приняло решение бросить часть стратегических резервов в район Смоленска. Это было в высшей степени смелое и ответственное решение. Немцы наступали на трех стратегических направлениях. Наши резервы вводились на центральном фронте, что, конечно, могло обострить положение на двух других направлениях, где в основном оборона должна была опираться на свои собственные силы. Вынося такое решение, советское командование давало свою оценку общей обстановки, принимало свой стратегический план, противопоставляя его вражеским замыслам. Главное направление, на котором следует концентрировать усилия обороны, — московское.

Этим советское командование оказывало решительное воздействие на всю обстановку на гигантском театре. В самом деле, в тот момент в его распоряжении еще не было достаточно крупных стратегических резервов для перехода в общее контрнаступление. Разбросать имевшиеся резервы по всем направлениям, значило бы зря расходовать их, так как враг сохранял перевес сил в целом. Бросив массу резервов концентрированно в сражение под Смоленском, советское командование достигло успеха на важнейшем направлении, остановив здесь врага.

Конечно, этим не была достигнута остановка немецкого наступления в целом. Как мы уже знаем, гитлеровцы, продвигаясь на юге, внезапным броском вырвались к Орлу и смогли возобновить наступление на Центральном фронте. Но тем более оправдала себя концентрация советским командованием основных стратегических резервов в центре. Завязалось гигантское сражение, в котором немцы стремились про-

ваться к Москве с разных направлений, но были остановлены.

Немцы одерживали тактические успехи, но стратегическая обстановка явно стала изменяться не в их пользу. Анализируя ход событий, можно теперь с полной очевидностью установить: немецкое командование с каждым днем отступало от своего первоначального стратегического плана, и событиями все более управлял стратегический план советского командования. Конечно, нельзя это положение понимать упрощенно. Стратегическая инициатива оставалась у германского командования, для обороны обстановка становилась все более напряженной. Как и почему происходило изменение в общем ходе кампании, которое привело немцев в конце концов к поражению? Об этом судить трудно, настолько сложно и противоречиво шло развитие событий. Но основное ясно: немцы все более вязались в тяжелое сражение за Москву, все более отступая от первоначального плана. Обороняющаяся сторона более правильно оценила обстановку и вводом стратегических резервов активно воздействовала на нее.

Было бы нелепо сказать, что, давая сражение под Смоленском, советское командование уже имело в виду свое будущее решение — дать сражение под Москвой. Нелепо полагать, что можно было предусмотреть выход немецких танков к Москве и наши контрудары. Напротив, в Смоленском сражении Красная Армия стала грудью, чтобы не пустить немцев к Москве. И тем не менее в Смоленском сражении уже отчетливо видна руководящая стратегическая идея советского командования, нашедшая свое конечное выражение в декабрьском контрнаступлении.

Во второй стадии, следовательно, советское командование осуществляло определенный план. И хотя стратегическая цель еще не могла быть указана войскам, она уже содержалась в этом плане, она впоследствии естественно из него возникла. Это труднейшее испытание для полководца, так как здесь необходимо провидеть глубину сложных и противоречивых событий, развитие которых еще определяется в большей степени противником, сохраняющим инициативу.

Оборона должна иметь стратегическую цель, которая проникает все ее планы, придавая им единство. Но эта

цель окончательно устанавливается лишь в определенный момент. Крайне опасно поставить ее войскам преждевременно. Ведь инициатива находится у наступающей стороны, которая новыми внезапными решениями может внести коренные изменения в обстановку. Следовательно, главнокомандование обороняющейся стороны может поставить войскам стратегическую цель лишь тогда, когда наличие сил и обстановки дают основание для уверенности, что перелом назрел или он может быть достигнут активными действиями.

Смоленское сражение привело к остановке немецкого наступления на центральном направлении. Враг был остановлен также под Ленинградом. Но в тот момент советское командование еще не располагало достаточно мощными стратегическими резервами для того, чтобы остановить немецкое наступление на всем фронте. Немцы еще сохраняли в своих руках инициативу и продолжали наступать на юге. Овладев Орлом, они добились серьезного изменения обстановки в свою пользу. Прикрывая Москву с юга, запада и северо-запада, советское командование неуклонно продолжало придерживать своего стратегического плана. Выделив часть стратегических резервов на север — в район Ленинграда и на юг — в район Донбасса, советское командование сосредоточило главную массу стратегических резервов в районах Москвы. Наконец настал момент великого решения.

Теперь выяснилась окончательно стратегическая цель советского командования в кампании 1941 г. Эта цель может быть выражена: Москва. Конечно, такое обозначение условно. Более подробно надо сказать: стратегическая цель советского командования состояла в том, чтобы контрнаступлением на Центральном фронте отразить немецкую атаку на Москву и нанести гитлеровцам решительное поражение, отогнать немецкие войска на запад и остановить их наступление по всему фронту, не дав врагу возможности овладеть теми жизненными центрами страны, к которым он стремился.

Стратегическая цель была поставлена для наступательных операций Красной Армии. Но она как бы увенчивала и план стратегической обороны, проводимой советским командованием в кампании 1941 г., а именно: изматывать, задерживать и останавливать немецкое

наступление на основных стратегических направлениях;

центр тяжести обороны — на центральном направлении;

по накоплении резервов решительным контрнаступлением в центре и контрударами на других направлениях остановить немцев и на всем фронте.

Сталинское стратегическое руководство в кампании 1941 г. представляется единым и целеустремленным. В то время как немцы разбросали свои силы по всему фронту, советское командование концентрировало свои силы на одном главном направлении и достигло коренного перелома в ходе всей кампании в свою пользу.

Стратегическая цель, в отличие от частных целей, является решающей. В кампании 1941 г. Красной Армией удалось остановить немецкое наступление, не дав врагу достичь намеченных им целей. Это — решительный результат. Ибо, чтобы остановить германскую армию, надо было разбить ее, что и было достигнуто в Московском сражении.

В новогоднем приказе 1944 г. Гитлера по армии говорилось: «1939—1941 гг. были отмечены, не считая неудач в Северной Африке, лишь одним тяжелым кризисом в зимние месяцы с декабря 1941 г. по март 1942 г. В силу стихийной катастрофы напряжение, которое требовалось от людей, животных и техники, нередко выходило за пределы возможного. Люди, животные замерзали. Замирали машины и оружие и выходили из строя железные дороги».

Итак, даже гитлеровцы не могут отрицать очевидного всему миру факта, что в 1941 г. германскую армию, вторгшуюся в нашу страну, постигла катастрофа. Но Гитлер пытался все свалить на стихию, на русскую зиму. Никак не хотели гитлеровцы признаться, что с Москвы начался ряд тяжелых поражений, которые привели к проигрышу Германской войны. Никак не хотели они признаться, что германская армия попала зимой 1941—1942 гг. в катастрофическое положение только потому, что в кампании 1941 г. она была разбита, что стратегический план гитлеровского командования потерпел крах. Зима не страшна была бы немцам, если бы им удалось достичь поставленных целей в назначенные сроки и разбить Красную Армию. Получилось же обратное: разбиты были немцы на полях сражений еще до наступления зимы.

Читатель помнит приведенные выше цитаты из статьи Керра о трех ошибках гитлеровской стратегии¹. Вот что пишет он по поводу четвертой ошибки Гитлера:

«Еще хуже сложилась обстановка для держав оси, когда в 1941 г. знаменитая германская военная разведка оказалась неспособной проникнуть в секреты русской военной промышленности... русские заводы — в особенности заводы, находящиеся к востоку от Урала, часть которых имеет столь огромные размеры, что они поражают даже американцев, — смогли послать на фронт все увеличивавшийся поток боевых машин... Немцы не были подготовлены к яростному сопротивлению русских под Москвой осенью 1941 г., сопротивлению, опиравшемуся, главным образом, на неожиданные резервы вновь выпущенного снаряжения».

Следует сказать, что в основном это суждение американского обозревателя правильно. Действительно, коренным просчетом гитлеровцев была недооценка мощи Советского Союза. Германия в 1941 г. опережала нашу страну в мобилизационной готовности, но это опережение сохраняло свою силу лишь на некоторый срок. С точки зрения же ведения длительной войны наша страна оказалась более подготовленной. Товарищ Сталин задолго до начала войны указал нашему народу на опасность агрессии. В течение каких-нибудь 10—15 лет советская экономика подверглась коренной перестройке на базе социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Была создана мощная промышленная база для оснащения Красной Армии современной военной техникой в размерах, требующихся войной. Военный потенциал Советского Союза оказался высшим по сравнению с Германией.

Однако для правильных выводов надо очень точно фиксировать факты. Можно ли сказать, что к моменту Московского сражения военный потенциал СССР был уже развернут полностью? Этого сказать нельзя. Немцы еще сохраняли в то время количественный перевес в танках и авиации. Лишь значительно позднее было достигнуто превосходство над германской армией в военной технике. Следовательно, вывод Керра нуждается в серьезном дополнении: победа под Москвой обеспечила возможность полного разверты-

вания военного потенциала нашей страны, но это было еще дело будущего. Надо учитывать также, что к тому времени немцы захватили Украину и Донбасс, что многие наши предприятия еще находились в состоянии эвакуации и устройства на новых площадках в глубоком тылу.

Тем более замечательна победа под Москвой. Она явилась результатом невиданного героизма Красной Армии и советского народа. Она явилась результатом гениальной сталинской стратегии, выдающимся творением военного искусства.

Конечно, американский обозреватель прав, когда он говорит о решающем значении ввода под Москвой свежих резервных армий. Но это-то и является показателем блестящего военного искусства. В самом деле, в целом на всем фронте немцы в то время имели еще огромное количество сил. Мы не можем здесь оперировать точными цифрами. Но германская армия во всяком случае сохраняла свой перевес в танках и авиации.

Суть военного искусства состоит в конце концов в том, чтобы уметь достичь перевеса сил на решающем участке. В то время как немцы разбросали свои силы и в решающий момент остались без резервов, советское командование искусно использовало свои стратегические резервы и вводом их концентрированно на важнейшем направлении достигло победы. В данном случае ясно проявилось все значение четко и твердо поставленной стратегической цели.

Сталинская стратегия обеспечила наиболее выгодную расстановку сил в решающих битвах с врагом. Но мы уже знаем, что, при наличии самого превосходного стратегического плана, победа завоевывается на поле сражения боевыми действиями войск. Стратегия и тактика образуют единое целое, ведя войска к победе над врагом. Следует помнить, что в 1941 г. стратегия и тактика Красной Армии должны были разрешить задачу, которую до того не могла решить ни одна армия, — остановить наступление мощных мотомеханизированных сил врага, поддержанных сильнейшей авиацией.

Английский обозреватель Либерейтор в статье, опубликованной газетой «Обсервер» в январе 1945 г., говоря о поразительных успехах советского наступления, пишет:

«В современной стратегии и при со-

¹ См. «Знамя» № 9-10, 1944 г.

временной технике до сего времени не создано ничего, что могло бы остановить первый удар танкового кулака...»

Это написано теперь, через три года после описываемых событий, когда развитие средств противотанковой обороны продвинулось далеко вперед. Следует внести поправку к приведенной цитате: Красная Армия многократно останавливала немецкие «танковые кулаки» в первые же дни их наступления. Но если теперь эта задача представляется столь трудной, то в 1941 г. она казалась невозможной. Немецкие танковые армии неустойчиво и стремительно продвигались вперед. Наталкиваясь на укрепленные районы обороны, они обтекали их, продолжая свой наступательный маневр. Сплошного фронта в то время не было.

Советская пехота и артиллерия героически сражались с танками на наскорю укрепленных рубежах, стремясь остановить вражеское наступление. Результатом этой упорной и самоотверженной борьбы явилось истребление огромного количества немецких танков. Тем не менее, прибегая к маневру, вражеские танковые силы обходили нашу пехоту и, вырываясь в тыл, продолжали свое движение на восток. Задача могла быть решена лишь методами активной обороны, сочетанием упорной защиты городов и укрепленных рубежей с контрударами. Хотя Красная Армия имела меньшее количество танков и авиации, она использовала их для контрударов по вражеским мотомехсилам и их тылам.

Эта тактика оказалась весьма действенной и приводила к остановке немецкого наступления на ряде участков. Однако лишь в Московском сражении удалось окончательно остановить немцев и даже вынудить их к отступлению. Как же был достигнут этот решительный результат?

Наступая на Москву в ноябре 1941 г., немцы рассчитывали нанести Красной Армии последний удар. Они напрягли свои силы до последней крайности. Первоначальные успехи вселяли в немецкое командование уверенность в достижении полной победы.

В этом положении на немецкие ударные группировки, уже приближавшиеся к самой Москве, внезапно обрушились мощные удары заранее подготовленных и усиленных резервов советских армий. На всем центральном фронте завязались ожесточенные бои. На вражеские клешни, вытянутые к Москве, посыпались

удары со всех сторон. Немецкие силы находились в том рискованном положении, которое создается при проведении операции окружения: боевые порядки их были крайне растянутыми и уязвимыми для ударов обострившейся, сохранившей уверенность в себе. В то время как советское командование было полностью ориентировано в обстановке, для немцев она явилась запутанной и неясной. На ряде участков советские войска достигли успехов, вклиниваясь в немецкие боевые порядки, выходя в тыл вражеским соединениям. Немцы дрогнули, стали метаться в разные стороны, откатываться назад, попадая и здесь под удары наших войск. Отразив вражеский натиск на Москву, Красная Армия продолжала гнать разбитые немецкие войска на запад.

Следует подчеркнуть, что задача отражения наступления на широком фронте крупных танковых группировок не могла быть решена тактически — путем обороны на укрепленных рубежах и частных контрударов. Только переход в решительное контрнаступление способен был дать решение такой задачи. Потерпев поражение под Москвой, немцы потеряли всякую надежду на достижение важнейшей цели. Почти одновременные контрудары под Ростовом и Тихвином означали их поражение и на двух других стратегических направлениях. Крушение стратегического плана кампании поставило германскую армию перед лицом катастрофы. Резервов у немецкого командования не оказалось. Наступление Красной Армии на Центральном фронте угрожало уничтожением немецких сил, далеко выдвинувшихся на восток при небеспеченности коммуникаций. Гитлеровское командование, не помышляя уже о наступательных операциях, было вынуждено прилагать судорожные усилия для спасения своих сил от окончательного разгрома.

Разрабатывая свои планы блицкрига, гитлеровцы основывались на, казалось бы, неопровержимом положении: наступление танковых масс невозможно остановить, и в особенности на таком обширном театре. И сначала ход кампании подтверждал это. Но немцы не предусмотрели двух обстоятельств:

во-первых, того, что немецкие танки встретят сопротивление всюду, где бы они ни наступали, — в изредка пунктах, на дорогах, в лесах и болотах, в открытом поле.

во-вторых, того, что, если наступ-

пающие мотомеханизированные группировки создавали непрерывные угрозы обороне, то и обороняющаяся сторона в свою очередь может создать для них путем контрнаступления смертельно опасную угрозу.

В маневренных танковых сражениях побеждает та сторона, которая в наивысшей степени обеспечит свои операции от возможных ударов со стороны противника и в то же время сумеет создать для него наибольшую угрозу.

Москва 1941г.



После Московского сражения немцы очутились именно в таком положении, когда Красная Армия создавала для них смертельную угрозу, а сами они уже были неспособны угрожать ей. Теперь уже гитлеровское командование стояло перед задачей во что бы то

ни стало остановить советское наступление!

Зимой 1941/42 г. кипели ожесточенные бои, и в конце концов весной 1942 г. гигантский фронт от Баренцова до Азовского моря временно стабилизировался. Да, укрепленный

фронт возник и в этой войне! Это казалось невероятным в эпоху, когда танковые соединения могут свободно маневрировать на широких пространствах. Подвижность мотомехсил, казалось, исключает стабилизацию фронта. Так рассуждали гитлеровцы и жестоко ошиблись.

А между тем, объяснение было довольно простым. Гитлеровцы планировали войну так, что будут наступать только они, их танковые, моторизованные соединения, авиация. Но на войне ведь есть две стороны. Что получится, если обе они введут в сражение подвижные силы? Возникнут весьма сложные и запутанные положения, когда танковые соединения обеих сторон будут заходить друг другу в тыл, непрерывно маневрируя и ведя бой. Но конец сражения должен наступить. Из столкновения противоположных сил может получиться хотя бы временное равновесие, что и означает стабилизацию фронта.

Причудливо извивающаяся линия Советско-германского фронта, установившаяся весной 1942 г., не была какой-то случайностью. Она явилась результатом маневра и контрманевра, атак и контратак на отдельных участках фронта, результатом ожесточенных боев. Итак, и в современной, высокоманевренной, войне, если обе стороны располагают соразмерными силами, возможна стабилизация фронта, правда, временная и относительная.

Установление укрепленного фронта имело разное значение для двух воюющих сторон. Для гитлеровцев оно означало крушение плана молниеносной войны. Для советской стороны — успешное разрешение труднейшей задачи — остановить немецкое наступление.

Это был решительный результат. Германская армия потерпела тяжелое и роковое поражение. Москва 1941 г. создала предпосылку для проигрыша Германией войны. Блицкриг крахнул. Предстояла длительная война. Основные германские силы остановились на далеких рубежах в глубине советской страны, не достигнув поставленных перед ними целей. Стабилизация фронта свидетельствовала о мощи советской обороны. На этом фронте были скованы главные силы Германии. Перспектива войны была такова, что сила Красной Армии будет непрерывно возрастать, сила германской армии — падать.

Кампания 1941 г. завершилась с решительным результатом в пользу Советского Союза.

Крупнейшее значение для такого исхода имел тот факт, что авантюристическая гитлеровская стратегия поставила немецким войскам нереальные цели, что привело к дезорганизации наступления, разброске сил и к возникновению рискованной обстановки для зарвавшейся германской армии.

Сталинская стратегия в кампании 1941 г. дала гениальный образец постановки стратегической цели в оборонительной кампании, что внесло твердость, единство и планомерность в операции Красной Армии и обеспечило концентрацию усилий в решающий момент на важнейшем участке борьбы.

Гитлеровцы понимали, что означал происшедший поворот к длительной войне. Они неизбежно должны были сделать попытку опрскинуть возникший фронт советской обороны и нанести решительное поражение Красной Армии.

Эта попытка привела немцев к Сталинграду.

(Продолжение следует)

БОРИС СОЛОВЬЕВ

ЛИРИКА МОРЯ

(Творчество Алексея Лебедева)

«Лирика моря» — так называется одна из книг поэта Алексея Лебедева, балтийца, подводника, погибшего при выполнении боевого задания в первые месяцы Отечественной войны с немецкими захватчиками. Теперь, когда победа над врагом обеспечена всем ходом Отечественной войны, хочется вспомнить об этом поэте и войне, одном из тех, кто отдал свою жизнь родине и кто оставил нам книги, живущие и поныне, ибо в них есть нечто молодое, дерзкое, не подвластное умиранию.

Лебедев был подлинным лириком моря, — он любил море любовью неизменной, всепоглощающей и сосредоточенной. Моря и флоту он отдал все свои силы. Все мысли и мечты этого человека о большой судьбе были связаны с морем.

Превыше мелочных забот,
Над всеми мыслями большими
Встает немеркнувшее имя,
В котором жизнь и сердце — флот.

Алексей Лебедев по праву считается лучшим военно-морским поэтом, хотя на флоте работают поэты, обладающие большим литературным опытом и профессиональным умением. Стихам Лебедева присуще особое качество, без которого не может быть подлинно большой поэзии. Это качество — внутреннее единство, цельность, всепоглощающая увлеченность творческим материалом, темой своих переживаний. Влюбленность Лебедева в море — чувство удивительно молодое, страстное, подобное первой любви. Из стихотворения в стихотворение воспевает поэт море, чем дальше, тем все более глубокой и всепоглощающей становится его лю-

бовь, непобедимое влечение к морю и флоту. Этого чувства хватило бы на большую жизнь. В любви Лебедева к морю ощущается то чистое горение, в свете которого все связанное с ним приобретает особую значимость и увлекательность, — любая профессия, любой род оружия, любой поход.

Людам моря посвящает Лебедев свои самые лирические строки. И как бы ни был порою неподатлив материал, у поэта хватает молодого задора и желания во всякой морской профессии увидеть нечто замечательное и влекущее, достойное отважных людей, и стихи его исполнены пафосом и страстью.

Он воспевает труд сигнальщиков и радистов, артиллеристов, торпедистов. Со словами, исполненными лирического пафоса, обращается он к машинистам:

Хранители движенья боевого,
Давление поднявшие в котлах,
О вас мое восторженное слово.
О мужестве простом в больших делах.

Он пишет стихотворение о тружениках «службы погоды», о синоптиках:

Да здравствуют наши походы,
Штурвал под надежной рукой,
Великая служба погоды
И точность науки морской.

В масштабах открывающихся перед людьми флота, нет малых дел, нет второстепенных профессий — все приобретает особую значимость, отрешается от узости и мелочности. Выбор профессии для героя стихов Лебедева — это не замыкание в своем узком деле, но дорога в мир, связь со страной.

утверждение своей мечты о подвиге и служении народу. Все дороги хороши, были бы они связаны с морем:

Нам дали даются любые,
Но видишь сквозь дым и туман —
Дороги блестят голубые,
Которыми плыть в океан.

Лебедеву дорога любая подробность быта моряка, все, что напоминает о море, о традициях флота, все, что связано с морской службой,— даже строгая и красивая одежда моряка, даже белая роба из парусины.

Она ничем не крашена,
Ей труд морской знаком,
И кто ее не нашивал,
Не будет моряком.

Можно найти у Лебедева немало стихов, посвященных артиллерийской таблице, точным приборам кораблевождения — компасу, секстанту и т. д. Любовь к морю превращает даже самые обычные предметы в нечто высокое и удивительное. Не всегда в этих стихах поэзия присутствует в должной мере, но мы принимаем ее как вдохновенное творчество и вспоминаем замечательные слова Гоголя о поэзии Лопушанова:

«В описаниях слышится взгляд скорее ученого натуралиста, нежели поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта».

Эта «чистосердечная сила восторга» в высшей степени присуща поэзии Лебедева. Внутренний мир поэта озарен светом любви к морю, мечты Лебедева цельны и едины в своем стремлении. Из этой цельности возникает характер самого художника и характер героя его поэзии. У читателя рождается ощущение, что в книгах Лебедева не только поэтическое дарование художника, но и все его существо, натура, облик. В них живет настоящий характер, это качество, по правде говоря, присуще не многим нашим писателям. В стихах Лебедева мы видим душу нашего современника — героя, моряка, командира, мы видим всю его жизнь, от первых впечатлений детства до поры полного возмужания. Как в лирическом дневнике, почти с документальной точностью проходит она перед нами.

Мы видим мальчика, подростка, у которого влечение к морю сначала подобно недостижимой мечте, возникающей как отголосок славных дней русских морских сражений, дней Синопа и Гангута, Грангама и Наварина; это —

увлечение бессмертной славой Ушакова и Нахимова и делами первого флотоводца — Петра Великого; это — отголосок выстрела «Авроры», знаменующего начало новой эпохи в истории мира; это — воспоминание о дальних днях, когда «мы мальчишками были», когда в боях гражданской войны моряки отстаивали власть советов:

...наши отцы служили,
Вели корабли на сближение,
И запах штормов ревущих
Отцовский впитал бушлат.

Это все — и то, чему учит нас морская история, и то, что сделали русские моряки в годы гражданской войны, и будущее, которое предназначено нашему флоту,— все захватывает воображение героя стихов Лебедева, порождает мечту служить морю, отдать флоту всего себя и в этом найти свое призвание.

Лебедев воспевает сильного, волевого человека, умеющего реализовать свою мечту. Поэт, сам еще юноша, дает завет всей молодежи:

Пройди, не изменяясь, до могилы,
И сердце все, и волю всю, и силы,
Все подчини стремленью одному.
(«Дорога Колумба»).

«Все подчиняется усилению настойчивого чувства».— писал Флобер в одном из своих писем. Этой всепобеждающей настойчивостью обладает герой Алексея Лебедева. Былина о Садко, сказка о тридцати трех богатырях, выходящих из моря, каравеллы Колумба и Лаперуза, дальние острова с фантастическими, манящими названиями, старые одноглазые пираты Роберта Луи Стивенсона, отважные мореплаватели Реднарда Киплинга, морские волки Джека Лондона — все это принимало участие в формировании глубокой, цельной натуры, воспитало и укрепляло любовь к морю, влечение к подвигу.

В «Сказании о секстанте», несмотря на некоторую условность черт романтического героя, Тома Годфрея, мы узнаем тот же цельный, благородный образ, который возникает во всех других стихах Лебедева.

Впервые двухлетним мальчуганом герой поэмы увидел море:

...И я, малыш, сумел запомнить
только
Огромную синешую скатерть,
Чей край был плотно свит в трубу
тутую

ставить свою тактику, обеспечивающую победу:

Гит по частям, накапливать усилия,
С воды и воздуха ударить на форты.
Как смелый дух приподнимает крылья
Воннственной и дерзостной мечты!

В этих стихах — юношеская увлеченность, жажда сделать как можно больше, все увидеть, испытать, исполнить каждый свой замысел, поверить в боях свою силу, услышать гул морских сражений, принять в них участие, стать победителем! Все это дает море, служба на флоте.

— Республика! Мы окрепли,
Пришли на твои границы,—
Счастливые, гордые честью
Быть посланными на флот.
Пускай нас штормами треплет,
Но в море идут эсминцы,
И вахты стоят на месте,
Когда засвистят в поход.

Герой стихов Лебедева в бою осмысливает науку, обогащает ее опытом, сопряженным с риском, для которого нужна готовность к подвигу. Необходимейшее условие победы

Это — смелость в час суровой жизни,
Это — воля, что всего сильней,
Это — сердце, верное отчизне
И не изменяющее ей.

Подвиг для героя этих стихов — не жертва, а высшее проявление жизнеутверждающего начала, высшее проявление доблести и мужества. Вот почему он мечтает о подвиге, о дерзкой операции, в которую можно вложить все свои силы, все свои знания, всю ненависть к врагу. И то, что флот дает возможность осуществить мечту о подвиге, еще более укрепляет в молодом командире любовь к морю:

Крепи к победе волю,
Смелей веди борьбу!
За боевую долю
Благовари судьбу.

Так душа, выросшая и подготовленная к подвигу, ищет и находит в нем свое истинное и высшее назначение, свое призвание, свое счастье. В стихах Лебедева герой обнаруживает ту сосредоточенную волю, которая становится мощью, заклятьем, страстью. Он мог бы сказать о себе словами Блока: «Я не первый воин, не последний». А сам Лебедев об этом говорит так:

Враг в бою узнает нашу цену,
Если я умру, придут на смеху
Тысячи товарищей любимых,
Балтики сынов непобедимых.

Другого отношения к жизни, к значению война герой стихов Лебедева не знает. Мечта о подвиге, который предстоит совершить и от которого нельзя отступить даже перед лицом смерти, выражена в стихотворении «Сон»:

Снился мне тревожный ветра клекот,
Пушки сталь, июля жаркий зной,
И еще — простертое широко
Плещущее море подо мной.
Снились мне — орудий гром и пламя,
Пена набегающей волны;
В небе трепетавшие над нами
Боевые вымпелы страны.
Снился мне товарищ по
сверхсрочной,
Звонких гильз дымящаяся медь...
И бойцам прицел и целик точный
Я сказал пред тем, как умереть.

В этих стихах обнаруживается характер самого чистого и драгоценного сплава, не знающего примесей. Лебедев погиб именно так, как предугадано в его стихах, — выполняя свой долг, осуществляя перед лицом смерти подвиг, к которому стремилась его душа.

Лебедев погиб слишком рано, не успев развернуть всех своих возможностей — война, командира, поэта. Глубине переживаний и замыслов еще не соответствует глубина и характер короткого жизненного опыта, запечатленного в стихах. Мы видим юношу, преданного морю, видим курсанта, гордящегося честью стать моряком и успешно овладевающего морской наукой; мы видим молодого командира, готового претворить в боевое дело все, чему он научился, все, что дала ему родина. Но здесь еще нет полного развития всех внутренних богатств, всех возможностей, а ведь только это создает поэзию большого масштаба, не умирающую в поколениях.

Стихи Лебедева зачастую не зрелы, но в его работе обнаруживаются качества, являющиеся неотъемлемым признаком литературы больших чувств, большого характера, т. е. качества, в которых мы ощущаем самую насущную потребность. Лебедев успешно шел к созданию такой литературы, потому что сам был из породы тех людей, которых воспевал.

Есть произведения, на которые судьба их создателя отбрасывает удивительный и необычайный ответ, придавая им особое значение, углубляя их смысл и как бы досказывая за автора то, что он не сумел или не успел сказать. Таковы книги Николая Островского, фронтовые записки Юрия Крымова. Таковы и стихи Алексея Лебедева.

В этих произведениях возникает образ, исполненный всепобеждающего благородного мужества, образ, воспринимаемый нами не как вымысел художника, а как реальная достоверность, убеждающая нас силой своей жизненности и правдивости. К таким произведениям относиться как к дневнику, и в том, что они перестают восприниматься просто как литература,— их сила. Они становятся документом эпохи, свидетельством, обладающим таким же значением достоверности и правдивости, как и всякий другой исторический документ. Перед глазами возникает облик высокой моральной чистоты, и само это восприятие оказывает на читателя глубокое воздействие.

Стихи Лебедева — это несовершенный, но правдивый лирический дневник, по которому можно проследить

судьбу автора, все этапы его короткой и прекрасной жизни, рост и становление героического характера нашего современника.

Лебедев знал,

...что нам не раз минута суждена,
Когда за жизнь и за поступок
каждый
Собой мы платим честно и сполна.

И когда эта минута пришла, он честно и сполна заплатил за каждый свой поступок, за каждый помысел, каждое дерзание...

На столе лежат тонкие, маленькие книги его стихов — записки юности, едва начавшего жить. Но в них столько мужества, силы, преданности своей отчизне, что человек, который хочет познать душу современного поколения наших воинов, наших моряков, должен внимательно вчитаться в эти торопливые, порою неумелые строки...

А нам дано морями плавать,
Владеть любую глубиной,
Наследникам гаггутской славы
И зачинателям иной.

Одним из этих зачинателей и был молодой командир, подводник, лирик моря Алексей Лебедев.

А. ЛЕЙТЕС

О «ВЗЯТИИ ВЕЛИКОШУМСКА» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА¹

1

С уважением, а временами с восхищением читаешь отдельные страницы новой повести Леонида Леонова «Взятие Великошумска». Уважение вызывает добросовестность незаурядного художника, всесторонне изучившего многие детали новой для него фронтовой обстановки. С восхищением воспринимаешь полнокровное и яркое изобразительное мастерство, мягкость и точность ряда батальных зарисовок. Все это сочетается с естественным читательским интересом к большой теме, которая поднята писателем, — теме боевого подвига.

Итак, все налицо: талант автора, его добросовестность, важность и своевременность темы. И все же, дочитывая повесть², испытываешь опре-

деленную неудовлетворенность. Когда читатели, с которыми нам приходилось беседовать, пытались возможно проще и доступнее выразить эту неудовлетворенность, они говорили: повесть написана хорошо, с блеском, со знанием дела, а за душу не хватает. И в самом деле: она волнует гораздо меньше, чем этого можно было ожидать, судя по теме, по взволнованной, напряженно-патетической повествовательной манере автора.

В чем же дело? Как случилось, что произведение, имеющее много данных для большой художественной удачи, не оставляет глубокого следа в нашем сердце, в нашем сознании?

Вопрос этот ставится не для умаления литературных заслуг Леонида Леонова, а прежде всего для уяснения некоторых принципиальных вопросов

¹ В порядке обсуждения.

² Гослитиздат. М. 1944.

художественного творчества, столь необходимых для дальнейшего развития нашей литературы.

Когда перед нами произведение, написанное рукой бесталанного литератора или писателя, отнесшегося к своей теме недобросовестно, безыдейно, нет ничего легче, чем констатировать его неудачу. Но в данном случае мы имеем дело с произведением, неудача которого не лежит на поверхности, — она, во всяком случае, подлежит дискуссии.

Разумеется, можно было бы, вместо глубокого обсуждения повести и ее изъянов, вынести ей легковесное суждение, сославшись на затрудненность ее фразеологии, и этим объяснить то обстоятельство, что она не доходит до читательского сердца. Но такое суждение было бы поверхностным и мало аргументированным. Читатель наш далеко не всегда ищет облегченной прозы, гладкого чтения. Иной раз он готов преодолеть тяжеловесные конструкции сюжета и стиля, лишь бы получить от книги то главное, что оправдывает и возмещает его труд приближения к сложной писательской индивидуальности.

Построение сюжета и фразы у Достоевского, например, сложнее, чем у Тургенева или Чехова. Но это не помешало ему так же глубоко и просто проникать в душу читателя, как проникали Тургенев и Чехов. Нелепо требовать, чтобы Леонов работал в манере Шолохова, чтобы Шолохов пользовался приемами Алексея Толстого. Вопрос ставится иначе: удалось ли автору «Барсуков», «Соти», «Нашествия» в давно усвоенной им литературной манере осуществить свое задание — художественно запечатлеть подвиг советских людей на поле боя? А если не удалось, то где же корни этой неудачи?

2

Пять главных персонажей проходят перед читателем новой повести Леонова. Это — командир танкового корпуса генерал Литовченко, непосредственный руководитель боевой операции по взятию Великошумска, и четыре танкиста — Соболев, Дыбок, Обрядин, Литовченко (однофамилец генерала), совершивших в своем танке бесспорно смелый «кинжальный» рейд по коммуникациям врага.

«Это были обыкновенные люди», —

говорит Леонов о своих героях, об экипаже танка № 203. Командир танка тридцатилетний Соболев, родом с Алтая, учившийся когда-то на агронома; влюбленный в сады и в сказки, а теперь необычайно гордый своей принадлежностью к боевой семье танкистов. Башнер Обрядин, в прошлом повар, балагур и весельчак, любитель песен. Стрелок Андрей Дыбок с Кубани — «человек со стиснутыми зубами» — волевой и настойчивый молчаливый, в прошлом столяр и слесарь. Наконец новичок из пополнения — водитель танка Литовченко, молодой тракторист с Полтавщины, добровольно вступивший в ряды танкистов, ибо уж очень он «крепко осерчал на немца». Таков состав экипажа.

«У каждого из них имелись личные счеы с Германией», — говорится в повести. Уже в самом ее начале писатель дал надолго запоминающуюся сценку чтения красноармейцами писем сильно увезенных в Немецтину колхозников. Этой сценкой Леонов превосходно показывает тот накал злобы к немецким оккупантам, которым охвачен наш народ, наша армия. Бойцы, прошедшие длинный путь от Сталинграда до правобережья Днепра, видевшие повсюду следы тех бесчисленных издевательств, какие чинились фашистскими палачами над населением, всецело прониклись и «наукой ненависти» и умением воевать, сметающим на своем пути все трудности и препятствия. И хотя городок Великошумска нет на карте и название это условное, не стоит никакого труда сразу разгадать время и место действия повести Леонова.

Это был период вскоре после формирования Красной Армией Днепра, когда немцы сконцентрировали мощные танковые силы под Житомиром, отчаянно пытались задержать наши войска и отбросить их на левый берег Днепра. Именно в этой напряженной обстановке только что прибывшему танковому корпусу генерала Литовченко надлежало отразить вражеские контратаки и перейти в наступление. В азарте ожесточенного танкового боя, выручая другой танк, машина № 203 углубилась в расположение противника, потерпела аварию и очутилась вдали от своей бригады. Окопавшись, экипаж танка на вторые сутки вызволил свою машину и врасплох обрушился на немецкий эшелон с боеприпасами, на автомобильный парк фашистского мотополка. Траги-

ческая и неравная схватка, вызвавшая панику у противника и сыгравшая немалую роль в операции по взятию Великошумска, кончилась гибелью танка и двух членов его экипажа.

И в начале, и в конце «Взятия Великошумска» Леонов дает образ генерала Литовченко: Удачный прием помогает читателю обозреть бой глазами двух однофамильцев, Литовченко-генерала и Литовченко-рядового, и сообщает батальным сценам большую, как бы стереоскопическую выпуклость.

Но ведь не описание самой по себе фронтальной обстановки является центральной задачей повести «Взятие Великошумска». Мы уже сказали выше: тема произведения — подвиг советских людей.

Объезжая после взятия Великошумска поле недавнего боя, генерал Литовченко заглянул в разбитый и сожженный танк, где погибли Соболюков и Обрядин, и, по выражению Леонова, «сумел прочесть в танке все, что требуется для определения подвига».

Естественно, что и мы, дочитывая «Взятие Великошумска», невольно задаем себе вопрос: прочли ли мы здесь все, что «требуется для определения подвига»?

3

Свое отношение к подвигу героев-танкистов писатель выразил с большим красноречием. Тут сказались те же самые черты образной, местами излишне цветистой, но полной внутреннего напора и темперамента публицистики художника, с которой он от времени до времени выступал в дни Отечественной войны (достаточно назвать его очерк «Твой брат, Володя Куриленко», корреспонденцию с Харьковского процесса, «Письмо к американскому другу»).

И в повести отразились эти же черты. Но та стилиевая маера, которая была правомерной в патетичном публицистическом очерке и несла в себе немало положительного, приобретает стрицательные черты в художественном произведении. Зачастую с излишней прямолинейностью автор «Взятия Великошумска» забегают вперед, воспевая своих героев прежде, чем показать их в действии.

Читатель еще не успел повнимательнее взглянуться в образ Андрея Дыбка и сродниться с ним, как писатель уже спешит отрекомендовать его с лучшей стороны.

«...этот аккуратный, и всегда такой чистый, и как бы со стиснутыми зубами человек успеет совершить на своем веку все ему положенное, отомстить за мертвых, запомниться живым, размножиться в потомстве да еще останется время подвести итоги».

«...ему хотелось скорее исполнить всю черную работу, с чего начиналась его большая и умная житейская дорога».

Такое свое отношение к Андрею Дыбку писатель подчеркивает многократно: «Дыбок словно и во сне взбирался по ступеням большой жизни». А в другом месте: «Вот он был каков, Андрей Дыбок с Кубани! Людям следовало знакомиться с ним...»

В коротком очерке это было бы естественным. В повести это уже кажется несколько навязчивым. Читателю самому хочется по отдельным штрихам угадать «большую и умную житейскую дорогу» Дыбка, но автор предопределяет наше представление о герое, снабжая его восторженными словесными аттестациями, отнюдь не заменяющими по силе убедительности кропотливое изображение внешних и внутренних черт персонажа.

Системой восторженных восклицаний пользуется автор и тогда, когда хочет выразить свое отношение к обстановке подвига. В повести многие места отдают цветистой риторикой, на наш взгляд, иной раз попросту безвкусной.

Несколько примеров:

«То была мускулистая, могучая жизнь битвы; смерть, как битая собака, тыкалась в ноги у бессмертных, чтобы урвать крохи их великанского пиршества».

Или:

«Грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии, взрывчатого вещества, а прежде всего — людей двух миров, расстояние между которыми неизмеримо земною мерой».

Или:

«Здесь ехало все, чтоб, растворяясь в ничто, превратиться в победу».

Или:

«Нескончаемо длились сутки, разжиревшие событиями».

Или:

«По мере того, как прибавлялось свету, полнокровная радость вступила в него, как всегда, когда, пройдя через узкое горлышко ночных сомнений, вырывается душа на простор нового утра».

Или:

«Центробежное вращение двух поллярных волн, где осью служил домик садовода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель».

Можно было бы привести еще много примеров, которыми пестрит повесть: «дырявое железо — образчик вещества, из которого творится истинная слава», «звонкое шемящее вдохновенье боя», «бессонное бормотанье битвы» и т. д. и т. п.

Такой абстрактно-метафорический стиль дает ощущение войны, как некоего грозного «верховного существа». Можно допустить, что в стиле этом есть своя внутренняя закономерность. Называя великошумскую битву пеклом, Леонов упоминает о «сатанинском молчании», «колдовском зрелище», о блеске «адского магния», и танки он называет то «ангелами мщениа», то «дьяволами, которые падали из всех своих жерл», и то крутились на порваннх гусеницах, как «от магического заклинания», то исчезали с ловкостью привидения».

Поскольку этот стиль выражает личное эмоциональное отношение автора к картинам битв, с этим можно и хочется спорить, хотя при этом отдашь себе отчет, что художник вправе в излюбленной им манере отстаивать свое самобытное восприятие внешних черт фронтовой жизни. Это вопрос вкуса. Но уже не вопросом вкуса, а чем-то большим — вопросом жизненной и психологической правды становится проблема восприятия самими героями повести военной обстановки. Тут уже писатель говорит не за себя, а за своих персонажей. Каков же здесь словарный материал? Органичен ли он?

«Они слушали кощачью поступь проснувшейся войны». «У всех было торжественное ощущение, будто война наступовала их дружеским шлепком по броне». «Война уже заприметила их машину». «Война любит иной раз крепко посмеяться» (слова Соболякова) и т. д. и т. п.

В повести встречается фигура бледной, полусумасшедшей, без возраста, женщины, у которой немцы убили всех родных. Эта женщина восклицает: «Война, где мои дети... где мои дети, война!» Такое обращение полубезумешей, вконец затравленной немцами женщины к войне, как к некоему року, еще может быть объяснено. Но когда Леонов такого же рода ощущение пытается приписать боевым танкистам, людям в большин-

стве своем имеющим трехлетний боевой опыт, тем, для которых война стала уже чем-то привычным и который в самой напряженной обстановке мыслят деловито и ясно, точно и трезво, — тогда все это звучит крайне натянуто.

4

Еще хуже, когда эти напряженно-риторические обороты встречаются в прямой, а не только в косвенной речи героев «Взятия Великошумска». Тут уже протестует не только читательский вкус, но и самая логика художественных образов, создаваемых писателем.

Когда Соболяков подходит к своему танку и «взволнованно лаская рукой его ходовые части», говорит: «Ангел мщениа, а не машина, доброе утро тебе, ангел», — это кажется, мягко говоря, мало правдоподобным.

«Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова», — говорит Лесков.

Андрей Дыбок в самом разгаре танкового сражения, в азарте боевого ожесточения, ведя огонь по врагу, шепчет: «Вот он, элексир жизни, пусть напьется досьята».

Трудно, невозможно себе представить, чтобы слово «элексир жизни» вырвалось у стрелка-танкиста в этот острый боевой момент. Скорее можно допустить, что он крепко выругался по адресу немцев или произнес какое-нибудь невнятное междометие. Этот «элексир жизни» отталкивает читателя от Андрея Дыбка. А именно в этот момент читателю больше всего хочется сродниться с героем повести и как бы перевоплотиться в него.

Искусственный велеречивый язык как бы изнутри подтачивает и лишает достоверности почти каждую положительную фигуру повести. Это особенно наглядно сказывается на образе генерала Литовченко. Внешний облик его в повести дан великолепно. Генерал произносит иной раз слова, которые кажутся и меткими, и жизненными. Когда Литовченко иронически говорит своему адъютанту, засветившему фонариком: «Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан», — эти слова кажутся выхваченными из живой жизни. Но как только, по воле автора, он начинает выражаться длинными патетическими сентенциями, вся достоверность образа сразу же исчезает:

«Завтра бой. А нынче мое время — минутка. Простоим ее благоговейно, у главных враг, которых мы достигли. Взгляни на звездный проем этой вечной арки, окинь глазом принадлежащие тебе пространства... Не зарождается ли в тебе богоподобная способность реять над безднами, где ползали твои пращуры?»

Или:

«Терпение — посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить себе вечность, как слепому постигнуть море по соленым брызгам на губах; смертному, слабому мнится, что он живет на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покуривает свою махорочку перед атакой, он смотрит вперед и как бы держит ее в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей!»

Правда, слова эти генерал произносит в гриппозном состоянии. Но вряд ли и в болезненном состоянии советский боевой генерал, украинец по национальности, может говорить на таком не свойственном ему вычурном, полумистическом языке.

Когда танк, оторвавшись от своей бригады, завяз далеко в расположении противника, водитель танка Соболев в состоянии полудотчаяния говорит:

«Хорошие мы люди, очень!»

На что мы только не пускаемся для них, для деток... для всемирных деток. Сами в гать стелемся. Лишь бы они туфелек своих в сукровице не замочили. Верить?— всю дрянь жизни вынил бы одним духом, чтоб уж им ни капельки не осталось. А может, и не поймут?»

Можно с известной натяжкой допустить, что к Соболеву в эту минуту пришли такие мысли. Но уж абсолютно невероятным кажется, чтобы Соболев облек эти мысли в те слова, какие ему вложил в уста Леонов. Выражение «всемирные детки» никак не вяжется с лексикой советского танкиста. Печатью книжности — притом книжности старомодной — веет от этого словосочетания.

Создается впечатление, как будто советский боец, который, по образному выражению генерала Литовченко, «держит в руках газетку двадцать первого века», никогда в своих руках не держал наших боевых листков, наших армейских и московских газет.

В языке леоновских танкистов отсутствуют какие бы то ни было следы

нашей привычной, советской фразеологии. Жизненно ли это? Типично ли это? Разумеется, нет. Если Леонов решил выветрить из их разговорной речи следы обиходного словаря наших людей и придать ей большую «самобытность», то это явно мстит за себя.

Блестящий мастер сказа, Лесков утверждал:

«Главной задачей при изображении типов должно быть умение овладеть голосом и языком героев, не сбиваться с альтиов на басы».

За своих героев говорит писатель своим давно выработанным литературным языком. В течение долгого времени он многие свои литературные приемы, в том числе и приемы разговорной речи, разрабатывал применительно к отрицательным персонажам, к героям Зарядья, к «странным людям», колеблющимся интеллигентам. Но этот речевой склад не соответствует внутреннему облику советских бойцов, которых захотел показать писатель.

Все внешние описания очень ярко и точно даны в повести. С мастерством большого художника передает Леонов меткие надолго запоминающиеся детали. Когда генерал Литовченко в метельную ночь вышел из «Виллиса», его «сразу точно мокрой тряпкой мазнуло по лицу». Таких удачных штрихов очень много рассыпано в повести. С исключительной деловитостью и конкретностью описывает Леонов военную технику в ее мельчайших подробностях, образно показывает движение грузов по фронтовой магистрали, запечатлевает все будничное и все эффектное, что встречается на дорогах войны.

«Весомо, грубо, зримо» предстает перед нами танк, боевая советская «тридцать-четверка» и на разгрузке, и в период атаки, и в момент аварии. Легко и свободно оперирует писатель техническими терминами. С помощью художника читатель заглядывает в танк и наблюдает поле боя. Но получает ли он возможность заглянуть в душу людей, сидящих в танке, зарезаться их настроениями, переживаниями, мыслями?

5

Мы уже видели, что искусственная речевая манера заслоняет от нас живые характеры героев «Взятия Великошумска». Отечественная война родила десятки тысяч героев, подобных Соболеву и Литовченко. Читатель знает их в жизни. Он сам носит в себе их черты. Попытаемся поэтому отвлечься

от навязанного им словесного строя и проникнуть хотя бы в строй их мыслей, каким он дан в повести.

Леонов говорит о фронте: «Именно здесь глубже всего понимают жизнь».

К сожалению, мысли героев, как и их словесное выражение, заставляют читателя недоумевать. Они или очень отвлеченны, или метафоричны и находятся в подчинении у того или иного понравившегося Леонову словесного завитка».

Вот, к примеру, как рассуждает генерал Литовченко об отечественной войне: «Впервые у России на мир не на себя открылись удивленные очи...» (подчеркнуто нами). Это красиво и эдохповенно сказано. Но — помимо желания автора — мысль в этой фразе оказалась выраженной неточно, а значит и неправильно. Подлинное самоопознание России началось в результате Октябрьской революции, а не как следствие нашей отечественной войны, которая только глубже раскрыла расцветшее после Октября чувство социалистического патриотизма. Вряд ли такая спутанность мыслей является типичной для положительного образа советского генерала.

В другом месте генерал Литовченко говорит:

«Что фашизм! Мы пройдем сквозь него, как сквозь дым последнего костра...»

Это звучит очень патетично. Но и эта богатая образами патетика бедна мыслью. Ведь и после победоносного окончания войны перед нами встанет задача окончательного политического и морального разгрома фашизма. Если уж выражаться в том же метафорическом стиле, — немало зловонных головешек, усердно раздуваемых вчерашними мюнхенцами, будут тлеть в Европе после изуверского фашистского костра. Хотел ли Леонов и его положительный герой облегченно характеризовать нашу борьбу с фашизмом? Разумеется, нет! Но генерал у Леонова как будто совсем забыл о суворовском завете: «не обременять слога элоквенцией». Его «элоквенция» идет явно в ущерб мысли.

Спутанно рассуждает в повести Собольков. Готовя к бою новичка из пополнения, водителя танка Литовченко, Собольков говорит: «Страх это... как бы тебе сказать, тоже вроде уважения — только пополам с ненавистью». Собольков, очевидно, хотел сказать, что поскольку немцев не уважаешь, их не надо бояться. Но вряд ли правдопо-

добно, чтобы, воспитывая бесстрашие в молодом бойце, командир стал бы так общо характеризовать страх, как некую сумму уважения и ненависти к врагу.

Мысли молодого бойца Литовченко, крестьянского паренька, ставшего водителем танка, даны в повести все в том же условно-риторическом плане. Образ вчерашнего тракториста красноармейца Литовченко, научившегося на третьем году войны искусству вождения танка, мог бы стать темой большой самостоятельной повести и во всяком случае дать толчок для плодотворных и интересных мыслей. Леонов же и здесь ограничивается «красивой» метафорой: для Литовченко танк — это чудо, ибо он ему кажется «комбайном», которым можно собрать десятикратный урожай мщениа.

Танковый экипаж беспрестанно рассуждает о себе: «Мы, танкисты, особый народ... и не зря нам завидует пехотка...» Вряд ли такое противопоставление себя пехоте типично для наших танкистов. Это во всяком случае противоречит скромности танкистов, не соответствующей внутреннему облику Андрея Дыбка, как и его последние слова, сказанные Литовченко: «Ты обо мне еще много услышишь...»

Леонов красноречиво разговаривает за своих героев, но он и мыслит за них, вместо того чтобы мыслить вместе с ними. И это еще больше заслоняет от нас подлинные характеры, их живые, типические черты, сообщает им литературную условность.

6

В повести есть чудесная сказка, которую рассказывает Собольков своим товарищам в танке задолго до последней, отчаянной схватки с немцами. Эта сказка никакого отношения к событиям, происходящим в повести, не имеет. Она тормозит действие повести. Автор ее использовал как литературный прием для того, чтобы подчеркнуть томительную длительность ночи, которую экипаж танка проводит в расположении немецких войск. Думается, что автор воспользовался этой сказкой для того, чтобы еще раз продемонстрировать читателю свой большой талант мастера сказа.

В данном случае, как и в других местах повести, самобытные и своеобразные литературные приемы автора выступают как некое средостение между читателем и героями.

«Хороши только тот стиль и тот рисунок, которые не хвалят, потому что все внимание поглощено интересом содержания», — говорит французский скульптор Огюст Роден. Мы хвалили и хвалим автора «Взятия Великошумска» за отдельные живописные сцены повести, но одновременно мы ощущаем, что из отдельных его удач не родилась большая удача всей повести в целом.

«Вы смотрите на картину или только что прочли страницу, вы не заметили ни рисунка, ни колорита, ни стиля, но вы потрясены до глубины души», — продолжает Роден.

Мы замечаем в повести Леонова и стиль, и рисунок, и колорит, но не чувствуем главного — того, что может потрясти читателя до глубины души и запечатлеться на всю жизнь.

Публицистические отступления и риторические места как бы подменяют раскрытие внутреннего облика советского танкиста-героя. Красноречие по поводу подвига заслоняет поэзию самого подвига, ту поэзию, которая, показывая необыкновенное в обыкновенном, заставляет и читателя, и художника жить жизнью героя. Ибо ряд стилизованных приемов Леонова в этой повести вступает в противоречие с характерами изображаемых им людей.

В чем недостаток некоторых наших художественных произведений, посвященных тому или иному боевому подвигу? Наша жизнь — особенно в дни отечественной войны — настолько богата героическими деяниями, что о подвигах мы узнаем раньше, чем о людях, их совершивших. Писатель подчас не решает свою задачу самостоятельно, но ошибочно полагает, что достаточно со всем присущим ему мастерством и наблюдательностью описать самый подвиг, достаточно — со всем присущим автору красноречием — умилился перед героем, чтобы получить вдохновенное произведение о подвиге.

Но у м и л е н и е перед героем есть — у м а л е н и е героя. А изображение подвига без полноценного раскрытия характера человека, совершающего подвиг, подобно памятнику с огромным искусно сделанным пьедесталом и маленькой, наспех изваянной статуей на нем.

Так рождаются произведения о героизме без запоминающихся героев. Так возникают книги, о которых читатель говорит: много в них удачных мест, но места в моем сердце они не находят. Так возникла повесть «Взятие Великошумска».

А. ГУРВИЧ

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Книжка А. Коптелова «Родная кровь» открывается рассказом «Пулеметчики». На передовой линии, в минуту затишья, сержант Демин пишет письмо жене. Письмо не дописано, так как пулеметному расчету Демина дано задание немедленно пробраться в тыл к противнику, чтобы любой ценой помешать ему переправиться на наш берег. По пути пулеметчики дважды натываются на вражеские засады. Потеряв в стычках с ними всех пятерых товарищей, Демин, обливаясь кровью от ран, все же устанавливает в нужном месте свой пулемет и, обессиленный, обескровленный, один за шестерых выполняет боевое задание.

Затем мы видим его в госпитале. Разгладив «измятые листы бумаги с бурными следами крови», медицинская сестра дописывает прерванное письмо Демина к жене, сообщая ей о его

подвиге и о том, что он жив, здоров и только временно не владеет рукой.

«— Сестрица! — выговорил Демин слабым дрожащим голосом. — Напиши, сестрица, что в моем пулеметном расчете были золотые ребята. Орлы! Герои! Я помню их адреса. Пусть женка сходит к матерям и женам — им будет легче».

В этих заключительных словах, удивляющих совмещением слабого, дрожащего голоса с знаками восклицания, подчеркнута идея рассказа, который призван открыть нам «чуткие сердца бойцов», силу фронтовой дружбы мужественных, самоотверженных советских патриотов.

Должен признаться, что рассказ этот, как и множество ему подобных по сюжету, по тону и «происхождению», хотя и написанных более известными писателями, оставил меня совершенно

равнодушным, если не считать отдельных раздражающих моментов. Да, герои рассказа гибнут, спасая своей смертью родину, всех нас, меня лично, а я перелистываю траурные страницы с бурными следами крови и не испытываю волнения, которое должен, обязан испытать перед лицом трагических событий. «Ничего не поделаешь, еще один рассказ, написанный холодной рукой ремесленника»,— говоришь себе. Но это случается так часто, что возникает опасение, не сваливаешь ли ты вину с больной головы на здоровую? Может быть, ты сам виноват в том, что не находишь в себе отклика на такие рассказы. Я решаю на этот раз подвергнуть свое безучастие строгой проверке, воспротивиться ему и, если возможно, победить его. Я должен, я хочу выстрадать судьбу героев рассказа Коптелова, проникнуться к ним любовью, сочувствием, испытать чувство гордости за них, хочу быть возбужденным их боевой страстью и потрясенным их смертью,— словом, хочу вобрать в себя и пережить все человеческое содержание их жизни.

Но как это сделать?

Прежде всего внушаю себе мысль, что передо мной не литературное произведение, не вымысел, а сама действительность. Перечитываю написанное, ничего не подвергая сомнению. Не ищу правдоподобия, убедительности. Верю. Все это было, было именно так, как здесь рассказано. Ягодкин, Берсенов, Никулин, Ефремов, Васильев — не герои рассказа, а герои нашей войны. Они жили в белом свете и пали смертью храбрых.

Как воздать им должное? Как включить их жизнь в опыт своей жизни?

Для этого прежде всего я должен сохранить их в своей памяти, сохранить след их в своей душе. Думать о них.

Кому не знакома чудесная сила воображения, которая одухотворяет нас, когда мы предаемся воспоминаниям, желая усилить скорбь разлуки, вечной или временной, с возлюбленной, с другом, с соратником, с ребенком, когда мы воссоздаем в своих видениях знакомые черты и — замечательно! — в таких случаях только неповторимые, что так естественно и необходимо для осознания утраты, так как утраченным может быть только неповторимое. Не случайно ведь в печали своей о погибшем человеке мы часто говорим о невознаградивой утрате.

Желая осознать и пережить утрату, понесенную нами со смертью Ягодкина, Берсенова, Никулина, Ефремова и Васильева, я пытаюсь вызвать их образы в своей памяти. Мне необходимо снова услышать их голоса, увидеть их лица, жесты, вспомнить отличительные особенности их ума, темперамента и все это в когда-то имевших место проявлениях, то есть я хочу увидеть каждого в отдельности. Как же еще иначе я могу думать о жизни и смерти этих людей,— ведь они не абстрактная идея самопожертвования, а реальные люди, люди живой действительности, нашей борьбы.

И вот тут-то я натываюсь на непреодолимые препятствия. Препятствие это — пустота. Воображению не за что зацепиться. Сколько я ни напрягаю свою память, не могу их вспомнить. Не вижу. Ни одного. Казалось бы, на моих глазах один за другим погибали пять человек, погибали в самоотверженной борьбе,— неужели я был так слеп или равнодушен, что ни один из них мне не запомнился?

Перечитываю написанное второй, третий, пятый раз и убеждаюсь, что я никогда и не видел и не слышал этих «золотых ребят» и поэтому никогда, никогда не смогу их вспомнить. Чем, кроме фамилий, могу я отличить их друг от друга, если всего только раз перед тем, как эти люди волею автора и событий навсегда уйдут из этого мира, о них сказано, вскользь и суммарно, следующее: «Всем им было уже за тридцать, у каждого дома осталась жена с детьми. У каждого в ранце — письмо со следами слез». А потом, когда их уже не стало, их опять помнят скопом в постскрипуме, тремя словами на пятерых, тремя словами во множественном числе: «Орлы! Герои! Золотые ребята!»

Кто же такой Ягодкин? За тридцать, дома жена, в ранце письма, орел, герой, золотой парень.

А Берсенов? За тридцать, дома жена, в ранце письма, орел, герой, золотой парень.

А Никулин? Точно так же. А Ефремов? Так точно. А Васильев? Так точно.

С какого идеального конвейера сошли эти золотые ребята? Ведь даже оловянных солдатиков, выбрасываемых штамповальным станком, дети отличают одного от другого по каким-то едва заметным признакам. Да и то, играя в войну, они никогда не выдают своих

жертв за всамделишных и не приписывают ни им, ни себе «чуткие сердца бойцов». А равнодушные сочинители, монтирующие согласно требованиям ходового сюжета свои неодоушевленные предметы, произвольно названные ими человеческими именами, ханжески вздыхают каждый раз, когда кладут свою очередную фигурку в горизонтальное положение. Разве могут быть не ханжескими сентенции о чутких сердцах абсолютно обезличенных бойцов? Разве не ханжеской является просьба Демина к жене — сходить к родным погибших товарищей, чтобы утешить их? Как сходить? Куда? Неужели все пять погибших бойцов из пулеметного расчета Демина жили в одном городе и как раз в том, откуда и сам Демир?! Значит, все они земляки. Какое удивительное, редчайшее совпадение. Но в рассказе об этом ни слова. А разве могли бы герои рассказа, и сам автор такой исключительный факт обойти полным молчанием?

Нет, не совпадение это, а совершенно непредвиденный и незамеченный автором результат его показной, нескрепной и поэтому излишне усердствующей и неуклюжей гуманности. Просьба Демина не имеет в виду ее выполнения. Практически она никого ни к чему не обязывает. Никуда не надо ходить, никого не надо утешать. И вообще пет никаких адресов, их и не называет Демир, — есть опять-таки только суммарное слово адреса, за которыми отнюдь не предполагаются определенные дома с живущими в них людьми, точно так же, как за фамилиями погибших бойцов не предполагаются отдельные личности. Нет, последняя фраза Демина понадобилась не для доброго дела, а для симуляции человечности, на которую толкнул Демина автор, абсолютно безразличный к тому, что будет с его героями после того, как он подмахнет под рассказом свою фамилию. Он сохранил благородную позу, расписался в своей отзывчивости, а после меня хоть потоп. Так любезный чиновник-бюрократ с обаятельной улыбкой накладывает на заявление желательную резолюцию, несколько не беспокоя себя тем, что она заранее обрекает посетителя на бесплодные мытарства. И он искренно доволен собой, этот благодетель, сидящий на многих писательских и учрежденческих креслах и неутомимо трудящийся в должности исполняющего обязанности человека.

Я не забыл о своем решении рассматривать рассказ Контелова не как литературный вымысел, а как документальное свидетельское показание. Я просто не смог его выполнить. Пусть автор пеняет на себя. С самого начала центральный герой рассказа Демир всячески противодействовал моему, так сказать, предрасположению подчиниться гипнотической силе художественного произведения.

Он пишет письмо своей жене. Письмо это необходимо в рассказе, как лирическая экспозиция Демина перед последующими батальными сценами. Оно должно помочь читателю воспринять личность главного героя рассказа во всей ее полноте. В дальнейшем мы увидим Демина в ратном деле, в действии, а до этого познакомимся с его душевным миром.

Вот некоторые из типичных строк этого интимного послания:

«Родная моя!

В туманное утро встали на Красной площади, будто поднятые родной землей из ее могучих недр. На наших плечах таяли хлопья снега. Он прикрыл нас с воздуха своим мягким крылом... Победоносное знамя, рея над древними башнями Кремля, звало нас в бой...

...Наш полк шел по улице Горького, по площади Пушкина. Наш любимый поэт снял бронзовую шляпу (!), провожая нас на смертный бой. В моих ушах прозвучали его вечные слова (следуют цитаты, облетевшие всю нашу память). И я подумал: «Мы идем в бой за землю русскую, за родной наш язык, за Пушкина и Маяковского, за Толстого и Горького, за Суворова и Кутузова, за все, что дорого нашему сердцу».

...Ворвавшись в город Калинин, фашистские вояды сдернули с пьедестала памятник Пушкину и распилили его на части. На место его они взгромодили свою дьявольскую свастику. Глупцы — думали надолго. Не бывать этому! Мы обломаем звериные рога, заставим немцев восстановить...

Родная моя!

...Это паша жизнь. Мы встали на ее защиту. И никто не заставит нас гавкать по-немецки. Никому не под силу принудить нас петь иные песни, кроме русских. Никому не вытравить из нашей памяти чудесные наши сказки. Не бывать этому! Мы были русскими и будем ими. Мы не умеем стоять на коленках. Мы рождены, что-

бы твердо — во весь рост — шагать по земле, ласкать жен, растить детей, не знающих ни страха, ни уныния».

Какое красноречие, какие красоты стиля, сколько благородства, чистоты, какой пафос! Какое письмо! Но как хорошо, что оно оказалось неподписанным. Я уже не говорю о читателе. Хорошо для автора, потому что письмо это нельзя подписать личным именем. Некому его подписать. Это не личное письмо, которое запечатывают в конверт, чтобы его вскрыл единственный его собственник. Оно не предполагает даже знакомства с человеком, к которому обращено, не говоря уже о близких отношениях. А частный адрес — адрес жены — в данном случае такая же фикция, как и адреса погибших товарищей Демина, которые он якобы запомнил.

Некому подписать письмо мужа к жене из рассказа Коптелова, обильно перестрахованное великими именами. Казалось бы общее по содержанию для многих и многих советских людей, оно не могло быть написано никем из них в отдельности. Ведь это ничем не замаскированный литмонтаж из передовых статей и публицистических очерков, украшенный бронзовой шляпой, «детьми, не знающими страха» и т. д. Он сделан ножницами, а слова «родная моя» употреблены здесь вместо клея. Не живой человеческий голос, а нарумяненная красными чернилами мертвая красавица, имя которой *литературина*, — автор этого письма. И никто не примет эти чернильные кляксы за «бурые следы крови».

Коптелов, вероятно, полагает, что письмо его героя есть человеческий документ большого обобщенного содержания, типично выражающий чувства миллионов советских патриотов. Оставим в стороне тот факт, что в письме этом нет ничего, что было бы достоянием личной жизни Деминных. Пусть содержание его исчерпывается событиями государственной, народной жизни. Таких писем в личной переписке немало. Но ведь в каждом из них своя почерк, своя интонация.

Когда мы в математике обобщаем, то есть выносим общее для многих и разных величин за скобки, то в скобках остается частное, неповторимое, и только благодаря ему общее продолжает существовать. Иначе к кому бы оно относилось? Для кого было бы общим? Когда в скобках ничего не

остается, то общее, помноженное на ноль, и само становится нулем.

Если в художественном произведении нет человека, нет отдельной личности, то в нем нет ничего ни общенародного, ни общечеловеческого. В нем есть только характерное для наивной или ленивой мысли намерение охватить многое... простым употреблением слов во множественном числе, в результате чего мы только и узнаем, что «всем им было за тридцать, у каждого осталась жена с детьми, у каждого в раще письма со следами слез».

Неужели на письма, подобные письму Демина, приходят ответы со следами слез! Или это слезы женщины, убедившейся по такому письму, что у нее нет мужа? Согласитесь, что когда муж в письме к жене до такой степени отвлекается и от себя и от «своей родной», что патетически восклицает: «Мы рождены, чтобы ласкать жен...», то в скобках остается круглый ноль. И помноженный на него декламационный гражданский пафос Демина обращается в ничто.

Я был бы неправ, если бы утверждал, что абсолютно неуловимый, невидимый в своем письме Демин лишен плоти и крови. Когда пытаешься вспомнить людей, о которых рассказал нам Коптелов в «Пулеметчиках», то перед глазами возникает один только Демин. Вот его портрет: распоротое хрящеватое ухо, вспухший язык и пальцы в теплых сгустках крови.

Демин описан в момент рукопашного боя, возразит мне Коптелов. Совершенно верно. Но как быть читателю, который никакого другого представления о Демине не имеет? На протяжении всего рассказа ни одного слова, кроме приведенных, которое характеризовало бы внешность Демина. А думать о человеке, не видя его в своем воображении, мы, смертные, не умеем. Такова уж природа человеческого мышления. И вот говоришь себе: «Демин», закрываешь глаза и, хочешь не хочешь, а перед тобой хрящеватое ухо, вспухший язык и пальцы в сгустках. Других красок не дано.

Помнится, Анна Каренина обратила внимание на некрасивые уши Каренина, когда возненавидела его душой. Так как Коптелов освободил себя от хлопотливого вмешательства в душевный мир своих героев, а значит, и от всякого личного отношения к ним, то перед ним открывается широкая дорога к полному объективизму описания.

Отнимите у человека то, чем Коптелов не интересуется, и останется животный организм. В этом же качестве делить нас на достойных и недостойных, конечно, не приходится. Тут уж имеет место не раскрытие, а вскрытие человека, какое производится в морге, где все равны.

И вот русский «штык идет в живот немца, как нож в пустую тыкву», немецкий «штык чмокнул, выдернутый из тугого тела красноармейца», Демину немец расporол хрящеватое ухо, но у него самого под ударом Демина в висок «хрястнула кость, как переспевший арбуз». Иногда эти аппетитные образы относятся к врагам, иногда к нашим бойцам, но чаще всего к тому общему понятию среднего рода, которое заключено в слове животное. «Чьи-то давно не стриженные и жесткие, как щетина, волосы», «кто-то грохнулся спиной о землю, из кого-то хлестала кровь, как из приколотого барана. Свой погиб или враг сражен — разбираться некогда».

Вот кульминация рассказа о чутких сердцах бойцов, о круговой поруке, о босвой дружбе до гроба. Кто-то, что-то, чьи-то, кого-то — столько равнодушия и пренебрежения к человеку в этой обезличке. Любопытно, что сделал бы Коптелов, если бы был не литератором, а живописцем? Как разрешил бы свою батальную картину при всех неизвестных? Писал бы приколотого барана? Где в этой картине боя хоть какие-нибудь следы человечности? Рядом с Деминим остались последние его два товарища. Только два! Но у них уже нет ни для него, ни для автора ни имен, ни фамилий. Один отдал богу душу, растворившись в слове «кто-то», а другой — последний! — пал замертво, замеченный Деминим, как «человек в серой шинели».

Могила неизвестного солдата — сколько их на серых полях литературы! Сколько людей героически гибнет в рассказах, пьесах, поэмах, оставляя читателя в полном неведении — кто погиб, какая жизнь ушла от нас, кого среди нас не стало. Сколько литературных героев умирает, не пожив, не оставив по себе никакой памяти! Сколько действующих лиц падает мертвыми не в пример шекспировским, не в пятом акте, когда перед нами прошла уже вся их жизнь, а сразу, при первом же своем появлении. Удивительно ли, что авторы легко и бесследно расстаются с такими мертворожденными

героями, равнодушно списывают их со счетов, забыв их имена и фамилии. И удивительно ли, что мы отвечаем автору таких героев тем же равнодушием и забвением. Скупая надпись на могильном камне Ваганьковского кладбища говорит нам больше о погибшем человеке, чем подобные рассказы. Мы узнаем здесь даты рождения и смерти погребенного, его имя, отчество и фамилию, имена его родных, а иногда и фотопортрет, перед которым невольно останавливаешься в раздумьи.

О чем думать над могилой солдата? О чем и о ком скорбеть?

У жалкого Акакия Акакиевича Башмакина украли шинель, и рассказ об этом стал одним из самых волнующих, самых драматических рассказов во всей мировой литературе, а о подвигах, полных трагизма и величия, подобных тому, который воспел и возвеличил Гоголь в образе Тараса Бульбы, нам часто рассказывают с полным безучастием.

Скажут: талант — это дар «божий». Чего вы требуете? На нет и суда нет.

Так ли? Мы вправе требовать таланта от каждого, кто публично выступает в роли художника. Это наше естественное и законное требование. Таланты бывают разнохарактерные и разномасштабные, и не для уничтожения малых мы привели здесь имена великих художников, а для того, чтобы подчеркнуть другое, еще более законное требование читателя, одинаково относящееся ко всем, берущимся за перо — от мала до велика. Речь идет о человечности, которая является не только качеством подлинного художника, но и матерью искусства вообще, его почвой, воздухом и солнцем, его природой. Впечатлительный, пронзительный человек еще не художник, но только из среды таких людей он может появиться. Понимать многого человека, догадываться на основе малого о многом или обо всем, что делается в его невысказанной, не всплывающей полностью на поверхность жизни, — это умение слушать, понимать, угадывать открывает писателю целые миры там, где для человека глуховатого и подслеповатого ничего нет.

Я прочитал сборник военных рассказов Коптелова «Родная кровь», изданный отдельной книжечкой рассказ «На зов родины» и книгу «Лето на полях». Не любит Коптелов человека! Не тянется к нему мыслью, не останавливается перед ним надолго.

Лето на полях Коптелов провел не потому, что Сибирь в эту войну долго была единственной житницей страны и требовала титанического труда колхозников. Нет, он отправился туда, чтобы лечиться от ревматизма укусами пчел, яд которых, как вычитал Коптелов во всех существующих энциклопедиях пчеловодства, в большом количестве способен убить лошадь, но часто излечивает людей от многих болезней.

Этò открытие, признается Коптелов, меня не испугало, «так как я не лошадь». Вот почему, оказывается, объяснены мы появлением книжки «Лето на полях». Пусть так. Не столь уж важно, какие обстоятельства привели автора на место действия его героев. Не будем вмешиваться в его личные дела. Но вот беда: он заставляет нас это делать! Мы приглашены любоваться телом и физиономией автора, когда пчелы кусают его в спину, в грудь, в щеку, в локоть, в мизинец. Что и говорить, неприглядная картина. Но Коптелову уже все равно. Он находится в состоянии сладострастного экстаза. Он уже весь искусан, пчелы, вонзив жала, гибнут в складках его рубашки; жало, мускулы которого продолжают работать, впивается все глубже и глубже, но Коптелову и этого мало, он сам придавливает жало пальцами, чтобы оно вошло еще глубже, и острая боль разливается по всему телу, словно его обжигают горящими свечами.

По глубокому, отталкивающему натурализму эта страница перекликается с описанием боя в «Пулеметчиках», который врезается в память, как натюр-морт из тыквы, арбуза и барана, проколотых штыками. И она тоже, конечно, запоминается, резко выделяясь среди остальных, где изображены люди, как острая боль от тупого равнодушия.

Формально в этой книге есть все и вся: и передовые и отсталые люди, и беспокойные труженики и лентяи, и якобы конфликты и якобы становление личности, и дети на полях, и школьники на полях, и бойцы на полях,— но все эти люди нужны автору только для того, чтобы иметь возможность пройти мимо них. Каждая посвященная им строчка написана для того, чтобы от нее избавиться. И большинство из них представляет собой простое перечисление сельскохозяйственных процессов, надписи к картинкам из букваря,

предназначенного для первоначального ознакомления детей с жизнью колхоза. Люди делятся только на рабочих и трутней, то есть на действующую и бездействующую физическую силу. Все же высшее человеческое отдано автором пчелам. Тут и быт, и нравы, и организация, и борьба, и мудрость, и поэзия. Должен же кого-нибудь любить Коптелов, и вот, глуховатый к человеческим голосам, он улавливает даже «едва уловимый стон» пчелы, он слышит, как гуд пчелиных крылышек «приобретает оттенок деловитости».

Любопытно, какая сублимация произошла в этом отношении в рассказе «Пулеметчики». Человек там автоматизирован, но зато... автоматы очеловечены. Так сохраняет Коптелов мировое равновесие. Правда, очеловеченная жизнь автоматов воплощена в образах жуткой мелодрамы, но все-таки...

Вражеский снаряд прогудел над головой, «как запевала дьявольского хора». В ответ раздался «торжествующий хохот» нашего пулемета, после чего «максим» уже не унимался до конца. Вода в кожухе давно кипела, а пулемет «заливался гневным предсмертным хохотом».

Вот какие страсти! Гневный хохот! Предсмертный хохот! Даже земля не могла остаться спокойной, когда на ней разыгралась эта дьяволиада. Она сначала «застонала в гневной дрожи», а затем засмеялась и, казалось, ударила в «каменные ладоши». И как в самом деле не затаять дыхания, не волноваться, не приложить ухо к сердцу «максима», который «начал свой грозный говор, как человек, которого долго принуждали молчать, а теперь он воспользовался возможностью высказать все и отвести душу».

Чорт возьми! Почему же Ягодкин, Берсенеv, Никулин, Ефремов, Васильев и Демин не воспользовались этой возможностью все высказать и отвести душу?!

Демин, сказано в заключительной строчке описания боя, «не хотел, чтобы пулемет пережил его». Увы, это совершилось. Пулемет пережил героя: торжествующий хохот «максима» еще звучит в ушах, а Демина и след простыл. Он канул в Лету, вопреки утверждению сестры, что он «жив, здоров и только временно не владеет рукой».

Будем надеяться, что эти слова относятся к автору.

ТАЛАНТЛИВАЯ ПОВЕСТЬ

(О книге А. Чаковского «Это было в Ленинграде»)

В произведении советского писателя читатель хочет видеть не только свидетельство времени и событий, но изображение той неповторимой индивидуальности наших людей, которая с особой выразительностью вскрылась в дни Великой отечественной войны.

Наш опыт за последние четыре года неизмеримо расширился. Мы были свидетелями таких проявлений человеческого достоинства и величия, а подчас и человеческого падения, которые всего несколько лет назад могли показаться фантастическим вымыслом.

Зло фашизма обнаружило и обнажило себя в этой войне с предельной откровенностью. Закономерность поражения фашизма не во всей своей полноте будет понята читателями будущего, если в книгах наших дней не будут во весь рост показаны герои сегодняшней войны, люди, побеждающие зло.

Сколько же искусства и такта нужно нашей литературе, чтобы ее достоянием стало душевное богатство воина Красной Армии.

Каждое подлинно художественное произведение современности привносит что-то свое новое в мысли об искусстве наших дней.

Повесть А. Чаковского «Это было в Ленинграде» приковывает к себе внимание не только в момент чтения, но и тогда, когда книга прочтена и отложена в сторону.

Название ее указывает на задачу, поставленную перед собой автором.

Судьба героев не отделима от судьбы Ленинграда. В том, как описаны в книге судьбы людей, есть неповторимость и своеобразие обстановки. Нет нужды говорить о значительности и тяжести переживаний, выпавших па долю Ленинграда. Позднее, так же как теперь, героизм нашего времени будет измеряться героизмом, проявленным осажденным Ленинградом и его защитниками.

В повести «Это было в Ленинграде» писатель наново увидел и по-своему рассказал пережитое, чувствуя в этом настоятельную потребность. Получилось произведение, обладающее качествами поэтической, глубоко лиричной прозы. Может быть, именно поэтому хочется

говорить о достоинствах этой книги, само появление которой позволяет ожидать новые события в нашей литературе — те, которые хочется предугадать по первым ее вестникам.

Попросту говоря, читатель истосковался по книгам, вводящим нас во внутренний мир нашего современника, повествующим о любви. Заслуга Чаковского в том, как заговорил он об этом. Жанр дневника, автобиографического повествования получил в дни войны широкое распространение. Повесть Чаковского стоит в ряду этих произведений, но она несколько более эпична и сдержанна в самом характере письма.

Автор сохраняет всю непосредственность и живость, присущие дневниковой, мемуарной форме, — обращение к читателю, собеседнику. Но достоверность в этой книге перерастает рамки простой фиксации пережитого. Вместе с тем повесть написана весьма лаконично.

Правда, это особый лаконизм: за ним ощущается подтекст. На подтексте основаны речь героев повести, их действия, поступки.

Военный корреспондент газеты Волховского фронта, от лица которого ведется повествование, непрерывно думает о самом близком ему человеке — о ленинградской женщине Лиде. Он часто пишет ей, но ответ не приходит из осажденного города.

После поездки в танковую часть, осуществившую прорыв обороны противника, военный корреспондент направлен редакцией в Ленинград. Он все глубже проникает в душу города, много пишет о нем. В мучительных поисках Лиды он все более подробно узнает судьбу ленинградцев. А читатель, идя по следам героини, ни разу еще не встретив ее, ощущает все мужество, проявленное ею в выборе своего пути, всю силу того обаяния, которое ведет вслед за ней ее возлюбленного. Это чувствует читатель: автор не подсказывает ему эмоций.

В повести Чаковского нет обидного снижения уровня переживаний до банального, удобного, обиходного. Это — сдержанный рассказ о напряженных поисках той единственной судьбы, кото-

рая тем насущнее необходима, чем труднее и круче путь к ней.

Сначала перестали приходить письма от Лиды. В письмах же, которые получали из Ленинграда товарищи, было много страшного.

Автор пишет: «Я перестал получать от нее письма с декабря. Я почувствовал себя так, как будто всю жизнь летел и вдруг упал на землю. Все вокруг меня еще летело куда-то по инерции, но я стоял на месте».

Автор говорит о горе, не заставляя содрогаться от крика, действует на читателя не обнажением язв. Великую боль передают напряженность действия и сдержанность.

В преддверии Ленинграда на Волховском фронте происходит встреча героя повести с водителем танка Андриановым. Автор в дальнейшем не возвращается к образу танкиста, но Андрианов не покидает нас, когда мы попадаем в Ленинград. Он символизирует ту высокую одержимость жизнью, которая помогла ленинградцам выдержать все испытания.

В характеристике Андрианова главным является не перечисление его боевых деяний, а раскрытие его нравственной силы, которую подчас важнее подчеркнуть не эффектным действием, а чужими более сложными и глубокими судьбами. Тогда становится понятной природа подвига: человек совершает героические действия не только под влиянием данной обстановки, но потому, что его внутренний мир сложен и богат, его душевные возможности позволили ему совершить подвиг.

Андрианов подбил три немецких танка, получил тяжелую контузию. Мы видим, как все более горькие испытания выпадают на его долю. Он тяжело болен, утрачена речь, он теряет зрение... «Вечером у его постели был консилиум, а на другое утро Андрианов потерял слух. Теперь он лежал глухой, слепой и немой. Я наблюдал за ним часами. Я замечал, что чем больше ударов обрушивалось на него, тем шумливей и беспокойней он становился...»

...Под вечер он повернулся ко мне и промышчал что-то, царапая по ладони. Я понял, что Андрианов хочет что-то написать, и вставил ему в пальцы правой руки карандаш, а в левую дал блокнот. Лейтенант черкнул что-то и протянул мне. Я прочел. На листке было написано только одно слово: «Пробьюсь».

Я вырвал листок и положил себе под подушку.

...Днем Андрианова разбил паралич...

...Немой, недвижимый, слепой, он всем обликом своим говорил мне больше, чем если бы имел дар речи, если бы смотрел на меня и жестиком кулировал. Я понял все — и как он смог подбить три вражеских танка, и как он боролся со смертью».

Мы пролетаем над Ладогой и приземляемся в совсем особенном мире — в зимнем блокированном Ленинграде. В городе, казалось вылепленном из снега, упорно вспоминается слово «пробьюсь!», во мраке и тишине найденное Андриановым. И опять не автор подсказывает нам это слово. Мы сами не можем забыть его.

Ночь в «Астории», первая ночь корреспондента по приезде в Ленинград...

«Было совершенно тихо, и казалось, что только один я живу в этом здании, огромном, как собор, и холодном, как колодезь... Было тихо, совсем тихо и холодно, так, как не бывает даже на улице, а только в больших и высоких домах, где много мрамора и металла. Потом я подумал, что, перелетев Ладугу, я попал в грозный и пока еще непонятный мне мир... Впервые я ясно ощутил, что ни одна минута, проведенная мною в Ленинграде, не принадлежит мне лично.

Ни одного впечатления, ни одного факта не смел я утаить от пославших меня людей, людей, от которых зависит судьба таких, как Лида... Я встал, зажег копилку, достал лист бумаги и карандаш из полевой сумки и написал заголовок моей первой корреспонденции: «Самолет приземлился в Ленинграде».

Трагичен облик блокадной зимы Ленинграда. Лучше всего об этом рассказали ленинградские поэты... Поэтично в своей строгой точности говорит о нем и Чаковский. Идя по следам дорогого человека, он рассказывает о душе города, душе, живущей в работающих, сражающихся людях Ленинграда. Город здесь не фон, но постижение самого любимого, самого изболевшегося, самого незыблемого в человеке, в нашем человеке.

Вот дом, где жила она.

«...Мне стало страшно. Страшно потому, что я только сейчас понял, насколько бессмысленно было пытаться кого-нибудь отыскать здесь, на поле боя. И все-таки я шел и шел и как будто бы ждал чуда...»

Он нашел в доме крепость и бойца Мухтара Тажибаева, о котором надо

было написать. И ночью он писал очередную корреспонденцию.

Но упорная жажда человека, уже ставшего ленинградцем, найти ту, которую искал...

«И она уже казалась мне неотделимой от города, его сердцем, биение которого я услышу, подойдя к ней...»

Это не смещение плана. Все в масштабе. Страсть, стремление к лучшему в своей жизни — к любимой — в этой повести лишена эгоистичности.

Устами пожилого и трогательно-чудаковатого Козочкина из Кировского военкомата говорит автор: «Люди веры и страсти нужны Ленинграду...» Одного из таких людей встречает герой повести на Ладого.

Рядом с Андриановым мы видим врача медсанбата ладожской трассы. Своеобразная и обаятельная хватка в работе, огромная энергия, побивающая усталость, внезапная мужская откровенность, которая подстать только сильному характеру, привлекают к нему. Это человек, с которым месяц работала и жила на льду Лида. И герой повести с благородной тактичностью рассказал о любви доктора и о его великой тоске по счастью. Разговор двух любящих — корреспондента и доктора — мог перейти в моральную дуэль, но сдержанность и великодушное понимание помогли уйти от пошлости и мелочности.

Поиски завершены, Лида найдена, встреча произошла в Ленинграде. Она описана просто: так и бывает. Из этой

спокойной простоты возникают и кажутся единственно верными особенная атмосфера, настроение, переживание наших друзей друга героев.

«...Сегодня пусть будет так, будто мы никогда не расставались,— говорит Лида.

— Хорошо,— сказал я.— Это не трудно. Ведь на самом деле мы никогда не расставались...»

И Лида, получив назначение, снова уезжает в армию, корреспондент возвращается в газету фронта... Продолжается разлука, борьба и любовь, ее одухотворяющая...

Зло не уничтожено, но облик побеждающих его ленинградцев в повести ясен и мужествен.

Автору следовало бы избежать или в случае отдельного издания книги устранить некоторые погрешности. Погрешностью представляется нам, например, дневник Ирины — подруги Лиды. Он ничего нового не вносит в повесть, отягчает ее излишней, не присущей книге многоречивостью. Введение дневника в повесть, характер которой сам по себе родственен дневниковому, и композиционно и стилистически не оправдано. В дневнике Ирины очень много пересказано, а не увидено, мелочное и случайное в нем отягчает повесть. Встречаются иногда и словесные штампы.

Повесть Чаковского искренно повествует о любви, об одухотворяющей ее силе, о незаменимой цельности чувства, которое и порождает понятие духовной красоты человека.

В. ОСТРОГОРСКАЯ

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» А. АВДЕЕНКО

Впервые за годы войны Александр Авдеенко выступил с крупным литературным произведением — романом «Большая семья», опубликованным в журнале «Новый мир». Книга писалась два года; автор умышленно указывает не только годы работы над ней, но и место действия: Северный Урал — действующая армия. Этим определяется и материал нового романа. Сфера наблюдений автора широка, но, по существу, она заключена в рамки одного уральского села, жители которого показаны в ты-

ловых и фронтовых условиях. Этим, естественно, определяется и композиция: действие книги попеременно переносится с фронта в тыл. Батальные картины, в центре которых неизменно — фигура Кузьмы Хлебушкина, сменяются описаниями трудовых будней колхоза, руководимого Варварой Хлебушкиной, женой Кузьмы. Видимо, целью писателя было показать внутреннее, органическое единство двух начал, составляющих основу и содержание всей нашей жизни, — то великое един-

ство тыла с фронтом, о котором говорил и к которому, как к важнейшему залого победы, призывал нашу страну товарищ Сталин.

В этом смысле книга Авдеенко — одна из первых, в которых тема этого единения является не только идейной основой произведения, но и его материалом. Мы видели появившиеся за время войны книги о фронте, произведения, посвященные тем людям, которые творят сегодня историю, — героям Отечественной войны; мы видели книги, написанные о тружениках тыла, изготовляющих мощные орудия мщения — самолеты, снаряды.

В книгах о фронте более или менее зримо ощущается жизнь тыла — родина ли героя, или село, откуда приходят на фронт подарки и письма. Может быть, это город, поставляющий данному участку фронта новые колонны танков, или место, где живет женщина, которую любит и о которой помнит герой книги...

Дело не в ситуации, ситуации могут быть самые различные. Дело в неизбежном, неизменном присутствии тыла в произведении, прямая тема которого — фронт. Это ощущение тыла на фронте согревает душу солдата, волнует его воображение, будит воспоминания о доме, семье, родном городе, близком любимом деле. Но если говорить о пропорциях, то, естественно, что в произведениях о фронте главное — фронт, военные действия, сражения. Все остальное существует лишь в связи с фронтом, на каком-то более отдаленном плане. В произведениях шаблонных, поверхностных связь эта ограничивается конвертом со штампом знакомого города или вышитым кисетом, подаренным любимой девушкой.

С другой стороны, в произведениях, посвященных советскому тылу, совершенно закономерно центральное место занимает трудовой процесс, героика труда. Но дыхание фронта доносится и до цехов уральских заводов, донецких копей, украинских колхозных станков. Война присутствует в таких произведениях как внутренняя основа, как подтекст производственного сюжета.

Война диктует нашим людям линию высокоморального, честного отношения к своей стране. Став содержанием жизни, она явилась содержанием всего искусства. И дело не в количестве производственных норм (а, к сожалению, многие очерки, рассказы, повести о тыле еще грешат этой внешней

и необудительной в художественной литературе игрой — «кто больше?»). Согревающее дыхание родного города, доносящееся в холодные фронтовые блиндажи, и вдохновляющее на труд дыхание победных боев — это, в сущности, общее, единое дыхание войны, как никогда сплотившей все помыслы, всю волю и все действия наших людей независимо от того, на фронте или в тылу сражаются они с фашизмом.

Роман Авдеенко «Большая семья», повторяем, кажется нам одной из первых книг, где ставится проблема той самой синхронности жизни тыла и фронта, которая является внутренней основой большинства произведений военного времени. Авдеенко решил показать эту синхронность в действии, в реальной жизни на одном из участков фронта и в уральском селе «Оленьи горы». С этой точки зрения замысел романа не только интересен, но и в известной мере оригинален. Тем досаднее, что он остался нереализованным. Идея книги совершенно очевидна читателю, но не менее очевидно и то, что она существует в формуле не раскрытой или, точнее, раскрываемой элементарно, попросту неверно. Новое произведение А. Авдеенко лишено органической цельности. Две линии романа обладают, если можно так сказать, сюжетным и композиционным равноправием. Но скрещиваются они в романе по методу, в сущности, мало чем отличающемуся от того примитива, который чреват треугольниками писем без марок и вышитыми кисетами. Вот, к примеру, начало романа:

«Варвара выставила в горнице глухую раму, распахнула створки окна, начала теплой водой промывать помутневшие за зиму стекла. «Где-то теперь мой Кузя? — подумала она. — Второй месяц ни слуху, ни духу...»

Как говорится в титрах плохих фильмов: «А в это время бедный Кузя...» Измученный и голодный, после двухдневного блуждания по лесу, он, наконец, добрался до какой-то деревушки, вошел в избу, увидел белолицую, босоную, белокурую хозяйку. «Женщина была похожа на Варвару, на жену Кузьмы Хлебушкина, и лицом и голосом. «Где-то она теперь?» — подумал Кузьма.»

Как видим, совпадают даже слова, которыми герои выражают свои заветные мысли. Это могло бы показаться мелочной придиркой, если бы приве-

денные выше абзацы не выражали собой в миниатюре всей схемы романа.

Говорят, что двенадцатилетние девочки читают в «Войне и мире» только «мир», мальчики — только «войну». Разумеется, взрослым читателем грандиозность и абсолютная монолитность гениальной эпопей воспринимается как нечто совершенное и нераздельное. А ведь и у Толстого, если позволить себе грубую модернизацию определений, главы с фронта сменяются «тыловыми» главами. Аналогия с «Войной и миром» безусловно лишена и доли оригинальности. Она стала даже своеобразным триумфом в разговорах о советской литературе дней войны. Однако, по принципу доказательства от противного, она поможет выразить основную неудачу романа «Большая семья» и, быть может, природу этой неудачи.

Мы пробовали прочесть подряд главы о фронте и, затем отдельно, главы о тыле — книга расслоилась безболезненно, доказав этим непрочность и, попросту говоря, необязательность своего «двойного» построения. Очевидно, души людей, их помыслы, стремления, цели нельзя, как канцелярскими скрепками, скреплять треугольничками писем. Что же получится, если письмо потеряется в пути и не дойдет до адресата?

Правда, у Авдеенко этого не происходит. Более того: сюжет завязывается письмом Афанасия к Степаниде, а заканчивается письмом Варвары к Кузьме. Так что почта здесь как раз работает точно. Но радости от этого читателю мало. Дело в том и заключается, что единство стремлений и действий советских людей, охваченных пафосом победоносной борьбы, Авдеенко изображает не детально, а деталями, «по мелочам», которые могли бы служить известным орнаментом, но никак не могут играть самостоятельной решающей роли в развитии идеи романа.

Вспомним главы, описывающие труд в колхозе «Оленьи горы». Люди работают честно, даже самоотверженно. Варвара со свойственным ей административным пылом «заправляет», женщины выполняют и перевыполняют нормы. Но разве не было этого и до войны? В чем же специфика колхозного труда наших дней? Неужто только в том, что в колхозе работают преимущественно женщины, не считая юродивого «вельселяка» Ефимки, что они ждут писем и пишут письма, что официально жизнь проходит под лозунгом «все для фрон-

та»? Писать то глубокое своеобразие, которое приобрела жизнь благодаря этому всепародному девизу, — автор романа не сумел. Иллюстративный метод, которым пользуется он, как всегда, оказался порочным.

В деревню приезжает в отпуск сам Кузьма Хлебушкин — живой свидетель фронтовой жизни. Что привез он своим односельчанам? Ничего. А ведь он настолько богаче их! Он видел сразу же русский народ, он познал горечь поражений и радость побед. Почему же приезд Хлебушкина в «Оленьи горы» явился событием лишь для Варвары да еще, быть может, двух солдаток, которые надеялись, что он знает, где их мужья? Попав в свой колхоз, Кузьма Хлебушкин, о котором рассказывается в батальных картинах, как о человеке крепкого ума, природной храбрости, инициативы, — этот Кузьма Хлебушкин немедленно нивелируется и становится до скуки похож на все окружающее.

Кузьма Хлебушкин — центральный персонаж романа «Большая семья» — не кажется нам интересным человеком, и у читателя создается впечатление, что он по чистой случайности попал в герои книги.

Что же можно сказать о других персонажах романа?

Прежде всего нельзя не подумать, что, создавая своих героев, Авдеенко решил во что бы то ни стало показать яркие индивидуальности и своеобразные характеры. И действительно, характеры получились не совсем обычные и разные. Единственное, что роднит их, — это принцип, по которому какая-либо странность непременно отбрасывает того или иного героя.

Вот Варвара Хлебушкина. Ей, казалось бы, и карты в руки: она верная жена своего мужа, деятельная и умелая председательница колхоза, доказывающая в известных ситуациях и силу своей воли, и умение ориентироваться в обстановке. Это молодая женщина, по всем данным, неглупая и довольно развитая. Но сколько контрастов в этой «богатой натуре!» Не странно ли, например, что председателю колхоза, жене фронтовика, передовой женщине приписаны, быть может в качестве милых женских странностей, бабье суеверье и какие-то шаманско-знахарские навыки. Что пишет Хлебушкина своему мужу, извещая его о рождении ребенка?

«Дорогой мой Кузьма, муж мой сердечный, не гневайся за то, что не угодила я твоей радости — родила тебе

не сына, а дочь. Уж как я старалась угодить, миленький! Мать твоя по старому обычаю советовала мне купаться в отваре тех цветов, какие мужское прозвание имеют, и каждую зорюшку на крылечко выбегать под ущербный свет весеннего месяца».

Свекровь посоветовала—Варвара купалась и выбегала. Не многим, видно, отличается она от старой деревенской женщины, к тому же весьма неприятной ханжи, неумной и бестактной, какой изображена в романе Марья. Марья, право же, не свойственны те особые качества ума, которые мы привыкли считать народной мудростью, хотя поступкам этой женщины автор старается придать весомость, разумность, речь обильно украшает каламбурами, шутками, юмором. Даже встретившись с сыном после долгой разлуки, после того как она считала Кузьму убитым, давно оплакала его,— даже в этот первый момент встречи старушку не оставляет тяга к юмору, и она весело «разыгрывает» Кузьму:

«...Посмотри на мать — пепел с нее выплется, а она все ищет места, куда приложить (!) свою последнюю каплю крови для фронта. А ты?.. Ноги и руки целы, голова на плечах — и домой вернулся. Бесстыжие глаза твои. Да мне бы теперь проходу не дали — заюкают. Что я им скажу, а? На кого ты фронт бросил? — Марья засмеялась. — Пошутила я, Кузя. Живи, отдыхай спокойно».

Впрочем, по свидетельству самой Марьи, остроумие и оптимизм вообще свойственны их семье. Другой сын ее — Сергунька, фронтовик — тоже веселый парень. Настолько веселый, что за его жизнь мать совершенно спокойна:

«Сергунька, ежели и пуля в него попадет, он зубоскал этакий, — бес- смертный. Он своим весельем переметнет (?) всякую, какую ни есть рану... Охолопошки!»

То же качество, но в еще более гипертрофированном виде отличает и Ефимку — старого человека, фигурирующего в книге в качестве шута (так, в крайней мере, мы поняли его назначение). Фамилия этого человека Иванов, но «она так не шла к нему — редкому, особенному, навсегда запоминающемуся, что его называли Ефимка-смехач, Ефимка черный, Ефимка-углежог, Ефимка-кузнец, Ефимка-бабья радость. Такого знает всякий. Никто не произносит его имени без радостной, веселой улыбки!»

Говорит эта «бабья радость» сплошными присказками, ужасным, нечеловеческим языком. Читателя он вовсе не веселит: не у каждого вызовет смех жалкий старый человек, из которого люди сделали паяца.

Следующая «яркая индивидуальность» — Павла, красивая (особенно при купаньи), властная, своенравная девушка-кузнец. Павла, конечно, как и Ефим, задумана «редкой, особенной, навсегда запоминающейся». В действительности же она выглядит в высшей степени вздорным существом.

Полюбив, наконец, Антона Черешню — лейтенанта, «постояльца», непременно много времени проводящего в деревне, демоническая женщина Павла ни в коем случае не хочет выходить за него замуж. В исключительности любовной ситуации, созданной ею, — своеобразии этого характера. Антон время от времени произносит жалкие монологи:

«— Помучить хочешь? — усмехнулся (!) Антон. — Гордость свою кормишь? Корми, скрути. По рукам и ногам ты меня скрутила. Первая ты у меня и последняя. И я у тебя первый и последний. Ведь знаю, Павлуша, любишь ты меня, чуёт мое сердце — на всю жизнь полюбила».

И в ответе Павлы — вся ее «исключительность».

«Я выйду за тебя замуж только тогда, когда ты мне скажешь такие слова, какие мне хочется услышать. Помни, скажешь то, что надо, буду твоей женой. Не скажешь — кусай локти. А до тех пор никаких слов от тебя слышать не хочу. Понятно? Договорились?»

«Антон, — говорит тут же автор, — сам не думал, что так быстро усмирит непскорную гордость Павлы».

Острая любовная коллизия — ничего не скажешь. И, пожалуй, только Антон мог радостно воспринять этот странный договор.

К сведению не читавших «Большую семью»: Павла вышла замуж за Антона, он угадал ее желание, сказал, что она уедет с ним на фронт. Так благополучно разрешилась эта сложная любовная интрига.

«В тылу» романа Авдеенко имеется еще довольно много персонажей, характеризовать которых мы не станем: есть здесь и честные труженицы, более или менее ordinarily, есть тип спекулянтки и шангажистки Степаниды и т. д. В общем же «личный состав» деревни производит странное впечатление. Это

какой-то паноптикум! Перестарался, видно, автор в погоне за «спецификой» художественного образа.

Несколько проще будет передать впечатление, произведенное фронтовыми персонажами романа. Часть из них показана в действии, и потому, что сделано это с недостаточной выразительностью, герои боев мало чем отличаются друг от друга. Исключение составляет, и потому, вероятно, более других запоминается, Алексей Рублев, прошедший сложный путь, кровью испивший свою вину перед родиной. Припоминается и Тарас Лобанюк, грустящий по родной Украине. Других фронтовиков автор предупредительно снабжает коротенькими характеристиками, сам, повидимому, понимая, что иначе читателю трудно будет отличить их друг от друга.

Вот, например, «неугомонный веселчак Воронько. Он прошел огонь многих фронтов, бессчетное количество раз раненый, остался красивым, живым, не смотря (?) на свои тридцать пять лет, неустанно искал всюду и везде радости жизни».

Пулеметчик Бороздов отличается тем, что, «когда он стреляет, его зубы крепко сжаты, а вокруг черных глаз разбегаются круглые злые морщины... Кажется, он никогда в своей жизни ничего другого не делал, как только подстерегал немцев из своего гнезда охотника... Это вовсе не угрюмый, вовсе не злой человек. Он широко, детски улыбается, достает из нагрудного кармана шинели книжечку в колленкоровом переплете и, послуявив карандаш, ставит толстую, жирную палочку, а в кружочке — число, месяц и год, когда убил очередного немца».

К сожалению, нам нечего добавить к характеристикам фронтовых товарищей Кузьмы Хлебушкина. Нечего, конечно, отнюдь не потому, что они исчерпывающе даны автором.

Что же касается общего впечатле-

ния, которое производят описания сражений, фронтовой обстановки, подвигов советских солдат и офицеров, то здесь нет ни таланта, ни вдохновенной и заражающей азартом боя батальной картины. Роман написан на одном дыхании, а дыхание это настолько спокойное и размеренное, что не нарушается даже в момент напряженных боев и потому ни разу на протяжении чтения не заставит учащенное биться сердце читателя.

Нельзя не сказать о языке романа. Видно, стал забывать Александр Авдеенко уроки, которые преподавал ему лично и другим молодым писателям Алексей Максимович Горький. Не учил же он Авдеенко писать: «Счастливым сон, а может быть, просто молодость выжгли (?) на ее лице нежный девичий румянец»; «Ласточка перебирала ногами в белых чулочках, пробуя землю то левым, то правым копытом»; «Каштановые волосы на висках были в скороспелой седине»; «Не пришла ли страшная весточка (I) о муже»; «Пошла по горнице своим певучим, похрустывающим (II) шагом»; «Выгостилась я, прощай!»; «Заквашенная льдом вода обжигала ноги»; «И будущие герои... мирно спали друг у друга на груди»; «Он лобастый, сама знаешь... Охотнички»; «Волна наступления докатилась до мшистой, сочащейся водой земли, до поры до времени остановилась»; «Его широкое лицо было светлорозовым, будто подоженным (I) изнутри»...

Так написан роман А. Авдеенко — неудавшееся произведение, явившееся, по утверждению автора, плодом двухлетних наблюдений и двухлетней работы.

Где же военный опыт писателя? Ведь получилось, что, придя с бесконечно трудной и в то же время обогатившей души людей войны, писатель Авдеенко подобно своему герою — Хлебушкину — ни о чем не рассказал народу.

Андрей ЛЕСКОВ

Н. С. ЛЕСКОВ О НЕМЦАХ

«Я видел в жизни десятки людей, ярко одаренных, отлично талантливых, а в литературе — зеркале жизни, — они не отражались или отражались настолько тускло, что я не замечал их.

Но у Лескова, неутомимого охотника за своеобразным человеком, такие люди были».

«Величайшая заслуга (Лескова. — А. Л.) в его вдумчивой, зоркой любви к человеку».

Как говорил о Лескове Горький¹. Лесков был чужд разделению людей на овынов и козлищ, на высшие и низшие расы. Мог ли писатель, исполненный вдумчивой и зоркой любви к человеку, относиться к людям одной расы, национальности или религии любовно, а к другим ненавистнически?

В империализме с его стремлением к порабощению одним государством или народом другого Лесков видел зло, сеющее племенную рознь и вражду, ведущие к кровавым войнам и неисчислимым бедствиям. Борьбу с этим злом он считал одной из первейших и величайших задач литературы, призванной прежде всего «чувства добрые пробуждать», призывать ко всеобщему дружеству, к объединению всех людей в одно мировое человеческое общество.

Служению этой идее посвящены все произведения наиболее зрелой поры литературной деятельности Лескова.

Но и в ранних своих публицистических выступлениях он исповедывал надежду, что любовь исключительно к своей стране когда-нибудь вырастет, претворится в любовь всех народов друг к другу, приведет их к полному взаимопониманию, единству, взаимному благожелательству, общности интересов².

Неудивительно, что Толстой в январе 1891 года писал М. М. Лисицину, собиравшемуся издавать в Остзее «примирительную» газету «Прибалтийский край» и обратившемуся к прославленному писателю и мыслителю за сотрудничеством и помощью: «Еще советую вам обратиться к Лескову, прося его помощи. Он одинаковых со мною взглядов»³.

Благонастроенность к людям всех стран, племен и наций ни в какой мере не мешала и не противоречила тому, что всего ближе сердцу Лескова всегда оставалась его собственная родина, всего большее были ее горести.

Эта черта, эта беспредельная преданность своей стране проникновенно постигнута и отмечена в нем Горьким: «Каждый его герой — звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лескова вы чувствуете, что

его основная дума — дума не о судьбе лица, а о судьбе России»¹.

Языки и пороки современного ему русского быта и общества Лесков вскрывал не в хулу, а с просветительной высокой целью. Ему хотелось, чтобы все народы имели свое место под солнцем, самобытную жизнь, свое историческое развитие, свое будущее.

Однажды переводчик некоторых его произведений на немецкий язык, антрополог, преподаватель Петропавловского немецкого училища в Москве К. А. Грехе разразился в одном письме резкими нападками на евреев. В своем ответе² Лесков твердо предостерег своего корреспондента от огульного осуждения целой нации. Говоря затем и о других народностях, он писал, что лично ему одинаково «противны» и прусское юнкерство, и остзейское баронство, как и доморощенные застойные учения, упорно осуждавшие все новое и азартно звавшие назад, к давно отжившим идеям и устоям.

С исключительной горячностью отзываясь на текущие события и явления общественной жизни, эволюции общественной мысли, остро реагируя на все своими «обнаженными нервами», Лесков за зиму до предела утомлялся духовно и физически и с приближением поздней петербургской весны жаждал отдыха вне столицы.

Он любил прохладу, свежесть, влажность воздуха северных широт, лесистых побережий Балтики, «Озилию», Аренсбург, Ревель, окрестности Риги. В более поздние годы он предпочитал близкие к Петербургу усть-наровские дачные поселки. Но и в этих излюбленных им местах не всегда находил покой и отдых.

Лето 1870 года Лесков проводит с семьею на ревельском купальном шtrandе. Сначала все идет удобно-терпимо: бароны и бюргеры, живо заинтересованные в выгодной сдаче своих вилл и домов наезжим москвичам и питерщикам, держатся с русскими дачниками хотя и подчеркнуто сухо, но и подчеркнуто вежливо. Так проходит половина лета. Но вот раздражается франко-прусская война. Картина резко меняется. Шовинизм русско-немецких «двуподданных» вспыхивает с чисто

¹ «О литературе», М. 1937 г., изд. 3-е, стр. 274.

² «Северная пчела», 1862 г., № 351.

³ «Литературная мысль», Петроград, 1923 г., стр. 202, 203.

¹ «История русской литературы», М. 1939 г., стр. 276.

² Письмо от 5 декабря 1888 г. Театральный музей имени А. А. Бахрушина, М.

тевгонской яростью, растуцую в соответствии с телеграммами об ошеломляющих успехах немецкого оружия. Бароны и бюргеры всех мастей и возрастов окончательнo пьянеют и распысываются, позволяя себе день ото дня все более наглые выходки по отношению к людям, дерзающим говорить на улицах российского города по-русски! Воздух накаляется. Местные «меченосцы» теряют всякое самообладание.

Однажды Лесков заходит в курортный «Салон» пробежать последние газеты. Признав в нем русского, трое хорошо подогретых уже пивом барончиков и бюргерят с места начинают травить неугодного им посетителя, заключая свои вызывающие реплики «тотальным» выводом, что вся Россия скоро разлетится, как дым, «wie Rauch». На просьбу прекратить провокацию немцы уверенно поднимаются «в наступление». Лесков схватил тяжелый курзалный стул и нанес «агрессорам» сильные удары.

«Утром к нам пожаловали два почтенных барона в наглухо застегнутых черных сюртуках, цилиндрах и корпоративных ленточках. Лескова не было дома. Парламентеры, неохотно перейдя с открывшею им дверь нашу русскою девушкой на русский язык, долго и вразумительно объясняли ей, что им необходимо говорить «zu sprechen» с господином Лескофф, «mit Herrn Leskoff», по ошень важний дель...»

Узнав об этом по возвращении домой, Лесков расхохотался.

— Дуэль? Какой вздор! Хватит с них и нескольких хороших ударов стулом.

Дуэли так и не вышло. Но вместо нее оскорбленное в собственной своей Остзее ревельское баронство вчинило в эстляндском рыцарском суде «уголовное» дело, по которому средневековое судилище это не раз угрожало причинить русскому обвиняемому многовидные «законные вредь», как значилось в соответственных судебных повестках. Докатившись на одном из своих этапов до самого «Правительствующего сената», «дело», в конце концов, кончилось какими-то пустяками (газета «Русский мир», 1872 год, №№ 313, 323).

Это «ревельское происшествие» нашло отзвук в предпоследней главе сатирического очерка Лескова «Смех и горе», явившегося своего рода отместкой русскому по крови эстляндскому губернатору М. Н. Галкину-Врасскому.

Он не пожелал или не сумел изменить ход этого затянувшегося дела, получившего слишком большую огласку и политический резонанс в онемеченной Кольвани.

Через полтора десятка лет Лесков отправляется летом на остров Эзель, в Аренсбург.

Возмущенный зверским обращением экипажа пароходов «Рижского общества» с бедным людом, с «палубными» пассажирами третьего класса, он публикует статьи об «одичалых мореплавателях», о «дагомейцах», — не о сынах свирепой Дагомен, а всего только об уроженцах ближнего к Эзелю острову Даго.

Снова, на этот раз уже в Петербурге, к нему приходят, но тоже не застают его дома, какие-то чопорные немцы в цилиндрах — «zu sprächen». На этот визит Лесков отвечает в самой распространенной столичной газете, что хотя и постарел с 1870 года, но и сейчас, если понадобится, сумеет встретить и проводить каждого, как кто того заслуживает, и что в Ревеле, надо думать, о сю пору хорошо помнят нечто из этой области три тамошних дворянчика. На этом все и кончилось.

Но если Лесков не терпел немецких «дворянчиков», то по отношению к германским государственным мужам, а тем более к немецким по крови и вкусам властителям его родины, Лесков горел ненавистью, смешанной с неистощимым презрением.

Его жгла кровная обида за поработанный ими, родной и близкий ему, даровитый русский народ.

В хронике «Захудалый род» в лице Функендорфа Лесков намечал дать облик злой памяти графа Бенкендорфа; там же, но пока еще стороною, проходит зловещая тень и самого Николая Павловича. Ему же Лесков намечался ответчи достойное место в галлее «Чортовых кукол» — романа, не напечатанного по цензурным условиям. В этом русском царе Лесков ненавидел и презирал чистой крови и духа немецкого деспота, завершившего «попятное» превращение России в наглухо огороженный ото всего мира задушливый «загон», с болью в сердце показанный Лесковым в рассказе под этим заглавием.

У автора этих строк сохранился листок, на котором рукою Лескова написана довольно известная, но не вошедшая в некоторые сборники эпиграмма:

Он меж холопами считался мудрецом,
 Воров и подлецов подпора и ограда,
 Он был фельдфебелем под царственным вешном
 И балетмейстером манежного парада¹.

Недоверие к мудрости славянофилов — с одной стороны, и горькое признание твердой последовательности и успешности германизаторских приемов, с другой, навели Лескова на мысль написать в 1888 году многодумный очерк «Кольванский муж» с характерным подзаголовком «Из остзейских наблюдений». Он не скрывал, что это ирония на славянофилов и в первую голову на И. С. Аксакова.

Какова же канва этой «иронии»?

Простодушный, незлобивый, «насквозь русский» моряк Иваг Никитич Сипачев, получив назначение в Ревель, жепшится там на одной из бесчисленных в этом городе немецких баронесс. Каждый раз, когда у жены близятся роды, он неизбежно попадает в какое-нибудь плавание, а возвратясь, узнает, что судьба одарила его сыном, который уже и окрещен без него, но в православие, а в «лютерскую ересь» и наречен не Никиткою, как требуют калужские родители моряка, а то Готфридом, то Освальдом, то Гунтером... Каждый раз отец негодует, бешует, грозит привлечением к ответу, но затем понемногу «отходит», смиряется, уповая следующий раз отстоять свое, по закону бесспорное, право на православного Никитку. Но и со следующими новорожденными с неизменной методичностью проделывается тот же маневр.

В таком по началу кажущемся комическим ходе событий постепенно обозначается как нельзя более серьезная угроза: холодное немецкое постоянство и методичность в конечном итоге превозмогают взрывы кипучей природы простосердечного русского человека, с одной стороны, всегда готового на легендарный подвиг, а с другой — по-русски ртходчивого и мягкого.

Русский человек едет в древнерусскую Кольвань, помня наказ Аксакова: Шествуйте и утверждайтесь твердою

пятою». Но там он незаметно, исподволь обрастает немецким родством, а по выходе в отставку перевозится этой роднею в Дрезден, где на лютеранском кладбище находит себе последнюю пристань, приумножив всем своим калужским потомством число верных слуг фатерланда.

Упоминание о Дрездене напомнило нам эпизод, связанный с пребыванием в нем в течение всего лишь нескольких дней Лескова. Город, слов нет, хорош,— писал Лесков в Петербург, — но и невыносим, так как — «куда ни глянешь, красный ворот как шиш торчит перед тобой!»

Это была уже не страна Шиллера и Гете, сочинения которых занимали почетное место в библиотеке Лескова. Это была страна Бисмарка — железного канцлера железной Германии.

Кратковременное пребывание в такой Германии воскресило в Лескове некоторые давние воспоминания, относившиеся к годам, когда он работал у мужа своей тетки, обрусевшего англичанина А. Я. Шкотта, одного из директоров компании «Скотт и Вилькенс», ведшей довольно крупные и разнородные дела по всей России и имевшей свою штаб-квартиру под Пензой. Там привлекло Лескову наблюдать некоего мекленбургского инженера, выписанного компанией вместе с машинами для паровой мельницы.

В хранимой мною адресной книжке моего отца первыми на свои буквы стоят:

«Alban D-r Nach Plau in Meklenburg — Доктор Альбану, в город Плау в Мекленбург-Шверине».

«Крюгер Василий Иванович, Мекленбургский Гражданский Инженер. — В Сарепту».

«Симонсен Асмус, банкир в С-г. Петербурге, в Сарептском доме».

Крюгер был немцем сравнительно поздней формации, и потому не приходилось удивляться, что он оказался, по собственному его определению, человеком «железной воли».

Спустя год после возвращения Лескова из последней поездки за границу появился рассказ, так и названный им — «Железная воля»¹. В нем нет вымысла. Есть только художественно верный пересказ подлинной, живой были.

Начинается повествование с беседы

¹ В печати эта эпиграмма известна, кажется, под заглавием «Всеобщий благоприятель» и несколько отличается в тексте.

¹ «Крутозор», 1876 г., №№ 38—41, «Звезда», 1942 г., № 3/4. Н. С. Лесков, Повести и рассказы, ОГИЗ, М. 1943 г.

группы русских людей о немцах. Говорят об их организованности, неустанно растущей мощи Германии, о том, что они нас когда-нибудь непременно «вздуют», отнимут Остзейский край, о том, как умен их Бисмарк, и т. д.

Все покорно соглашаются с этим, кроме старика Вочнева, который, по просьбе остальных и в подтверждение своего протеста, рассказывает пензенскую одиссею Крюгера, переименованного на этот раз в Гуго Пекторалиса.

В виде вступления протестант заявляет, «что они и рта закрыть не успеют», как все их расчеты пойдут прахом.

На долю Вочнева, то есть Лескова, выпало принять в Петербурге из таможи выписанные компанией немецкие машины, отправить их в Пензу и захватить с собой также немецкого инженера.

Приехав в столицу в 1859 году, Лесков отправился прежде всего в «Сарептский дом», где с ужасом узнал, что немец уже с неделю как «проехал».

Дальнейший ход событий излагается автором следующим порядком: «Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год как назло выдался особенно лют и ненастен».

Я осведомился в «горчичном доме»: владеет ли по крайней мере приехавший Пекторалис хотя сколько-нибудь русским языком, — и получил ответ отрицательный. На мой вопрос: довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы «за счет компании» прогонные и суточные на десять дней. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с постоянными задержками, Пекторалис мог застряв где-нибудь и, чего доброго, дойти, пожалуй, до прошения милостыни.

— Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика? — пенял я в горчичном доме, но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути; но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать не останавливаясь, — и так поедет; а трудностей никаких не боится, потому что имеет железную волю.

В беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход

ноября, объехав в это время много городов.

Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть. На пятый день к вечеру я насилу добрался до Василева Майдана, и тут имел самую неожиданную встречу.

Отдав приказ своему человеку внести кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор; а сам ошупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. Насилу я ее пашел и начал дергать, но пазы туго набухли и дверь не поддавалась. Сколько я ни дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука, или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я едва успел отскочить — и тогда увидел перед собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе и широчайшем клеенчатом плаще, на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик.

Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание — это то, что он не вышел в отворенную дверь, как я мог этого ожидать, а, напротив, снова возвратился назад и начал преспокойно шагать из угла в угол по отвратительной пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшею сальюю свечкою.

Я обратился к нему с вопросом: знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив-человек?

— Ich verstehe gar nicht russisch, — отвечал незнакомец.

Я заговорил с ним по-немецки.

Он, видимо, обрадовался звукам родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел.

— А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?

— О, да, я жду лошадей.

— И неужто лошадей нет?

— Не знаю, право, я не получаю.

— Да вы спрашивали?

— Нет, я не умею говорить по-русски.

— Ни слова?

— Да, «можно», «не можно», «та-можно», «подробно»...— пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний.— Скажут «можно»—я еду, «неможно»—не еду, «подробно»—дам подробно, вот и все.

Чужестранец все прохаживался, но увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил:

— Ага, «можно», а я тут третий день—и третий день все сюда на камини пальцем показывал, а мне отвечали «не можно».

— Как, вы тут уже третий день?

— О да, я третий день,—отвечал он спокойно.— А что такое?

— Да зачем же вы сидите здесь третий день?

— Не знаю, я всегда так сижу.

— Как всегда, на каждой станции?

— О да, непременно на каждой, как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду.

— На каждой станции вы сидите по три дня?

— О да, по три дня... Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня, у меня это записано, но зато на другой—четыре, это тоже записано.

— И что же вы делаете на станциях?

— Ничего.

— Извините меня, может быть, вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?

Тогда это было в моде.

— Да, я смотрю, что со мною делают.

— Да зачем же вы это позволяете себе собою делать?

— Ну... как быть?..—отвечал он,—видите, я не умею по-русски говорить...—и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил; но зато потом...

— Что же будет потом?

— Я буду все подчинять.

— Вот как!

— О да, непременно!

— Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?

— О, это было необходимо нужно, нас было такое условие, чтобы я «ехал останавливаясь»,—и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал.

— Да, отвечал незнакомец, и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло «веселое и твердое выражение».

«Боже, что за чудак!»—думаю себе

и говорю:—но вы извините меня, пожалуйста, разве так ехать, как вы едете,—значит «ехать не останавливаясь»?

— А как же? Я все еду, все еду; как только мне скажут «можно», я сейчас еду,—и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь.

«Чист же, я думаю, ты, должно быть, мой голубчик!»—и говорю ему:—Извините, мне странно, как вы собою распорядились.

— А что?

— Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы ехали гораздо скорее и спокойнее.

— Для этого надо было останавливаться.

— Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку.

— Я решил и дал слово не останавливаться.

— Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь.

— О, да, но это не по моей воле.

— Согласен, но зачем же это и как вы это можете выносить?

— О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля!

— Боже мой!—воскликнул я,—у вас железная воля?

— Да, у меня железная воля; и у моего отца, и у моего деда была железная воля—и у меня тоже железная воля.

— Железная воля!.. вы верно из Доберана, что в Мекленбурге?

Он удивился и отвечал:

— Да, я из Доберана.

— И едете на заводы в Р.?

— Да, я еду туда.

— Вас зовут Гуго Пекторалис?

— О, да, да! я инженер Гуго Пекторалис.

Так описаны Лесковым первое знакомство его с Крюгером-Пекторалисом и широта планов последнего.

По прибытии на место немец представляет себя «очень хорошим,—конечно, не гениальным, но опытным—сведущим и искусным инженером». Он быстро приобретает отменную репутацию, широкую клиентуру, прекрасный заработок. Оставив компанию, покупает в городе отличное и просторное место, у ярмарочной площади с удобными, для устройства фабрики каменными строениями. К сожалению, тыльная часть участка, отгороженная от лицевой

забором, но не имеющая другого выхода на улицу, как через лицевую часть, оказывается в долгосрочной аренде у мелкого пьяненького плавильщика-кустара, от которого потом, за хорошее отступное, Гуго надеется избавиться. Но вот тут-то, как говорил один лесковский немец, «нашла коза на камень»: вялый, ленивый и беспечный арендатор, местный мешанин Сафроньч упирается и не идет ни на какой сговор, а дрянное его хозяйство мешает развернуться стройно задуманному немецкому хозяйству.

Пекторалис богатеет и думает, как выжить досадного арендатора. Сафроньч, по соседству с таким конкурентом, нищает, но съезжать не хочет. Раздраженный немец, убедаясь, что добром ничего не добиться, наглухо закрыл ворота арендатора, отрезав его с семьей и заводилком от внешнего мира. Пошла тяжба. Суд не опротестовал действия Пекторалиса, но возложил на него возмещение Сафроньчу убытков, причиненных его заводу, в размере пятнадцати рублей в день, всего около пяти тысяч в год. Сафроньчу при его лени и неумении вести предприятные такой доход и не снился. Пекторалиса же это обложение резало. Все уговаривали его отбить ворота. Но «железная воля» ему не позволяла этого.

Роли переменились: выбивавшийся из сил Гуго шел к разорению; Сафроньч благоденствовал. По натуре незлобивый, он совсем смягчился, издали завидев немца, снимал шапку и, кланяясь, кричал: «Здравствуй, батюшка, Гуго Карлыч! здравствуй, мой кормилец!» и непременно желал ему при этом «по крайней мере сто лет жить, да двадцать на карачках ползать». Немец злился, но продолжал платить.

Прошел год, другой. Гуго вконец обеднел. Сафроньч вконец спился и вскоре умер. Платить разорительный штраф стало некому. Гуго открыл ворота. Но воспользоваться пришедшим долгожданным облегчением ему дано не было. Дни, даже часы его были сочтены. А сколь «достойно» они закончились, так поведано в последней главе эпоса:

«Только что духовенство, гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлую землю могилу Сафроньча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за помпальный стол, как дверь неожиданно растворилась и

на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса.

Его здесь никто не ждал — и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять: за участие пли за насмешку. Но прежде чем она выбрала роль, Гуго Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойнику, — есть блины на его похоронном обеде.

— Что же, мы люди крещеные, у нас гостей воп не гонят, — отвсчала Марья Матвеевна, — садитесь, блинов у нас много расчищено. На всю нищую братню ставили, кушайте.

Гуго поклонился и сел, дажд в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дяконом Саввою.

Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо: он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли.

Не знаю, как и с чего зашло у них с дяконом Саввою словопрение и этой воле, — и дякон Савва скал ему:

— Зачем ты, брат, Гуго Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо.

И отец Флавиан поддержал Савву и сказал:

— Нехорошо, матинька, нехорошо: за это тебя бог накажет. Бог за русских всегда наказывает.

— Однако я вот Сафроньча пережил; сказал переживу — и пережил.

— А что и проку-то в том, что ты его пережил, надолго ли это? Бог ведь за нас непонедомо наказывает; на что я стар — и зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживешь.

Пекторалис только улыбулся.

— Что же ты зубы-то скалнншь? вмешался дякон. — неужели ты уже и бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался? Нет, брат, онд Флавиана не переживешь, — теперь тебе и самому уже капут скоро.

— Ну, это мы еще увидим!

— Да что «увидим» — и видит: в тебе стало уже нечего, когда

вест. заживо сохся;
жил в простоте, так
всем удовольствию.
— Хорошо удово
— Отчего же не
вилось, так и дожива
с примочечкой, все
выпивал.

— Свинья, — нетер
кторалис.

— Ну вот уже и
так обижать? Он
смертью на чердаке
каясь отцу Флавиану,
христианском помер и
блюд, и теперь может бы
и с
праотцами в лоне Авраамовом
беседует — и про тебя им сказыва
а они смеются, а ты вот не свинья, а
за его столом сидя, его же и порочишь.
Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-
то вышел?

— Ты, матишка, больше свинья, —
вставил слово отец Флавиан.

— Он о семье не заботился, — сухо
молвил Пекторалис.

— Чего, чего? — заговорил дьякон. —
Как, не заботился? а ты вот посмотри-
ка, он, однако, своей семье и угол и
продовольствие оставил, да и ты в его
доме сидишь и его блины ешь; а своих
у тебя нет, — и умрешь ты — не будет
тебя ни дна, ни покрывки и нечем
тебя будет помянуть. Что же, кто
лучше семью-то устроил? Разумей-ка
это... ведь с нами, брат, этак озорни-
вать нельзя, потому с нами бог.

— Не хочу верить, — отвечал Пекто-
ралис.

— Да верь не верь, а уж дело
видное, что лучше так сыто умереть,
как Сафронич помер, чем гладом из-
нывать, как ты изнываешь.

Пекторалис сконфузился; он должен
был чувствовать, что в этих словах
для него заключается роковая правда —
и холодный ужас объял его сердце
и вместе с тем вошел в него сатана, —
он вошел в него вместе с блином,
который подал ему дьякон Савва, ска-
завши:

— На тебе блин и ешь да молчи,
а то ты, я вижу, и есть против нас
не можешь.

— Отчего же это не могу? — отвечал
Пекторалис.

— Да вон видишь, как ты его
мнешь, да режешь, да жустеришь.

— Что это значит «жустеришь»?

— А ишь вот жуешь да с боку на
бок за щеками переваливаешь.

— Так и жевать нельзя?

вать, блин что
вон гляди, как
, видишь? Что?
как хорошо? Вот
и, обмокни хо-
а потом сверни
есть целенький
усти вниз в свое

— Как не... ово.

— Соври: разве ты боль-
ли, знаешь? Ведь тебе,
ше отца Флавиана блинов

— резко ответил Пектора-
лис.

— Ну, пожалуйста не хвастай.

— Съем!

— Эй, не хвастай! Одну беду съел,
не спеши на другую.

— Съем, съем, съем! — затвердил
Гуго.

И они заспорили, и как спор их
тут же мог быть и решен, то ко
всеобщему удовольствию тут же на-
чалось и состязание.

Сам отец Флавиан в этом споре
не участвовал; он его просто слушал
да кушал; но Пекторалису этот турнир
был не под силу. Отец Флавиан спу-
скал конвертиками один блин за дру-
гим, и горя ему не было; а Гуго то
краснел, то бледнел, и все-таки не мог
с отцом Флавианом сравняться. А сви-
детели сидели, смотрели да подогревали
его азарт и приводили дело в такое
положение, что Пекторалису давно луч-
ше схватить в охапку кушак да
шапку; но он видно не знал, что
«бежка не хвалял, а с ним не хорошо».
Он все ел и ел, до тех пор, пока
вдруг сунулся вниз под стол и за-
храпел.

Дьякон Савва нагнулся за ним и тя-
нет его назад.

— Не притворяйся-ка, — говорит, —
братец, не притворяйся, а вставай да
ешь, пока отец Флавиан кушает.

Но Гуго не вставал. Полезли его
поднимать, а он и не шевелится.
Дьякон, первый убедясь в том, что не-
мец уже не притворяется, громко хлоп-
нул себя по ляжкам и вскричал:

— Скажите на милость: знал, надо,
как здорово есть, а умер!

— Неужели помер? — вскричали все
в один голос.

А отец Флавиан перекрестился,
вздыхнул и, прошептав «с нами бог»,
подвинул к себе новую кучку горячих
блинчиков. И так самую чуточку пере-
жил Пекторалис Сафронича и умер бог

путь в какой
и характера обстановки

Этим завершена
собиравшегося «все под
«стать господином для дру-
«железною волей» довел он
бесславного конца.

В рассказе «Александрит», име-
знаменательный подзаголовок — «На-
ральный факт в мистическом освеще-
нии», в уста старого чеха-гранильщи-
Лесков вкладывает мистически вещи-
слова: «Его (камень пироп, он же гра-
нат.— А. Л.) купил разбойник шваб и
швабу дал его огранить. Шваб может
хорошо продавать камень, потому что
он имеет каменное сердце, по гранить
шваб не может. Шваб насильник, он все
хочет по-своему. Он не советуется с
самым, чем тот может быть; да чеш-
ский пироп и горд для того, чтобы
отвечать швабу. Нет, он разговаривать
со швабом не станет. Шваб из него
не сделает того, что ему вздумается...
Мало ли голов отрезали чехам, а они
все живы... Чех не таков, его не скоро
столчешь в швабской ступе».

Уместно упомянуть здесь же еще
о почти одновременно опубликованной
статье Лескова «Подмен виновных»¹,
построенной на документальных дан-
ных и говорящей о вопиющих дерзос-
тях, какие позволяли себе граждане
маленького остзейского городка в отно-
шении русского войскового знамени и
церковной службы.

В один из «высокоторжественных»
дней на площади города Вейсенштейна
была выстроена квартировавшая в нем
русская воинская часть, поставлен ана-

гено знамя. Начался молебен
лявших плац домов высыпал
население. Местные немцы рус-
содданства стали позволять себе
не выходки, а один из бюрг-
ида на крыльцо своего дом-
поднял встречу солнцу больш-
и, на глаз прикидывая, скол-
нива, в подражание дьяконском
ению многолетия, громко зат-
«ногго-ли... мноогго-ли этго?»
ой немец направился через весь
оаявшему перед аналоем пани-
закурив от церковных све-
амбургскую сигару, победно
отма; ровал к своим ликовавшим ком-
патриотам.

Возбужденное военным начальством
«дело» об оскорблении русского рели-
гиозного чувства и воинского знамени
в эстляндском судилище медленно по-
двигалось, а затем приобрело предо-
судительный оборот не для скандали-
стов, а для командира войсковой части.

Стремлением суда было произвести
самый циничный «подмен виновных» и
причинить оробевшему в момент самого
скандала майору серьезные «законные
вреды».

Так в ряде повестей, статей, писем
и бесед Лесков не только знакомил рус-
скую общественность с немецким ха-
рактером, но и предупреждал о
опасности распространения немецкого
влияния в русской государственности

Сейчас уже всему миру ясно, что
и ныне одержимые человеконенавист-
ническим гитлеризмом швабы никого и
своей ступе не столкнули и что сама
ступа их уже разлетается вдребезги.
Советская же Россия из выпавшего ей
испытания выйдет крепче прежнего за-
каленной и спаянной не знающим розни
единством населяющих ее народов.

¹ «Исторический вестник», 1885 г.,
№ 2.